

С-ПЕТЕРБУРГЪ
Типография Н. Н. Клобукова Пряжка, уг. Заводской, д. 1-3

РУССКОЕ БОГАТСТВО

1876-1918

СОДЕРЖАНІЕ.

Владимиръ Короленко -
 О СВОБОДѢ ПЕЧАТИ
Иванъ Бунинъ - Деревенскій эскизъ
Федоръ Крюковъ - Казачка
Пантелеймонъ Романовъ -
 ВЪ РОДНОМЪ КРАЮ
Дмитрій Маминъ - Сибирякъ -
 МЕДОВЫЯ РЪКИ
Фрительфъ Хансенъ - Среди ночи и льда
Константинъ Бальмонтъ
Зинаида Тулубъ
ВѢРА Фигнеръ
Николай Михайловскій



№ 1

МОСКВА 1991



Русское богатство - это
независимый частный журнал:
литература, искусство, культура.

Русское богатство - это
слово свободы, доступное каждому,
слово мира и благодати.

Русское богатство - это
мир одного человека, это мы с вами.

Русское богатство - это все,
что у нас осталось
после Великого разорения.

Русское богатство - это
наше прошлое и наше будущее.

Берегите *Русское богатство*.

Читайте *Русское богатство*.

Пусть *Русское богатство*
войдет в каждый дом.

РУССКОЕ КОГЯТСТВО

№1

1876-1918

**РЕДАКТОР-ИЗДАТЕЛЬ
АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА

**ДАНИИЛ ГРАНИН
ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ
ИГОРЬ ДУЭЛЬ
СЕРГЕЙ ЗУРАБОВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА
ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ
БУЛАТ ОКУДЖАВА
НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО
МИХАИЛ РОЩИН
ВЛАДИМИР РУСАНОВ
НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ**



МОСКВА · 1991

Номер готовили:

Составители: *Г.С. Лапшина, А.Д. Скопечная, Ф.Л. Цыпкина.*

Консультанты: *Б.И. Есин, Г.С. Лапшина.*

Художники: *В.Н. Иванов, Г.Г. Кошелев.*

Фотокорреспондент: *М.А. Барабанов.*

Оргобеспечение: *Е.В. Русанова.*

Редакция благодарит Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина, ЦГАЛИ, ф-т журналистики МГУ, библиотеку ЦДЛ за помощь в подготовке номера.

На четвертой обложке: реклама, помещенная в ж-ле "Русское богатство", 1876 г., № 24.

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Просим советские и зарубежные издательства и периодические издания ставить нас в известность о желании перепечатать те или иные произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Правление "Русского богатства"

Редакция рукописи не рецензирует и не возвращает.

РУССКОЕ БОГАТСТВО 1876—1918

СОДЕРЖАНИЕ

АНАТОЛИЙ ЗЛОВИН.	
К читателю	5
Я. ЗАСУРСКИЙ.	
"Молва" -- бабушка "Русского богатства"	11
ПОПУТНЫЕ ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА	
<i>Листая старые страницы</i>	14
ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО	
1. История моего современника. Книга вторая:	
Глава III. Я попадаю в разбойничий вертеп	17
2. О свободе печати	27
3. Изволят забавляться. Случайные заметки	39
ИВАН БУНИН.	
Деревенский эскиз	45
ФЕДОР КРЮКОВ.	
На Тихом Дону. Рассказ "Казачка"	60
ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ.	
В родном краю	106
КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ.	
Стихотворения	147
ДМИТРИЙ МАМИН-СИБИРЯК.	
Медовые реки. Рассказ "Душевный глад"	149
ЗИНАИДА ТУЛУБ.	
Стихотворения	167
ФРИТЬОФ НАНСЕН.	
Среди ночи и льда	170
ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСАНДР ЧЕХОВ.	
Первый паспорт Антона Павловича Чехова	183
ВЕРА ФИГНЕР.	
После Шлиссельбурга	194

ПУБЛИЦИСТИКА

- Н. ЗАГОСКИН.**
Пьянство и борьба с ним в старинной России 214
- А. ПЕТРИЦЕВ.**
В гриме и без грима. Оптический обман "царства социализма" 262
- В. МЯКОТИН.**
Годовщина. Размышления об уроках Февральской революции и Октябрьского переворота 275
- Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.**
О деле г-жи Поповой и о союзе писателей. Можно ли менять направление журнальной политики без согласия подписчиков?..... 299

ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

- С. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ.**
О черносотенцах. Активные и пассивные погромщики кто они такие?..... 311
- С. ЮЖАКОВ.**
Успехи мирной революции в России. Тройственный союз деспотизма, воровства и жестокости бессилен перед мирной народной революцией..... 321
- П. ГОЛУБЕВ.**
Продовольственные опыты бюрократии. Вместо хлеба чиновники кормят Россию совещаниями и отписками.. 327
- С. ПРОТОПОПОВ.**
Еще о взятках. Официальные лица находят систему взяток очень удобной 332
- А. ПЕШЕХОНОВ.**
Бакинская трагедия и борьба с крамолой 338
- В. ПОДАРСКИЙ.**
Наши газеты и журналы. Публикуются письма генералов, которые рекомендуют ввести диктатуру 346

БИБЛИОГРАФИЯ

- Дневник Л. Н. ТОЛСТОГО 352
- Юрий Слезкин. Глупое сердце. Рассказы..... 354
- Гр. Алексей Н. Толстой. Искры..... 356

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

- Отчет конторы редакции журнала "Русское богатство" 362
- Новое "Русское богатство" — на благотворительные цели 363
- Бумага, которую мы покупаем 363

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы открываете журнал, который молчал семьдесят три года. Теперь "Русское богатство" вновь обретает свой голос. Мы еще расскажем о том, как оно замолчало и каким новым голосом намерено говорить. Прежде следует показать читателю: каким оно было, наше старое, доброе "Русское богатство".

В начале 1876 года в Москве вышел новый журнал с таким названием. Издателем и владельцем "Русского богатства" был Н.Ф. Савич, очевидно, он и придумал название.

"Русское богатство" несколько раз изменяло направление, однако название журнала прочно утвердилось в российской действительности. С 1892 г., когда журнал возглавили Н.К. Михайловский, а затем и В.Г. Короленко, "Русское богатство" обретает устойчивые формы, ныне вполне традиционные: "ежемесячный литературный и научный журнал". В таком виде "Русское богатство" просуществовало до 1918 года, двадцать шесть лет. Всего с момента основания вышло более пятисот номеров, ставших ныне библиографической редкостью.

В "Литературной энциклопедии" с истинно энциклопедическим лаконизмом сообщается: "Русское богатство" в 1918 году было закрыто Декретом Советской власти, как издание, выступающее против диктатуры пролетариата" (т. 6, с. 539).

Счастье литературы в том, что ее нельзя отменить революцией. Русская литература продолжалась, хоть и без "Русского богатства".

Каким же было художественное содержание "Русского богатства"? Для ответа на этот вопрос и понадобилась "Антология", которую мы предлагаем читателю в первом номере возрождаемого журнала. Работая над "Антологией", мы столкнулись с несколькими проблемами. О первой трудности уже говорилось. Войны, революции, стихийные бедствия сделали свое черное дело. Комплекты "Русского богатства" сохранились лишь в государственных книгохранилищах, да и то далеко не во всех. Редакция ставит перед собой задачу — собрать годовые комплекты "Русского богатства". Мы обращаемся за помощью к нашим читателям, ибо важность такой работы очевидна.

Другая проблема — вовсе неожиданная. Оказалось, что Декрета Советской власти как такового не существует. То ли он был, то ли его не было. Над антологией "Русского богатства" работала бригада из шести человек — но пока мы так и не смогли найти следов Декрета. Возможно, это было постановление существовавшего тогда Петроградского трибунала печати?..

Один из наиболее популярных журналов исчез с лица российской земли — и концы в воду. Российская история таит немало подобных загадок. Однако мы не прекратили своих поисков — и будем информировать своих читателей об их результатах.

Тем не менее "Антология" составлена. Конечно же далеко не полная. Зато у нее есть другое достоинство — это первая "Антология" "Русского богатства" за семьдесят три года. А чтобы исправить ее недостатки, мы обещаем в каждом номере журнала вести специальный раздел: "Русское богатство" лет сто назад."

2

Итак, новый журнал берет название у старого. И не только название. Хотелось бы подхватить и старые традиции, которыми славна русская журналистика XIX века. Думается, эта традиция покоилась на трех китах:

слово правдивое и свободное;

слово высокой нравственности и смелого духа;

слово как носитель добра, в том числе и творение блага: благотворительность.

Наши предки давно разместились в ряду великих, а мы все барахтаемся в суетной повседневности, бранимся, боремся за власть, подсиживаем ближнего.

А выход кажется таким простым — подумать о вечном. Приблизиться к нашим предкам, подняться до них.

Традиция сохраняется лишь тогда, когда в подходах к ней обнаруживаются новые принципы. Что же занимательного может предложить "Русское богатство" после семидесятитрехлетнего перерыва?

В свидетельстве о регистрации периодического издания за № 309, выданным Государственным комитетом СССР по печати от 28 сентября 1990 года о про-

граммных целях "Русского богатства" говорится так: "создание журнала одного автора, в котором каждый новый автор самостоятельно формирует свой номер от первой до последней страницы со всеми его жанрами, разделами и рубриками."

Пусть авторов будет много, но в каждом отдельном случае автор будет один. Таким образом "Русское богатство" конца XX века — это личностный журнал. Лучше всего здесь подошел бы подзаголовок:

"Мир одного человека".

В нашем обществе совершаются сейчас весьма динамичные процессы, наиболее широко обозначаемые термином "перестройка" — это демократизация общественной жизни и приватизация экономики. Но ведь эти процессы не самозначны, и совершаются отнюдь не ради колбасы. Приватизация экономики имеет конечной целью приватизацию души. Следствием приватизации является свобода.

Нам еще предстоит вернуться назад — к общечеловеческим ценностям. И сделать это можно только через человека. Путь тут один:

от коллективистского принципа — к личностному;

от классового мировоззрения — к общечеловеческому.

Что легче — вернуться в человеческую обитель или расчеловечиться? На расчеловечивание россиян потребовались десятилетия. Сколько лет, поколений пойдет на возрождение?

Впрочем в данном обращении к читателю вряд ли уместно развивать подобные политизированные темы: все-таки перед нами толстый литературный журнал, а не сводка новостей с газетной полосы. Не станем гадать о сроках будущего возрождения.

Начнем с малого шага — с самих себя. С личностного журнала. Это означает, что "Русское богатство" возрождается с целью наибольшего раскрытия человеческой индивидуальности, в данном случае — художника и творца, решившего изложить содержание своего внутреннего мира в письменном виде. Только таким путем можно осуществить приоритет литературы перед политикой.

“Русское богатство” — экспериментальный журнал, основанный на творческом принципе: один автор — один номер. Практически это означает, что в “Русском богатстве” можно напечататься один раз в жизни. Что делать? Ведь и родиться на свет можно лишь единожды. Тем радостнее возможные исключения из общего правила.

Грозит ли “Русскому богатству” опасность стать элитарным журналом? Не будем прежде времени отрекаться. Разве не имеет права на существование и такое явление? Элитарный журнал для элитарного читателя. Будущее покажет, насколько оправдано такое предположение.

3

Программные заявления хороши лишь тогда, когда они исходят из реальности. Свидетельство о регистрации журнала вставлено в рамку и вывешено в редакции на видном месте. Советская власть в лице Президиума Совета народных депутатов Дзержинского района города Москвы утвердила Устав журнала “Русское богатство”, именуемого в дальнейшем “Малое предприятие. Журнал”.

Устав занимает семь страниц машинописного текста. Нет необходимости приводить его в первоизданном виде. Достаточно сказать, что редактор-издатель имеет право выпускать различные книжные приложения к журналу “Русское богатство”. И мы намерены воспользоваться этим правом:

Библиотека журнала “Русское богатство” — серия миниатюрных книжек под общим заголовком “Российский пантеон, XX век”. Мы вступили в последнее десятилетие XX века, пора подвести его предварительные итоги. Серия “Российский пантеон, XX век” состоит из двадцати книжек объемом по два листа каждая. При этом каждая миниатюрная книжка включает в себя сто коротких биографий и сто миниатюрных фотографий. Определяющей приметой становится разделение по профессиям. Первыми выйдут миниатюры о поэтах и прозаиках, за ними последуют художники, музыканты, шахматисты и т.д. В Российском пантеоне XX века будет записано две тысячи человек, жив-

ших и живущих в России в нашем веке. Первые книжные миниатюры Пантеона уже в производстве.

Книжное приложение к журналу "Русское богатство" будет не менее разнообразным. Авторы номеров журнала могут быть изданы в виде отдельных книг большего объема, чем сам журнал. Книжное приложение может выпускаться в виде серий. В качестве примера наиболее вероятного стоит привести серию книг под общим названием "Золотые имена", где мы собираемся сделать попытку восстановить разрушенные революцией понятия о российских сословиях. Это истории наиболее прославленных российских родов и династий не только дворянских, но и военных, купеческих, ремесленных, театральных. Книги этой серии будут строиться на документах, семейных архивах и других свидетельствах и материалах. Приглашаем наших читателей принять самое активное участие в создании этой серии.

Такова в самом кратком изложении наша литературная программа, зафиксированная в Уставе журнала. Кроме нее, существует и программа нравственная, которую мы решаемся предъявить на суд наших читателей. Настоящим утверждается фонд благотворительности "Русского богатства", направляемый для помощи престарелым писателям и инвалидам войны. В этот фонд будет отчисляться не менее 10% наших доходов.

Литературный манифест возрождаемого "Русского богатства" может быть обозначен следующими ведущими принципами:

литературное произведение является интеллектуальной собственностью автора и не может быть реализовано без его согласия;

"Русское богатство" торжественно провозглашает принцип невмешательства в литературный текст. К авторскому тексту можно прикасаться только взглядом, но никак не редакторским карандашом, тем более — дубинкой;

издатель исходит из тезиса — совершенное литературное произведение не нуждается в правке, ибо совершенным произведением может считаться лишь такое, в котором лучшие слова расположены в лучшем порядке;

"Русское богатство" провозглашает право на художественный поиск;

"Русское богатство" — это новый литературный жанр, во всяком случае в журнальном деле. "Русское богатство" — это ордер на свободу слова и свободу выражения.

Остается объявить, что автором следующего номера будет Леонид Лиходеев, любезно предоставивший редакции пятьсот страниц высоколитературного текста: стихи, рассказы, фельетоны, дружеские шаржи и даже роман "Средневозвышенская летопись", пролежавший двадцать пять лет в письменном столе.

Надеюсь, что нам еще представится повод объявить читателю о дальнейших планах.

4

В свое время при "Русском богатстве" существовал литературно-хозяйственный комитет, созданный Гариным-Михайловским. Мы решили развить эту традицию и создали две структуры: общественную редколлегия, определяющую творческую линию журнала, и правление, которое занимается производственными и хозяйственными делами, в том числе и благотворительными.

"Русское богатство" возрождается в трудное для страны время. Где мы? То ли на краю пропасти, то ли на краю спасения. Цены на бумагу растут почти беспредельно и соответственно падает уровень нравственности. Приносим извинения нашим читателям, если кому-то цена журнала покажется чересчур высокой: не мы тому виной. Поэтому на последнем заседании правления было принято решение: уведомлять читателей "Русского богатства", по какой цене мы покупали бумагу для печатания очередного номера.

Покупайте "Русское богатство"!

Читайте "Русское богатство"!

Спасибо за внимание.

Редактор-издатель А.П. ЗЛОВИН

“МОЛВА” — бабушка
“РУССКОГО БОГАТСТВА”

“Молва” — название историческое, хотя и почти забытое. Сто шестьдесят лет тому назад, в 1831 г. при Московском университете, как приложение к журналу “Телескоп”, стала выходить “Молва” — газета “мод и новостей”, идея создания которой принадлежит А.С. Пушкину. “Ее приятнейшая обязанность состоит в том, чтобы извещать публику обо всем новом,” — писал Виссарион Белинский, сначала автор “Молвы”, а потом и исполняющий обязанности ее редактора. А основателем газеты был профессор Московского университета Николай Надеждин, издатель смелого “Телескопа”, где он опубликовал “Философическое письмо” российского инакомыслящего Петра Чаадаева, за что оба издания были закрыты высочайшим повелением.

Просуществовав пять лет, “Молва” успела оставить не только добрую память о себе, но и заметный след в истории национальной культуры. Небольшого формата газета была рассчитана на чтение в трактире, в кофейной, в прогулочной коляске. Маленькие фельетоны, полемика, хроника, рецензии на новые издания и театральные постановки, стихи модных авторов и обязательные раскрашенные картинки, под которыми стояло каллиграфическое: “Парижские моды”. Не было ни одного мало-мальского события в Москве, о котором не рассказала бы “крылатая вестовщица”, как называли ее читатели.

Надеждин считал, что газета должна служить “для распространения новых мнений... по всем отраслям просвещения”. Свобода полемики и критики выдвигались им как “необходимое и существенное достоинство” издания. Версталось оно плотно, статьи были деловиты и немногословны. “Молва” воды боится”, — писал редактор еще в первый год ее выхода. Не в чести были пустословие и сплетни. Газета шла в ногу с жиз-

нию, тираж ее достиг двух тысяч экземпляров, что по тем временам было совсем неплохо.

Да, немало интересного есть в русской старине. Предки наши упорно шли к просвещению и гласности. Но в последние семь десятилетий и то, и другое перешло в разряд диссидентства. Именно поэтому, когда Ученый совет МГУ рассматривал возможность издания новой газеты на факультете журналистики, было решено не придумывать новое название, а найти то, которое бы наиболее точно отражало сегодняшние потребности студентов-журналистов и имело бы пресексивную традицию. Именно поэтому выбор пал на "Молву". И мы "Молву" возродили.

А.С. Пушкин с горечью говорил в те времена, когда "Молва" еще только начиналась вместе с его "Литературной газетой", что мы, русские, ленивы и нелюбопытны. Он явно предвидел необходимость создания "Русского богатства". И оно было создано ровно через сорок лет после закрытия "Молвы" — в 1876 году. "Русскому богатству", которое хранило традиции А. Пушкина и В. Белинского, повезло поболее. Его закрыли за инакомыслие лишь в 1918 году. Отрадно, что мы живем в то время, когда вновь можно почитать "Молву" и "Русское богатство".

Забывать свои корни годится только Иванам, не помнящим родства. Возрождение демократических и просветительских традиций русской журналистики — это жизненная потребность для граждан грядущего общества, где необходимо восстановить "связь времен", дать пищу для ума и отдых для души. Нам еще надо отстоять и в прессе подлинное русское богатство — свободомыслие, независимость и трезвость оценок, взвешенность поступков, красоту высокой любви и мужество дружбы. Об этом давно молва в народе и идет...

Имеющий уши да услышит, ищущий обрящет богатство, которого он достоин.

Сейчас партийно-административная мафия, уходя, действует по принципу: уходя, оглянись — все ли ты унес с собою. Наша же единственная форма частной собственности — мысль. Пока — это единственное богатство и "Русского богатства".

К сожалению, прогресс в России за последние семь

десятилетний понимался как уничтожение лучшего, что есть: журналов, мыслей, чести, людей, наконец.

И журнал, и газета — из бумаги. А они — вчерашнее дерево. Пусть же "Русское богатство" станет Моцартовским Реквиемом. От нас самих зависит: либо мы принесем плоды, либо станем очередными литературными опилками. "Молва" дошла до "Русского богатства", и они пошли вместе. Не рядом — а именно вместе.

Возьмем же чистые листы, очиним поострее перья наши и двинемся в путь наш. И пусть не смутят нас нападки и огорчения, горести и хула. И пусть говорит в нас не голос обиды, а голос разума.

Предчувствуя будущее, вспомним еще раз — из-за цензурных гонений старое "Русское богатство" закрывалось. Может быть, нынешнее ждут такие же ветры?..

"Молва" — бабушка "Русского богатства" — помолодела от одной мысли, что "внучка" снова выходит в свет.

"Молва" и "Русское богатство" — первые ласточки возрождения. К ним готовы присоединиться "Отечественные записки", "Русский архив", другие возрождаемые журналы. Время покажет: кто мы? Дети очередной гласности или наследники А. Пушкина и В. Белинского, Г. Успенского и Д. Мамина-Сибиряка, М. Горького и А. Куприна, В. Вересаева и Н. Гарина-Михайловского, И. Шмелева и И. Бунина.

Пусть "Молва" и "Русское богатство" скорее выйдут в свет и станут доступны для нового читателя — и в кофейне, и в летнем саду. Читайте нас, мы готовы выйти в свет.

*Ясен ЗАСУРСКИЙ,
декан факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор*

ПОПУТНЫЕ ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА

Листая старые страницы

Иные листки вообще поблекли, по краям пошла бахрома, по тексту — ломкие трещины. Самыми нестойкими оказались годы первой мировой войны: качество бумаги снизилось, обложка стала совсем простой. Даже название пришлось изменить: было "Русское богатство", вместо него стали выходить "Русские записки". А царская цензура и вовсе была лпоухой: младенцу ясно, это тот же самый журнал, те же имена на обложках.

Но название другое, запретить нельзя. Вот переименуем власть, тогда поговорим.

Теперь на книжной полке могут встать рядом и номера "Русского богатства" — 1918 год, № 4–5–6 (строенный номер). И номера возобновленного журнала — 1991 год, 1, 2, как повезет.

И окажется между соседними страницами огромное временное пространство, где переименовалось все, даже орфография.

Ломкие страницы доносят до нас отзвуки далекой эпохи. А в сущности — те же страсти, тот же голос на том же языке, те же надежды и боли — ведь это наши деды и прадеды — и живем мы на той же земле.

"Попутные записки", возможно, станут постоянной рубрикой нового "Русского богатства" — всегда найдется что сказать по поводу, а то и просто без повода. Редактор вправе позаботиться о том, чтобы оставить за собой свободу высказываний.

А сегодня повод особый. Мы пробуем как бы навести мосты над огромным пространством русских времен, от прадедов к правнукам.

Современному читателю кое-что может показаться неясным, а то и вовсе незнакомым. Однако автор "Попутных записок", редактор — издатель журнала, ни в коей мере не является литературоведом или критиком. Давайте просто перелистаем вместе старые страницы, нисколько не претендуя на полноту проникновения в историю того или иного вопроса. В данном случае я такой же читатель, как и вы. Я лишь систематизировал материал, который был собран литературной бригадой во время работы над "Антологией". Возможно, у нас окажутся пробелы, возникнут новые задачи, требующие новых разработок. Чего-то мы просто можем не знать.

Будем рады, если наши читатели выскажут свои предложения и замечания. Вдруг в чьем-то семейном архиве сохранились какие-то документы по истории одного из старейших отечественных журналов — "Русское богатство". Будем благодарны, если вы пришлете свои материалы по адресу редакции: г. Москва, 129010, Астраханский переулок, дом 5, кв. 86. Контактный телефон — 271-15-18.

А теперь посмотрим, каким было "Русское богатство".



Листая старыя страницы

Владимир Короленко

О Вл. Короленко можно писать много, еще больше о нем уже написано. Поэтому важно ограничить тему нашего разговора. Поговорим о журнале. В истории "Русского богатства" Вл. Короленко играет особую роль. Вне всякого сомнения: не будь Короленко, это был бы совсем другой журнал. Первый раз он напечатался в "Русском богатстве" в 1886 году. С 1895 года, по предложению Ник. Михайловского, Короленко стал совладельцем журнала, а с 1904 года, после смерти Михайловского, бессменным редактором, пока был жив сам журнал.

В июне 1918 года вышел последний номер "Русского богатства". Все казалось спокойным. В редакции никто не ждал конца.

На второй странице обложки было дано объявление:

Въ слѣдующей книжкѣ "Русскаго Богатства" будетъ напечатано продолженіе "Исторіи моего современника". Вл.Г.Короленко. Томъ второй. Часть первая. Студенческіе годы.

Увы, № 7 за 1918 год так и не вышел. Однако, спустя семьдесят три года мы можем исполнить последнюю волю редакции. Публикуем главу из работы Короленко "История моего современника", книга вторая, часть первая.





ВЛАДИМИРЪ КОРОЛЕНКО¹

История моего современника

КНИГА ВТОРАЯ

От автора

Много лет прошло с тех пор, как читатель первого тома "Истории моего современника" расстался с его героем, и много событий залегло между этим новым прошлым и настоящим. В этом отдалении от предмета рассказа есть свои неудобства, но есть также и хорошие стороны. В туманных далях исчезает, быть может, много подробностей, которые когда-то выступали на первый план, в более близкой перспективе. Но зато самая перспектива расширяется. То, что сохраняется в памяти, выступает на более широком горизонте, в новых отношениях.

Первый том я закончил в 1905 году, при первых взрывах русской революции. Теперь, когда она достигла своих поворотных пунктов, я с особенным интересом обращаю взгляд воспоминания на далекий путь прошлого, "пыльный и туманный", на котором виднеется фигура "моего современника". Быть может, и читатель захочет взглянуть с некоторым участием на эту уже знакомую фигуру и при этом подумает, сколько было предчувствий у этого поколения, чья сознатель-

¹ Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, публицист. Почетный академик Петербургской Академии наук (1900—1902), почетный академик Российской Академии наук (1918). Рассказы и повести "Сон Макара", "Слепой музыкант", "Без языка", "Река играет" и др. Автобиографическая повесть "История моего современника". (Прим. редактора-издателя, далее по всему номеру.)

ная жизнь начиналась среди борьбы с ушедшим наконец строем, а заканчивается среди обломков этого строя, застилающих горизонт будущего. И сколько еще это будущее должно захватить из крушения старых ошибок и трудно искоренимых привычек!

III

Я ПОПАДАЮ В РАЗБОЙНИЧИЙ ВЕРТЕП

И в дороге, под шарканье бубенцов, и в поезде до Курска мне было очень скучно.

В Курске в вагон, где я уселся, вошли двое знакомых уже мне пассажиров: господин с утиным носом и его товарищ. Они прямо направились ко мне и поздоровались, назвав себя. Господин с утиным носом оказался Зубаревским, студентом-технологом третьего курса (наружность и фамилия другого как-то совсем исчезли из моей памяти). Они провели эти два или три дня по делам в Курске... Остановятся еще в Москве. Я сделал вид, что верю всему, но, в сущности, мне казалось невероятным, чтобы человек с такой замечательной наружностью и так одетый мог быть действительно студентом. Впрочем, я теперь человек опытный, и меня провести нелегко. На предложение остановиться в Москве вместе в Кокоревской гостинице я ответил вежливым отказом: мне нужно остановиться где-нибудь около Екатерининского института. Там у меня сестра...

На старом Курском вокзале в Москве я пожалел об этом. Когда с чемоданчиком в руках я очутился на дебаркадере, вокруг меня образовался сразу вихрь криков, нахальных рож, приподнятых фуражек, звонких зазываний. Хватили за полы моей злополучной мантильи, вырывали из рук чемодан, заглядывали в глаза, дышали в лицо разными, преимущественно винными, запахами, кажется — насмехались... Где-то вдали мелькнула фигура Зубаревского и его товарища. Они казались мне теперь приятными. У Зубаревского, в сущности, добрые глаза и лицо очень неглупое. Пожалуй, он, может быть, и студент. И уж во всяком случае, не грабитель. Я рванул за ним, но его уже

не было. А над самым моим ухом слышался сиповатый, мягкий голос:

— Домниковские номера-с... Всего сорок копеек. Извозчика не требуется. Вещи донесу сам...

Я устал бороться и отдался на волю судьбы.

Чернобородый субъект довольно мрачного полумонашеского вида взял у меня чемодан, взвалил себе на плечи и пошел вперед, энергично прокладывая путь в толпе. Он двинулся так быстро, что я сразу отстал и уже прощался со своим чемоданом; но на подъезде черномазый ожидал меня, и мы пошли рядом по улицам Москвы.

Шли довольно долго. Прошли "Балкан", потом углубились в какие-то переулки. Я уже думал взять первого попавшегося извозчика и ехать в Кокоревские номера, как мой провожатый остановился перед двухэтажным домом. Переулок был узкий и грязный. Вверху сумрачное небо, внизу мокрая мостовая. На стене дома большими буквами было написано: "Домниковские номера для приезжающих". Надпись была, кажется, сделана сажей и потекла от дождя, разведя по грязной стене траурные полосы. Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми. Провожатый дернул ручку звонка. Раздался дребезжащий, унылый звон и вслед за ним хриплый собачий лай. Толстая баба отперла калитку,пустила нас и тотчас же заперла опять.

В маленьком квадратном дворике было грязно и печально. Я еще первый раз в жизни очутился в таком дворе, и мне казалось, что я действительно на дне колодца. На одной стене опять виднелась расплывшаяся надпись — "номера", и мы вошли в низкую дверь, показавшуюся мне входом в пещеру. Ход был через кухню. Небольшим коридорчиком чернобородый провёл меня в заднюю комнату и сказал:

— Здесь. Сорок копеек в сутки. Прикажете самоварчик?

Когда он вышел, я оглянулся в своем новом помещении. Комната была узкая, с одним окном, засиженным мухами. Темный потолок, темные обои, темное небо, на дворе сумерки. Окно было низко. Я подошел и попробовал тихонько открыть его. Тотчас же из ка-

кой-то темной сарайной двери показалась собачья морда и раздался лай, хриплый и сердитый.

Итак, решил я про себя, похоже, что я в ловушке. Двор заперт, у окна собака. Да если бы и удалось вырваться на двор — все равно идти некуда. Подслепые окна глядели со стен в этот колодец таинственно и зловеще...

В коридоре послышалась возня, заставившая меня насторожиться. Кто-то рвался куда-то, кто-то другой не пускал. Жидкая переборка шаталась и вздрагивала.

— П-пусти... Тебе гов-во-рят! — с усилием говорил сиплый мужской голос. — Агафья... Агаш... кто здесь хозяин?.. Одолели вы меня с Ермишкой, с разбойником... душегубы, анафемы!

Он рванулся, и неровные быстрые шаги застучали по коридору. Моя дверь внезапно раскрылась, и на пороге появился мужчина лет за пятьдесят, в расстегнутом меховом полукафтанчике и разорванной косоворотке. Нанковые легкие штаны и опорки на босу ногу дополняли костюм незнакомца. Глаза у него были дикие, бегающие, как будто испуганные, седоватые жидкие волосы торчали врозь, борода сбилась в одну сторону. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть, и, тяжело перевалившись в мою комнату, подошел ко мне вплоть и заговорил, дыша запахом перегара и горячки:

— Слышал ты?.. Будь свидетель. Не пуцают... Разбойники, душегубы они с Ермишкой. Не-ет, врешь... мамонишь, концы хоронишь...

Он прищурил один глаз, лукаво мигнул мне и сказал:

— Я сам с усам... Я им, душегубам, не потатчик... Я... до сам-мого царя...

В коридоре стукнула дверь. Должно быть, на помощь баба призвала Ермишку. Пьяный насторожился и, наклонясь ко мне, заговорил таинственно, торопливо и тихо:

— Молчи ужю. Дай мне скорее двугривенной, хорошо будет небось... А с их, подлецов, вычти потом. Я хозяин, в обиду не дам. Э-эх ты, мил-л-ай! Молоденький какой...

Поддавшись его испуганной торопливости, я наскоро дал ему двугривенный. Он жадно схватил его и су-

нул в рот. Как раз вовремя, потому что в комнату уже входил чернобородый и толстая баба. Незнакомец не оказывал теперь сопротивления и только с порога кивнул мне многозначительно и обещающе... Скоро возня стихла где-то в дальнем конце. Слышались только неразборчивое ворчание, вздохи... чей-то плач...

Чернобородый с сурово-угрюмым видом внес сначала поднос с чайником и стаканом, потом небольшой самовар и тарелку с французской булкой. Все это он делал молча, не глядя на меня, и так же молча вышел.

Мое положение стало передо мной с ужасающей ясностью. Можно ли сомневаться? Я попал в один из вертепов, вроде притона "на бойком месте" в драме Островского. Только не в лесу, а на каком-то московском "Балкане", хуже всякого леса. Они, очевидно, только затем и выходят на вокзалы, чтобы заманивать неопытных юношей, одетых так выразительно, как меня нарядил портной Шимко. Квартыры кругом, очевидно, нежилые... Только в одном окне движется тусклый огонек... Там, вероятно, члены той же шайки. У окна сторожит свирепый цербер. Ворота на запоре...

Воображение мое разрабатывало дальше эту мрачную тему. В одном из членов шайки, очевидно, не погасла еще искра совести. Но он заливает ее вином и только в пьяном виде грозит товарищам разоблачениями и старается предупредить несчастные жертвы... Он так таинственно порывался что-то сказать мне, так многозначительно мигал от порога. Обещал что-то?.. Ясно: он обещал мне помощь. Может быть, этому доброму, раскаявшемуся преступнику удастся как-нибудь обмануть их бдительность, привести людей и спасти меня в последнюю роковую минуту... Это иногда бывало... Но... удастся ли?..

Мне только казалось странно, что и чернобородый разбойник, и толстая мегера, увидя пьяного, как будто плакали. Да, положительно я помню заплаканное бабье лицо. Что ж. И это легко объяснить. Она — женщина... Ей, может быть, стало жаль моей молодости. У нее, вероятно, был сын... Он умер, но теперь был бы моих лет. Такая чувствительность у закоренелых разбойниц тоже бывает. Я, кажется, читал об этом в каком-то страшном рассказе... Но это, в конце концов,

не помогает невинным жертвам. Такие счастливые развязки бывают только в романах... а меня окружает теперь суровая действительность...

На столе стоит самовар и лежит пятикопеечная булка. Чай, конечно, отравлен сонным порошком. Я снял чайник, вылил содержимое в грязное ведро, всполохнул несколько раз и заварил своего чая. На блюде лежало несколько кусочков сахара. Я лизнул опять языком: вкус странный, как будто металлический. Мышьяк ведь тоже похож на сахар. Ну хорошо, пусть думают, что я усыплен или отравлен. А я между тем напьюсь крепкого чаю и не засну всю ночь... Может быть, найду какое-нибудь средство спасения... И, в всяком случае, дорого отдам свою жизнь...

Не надо сидеть спиной к двери. Я попробовал перейти на другой стул, у стены, но он сразу подогнулся подо мной: одна ножка была отломана. Я по-прежнему приставил его к стене и пересел со своим стаканом на кровать.

Я был сильно голоден. Чай показался мне превосходным, булка тоже. "Может, в последний раз в жизни", — подумал я печально и налил другой стакан. Хорошо бы еще одну булку... Я постучал.

Вошла мегера. Глаза у нее все были заплаканы. От угрызений своей мрачной совести она, по-видимому, не могла глядеть на меня и отворачивала лицо. Я попросил принести еще хлеба, она ушла, не сказав ни слова, и так же молча принесла через несколько минут две булки. За ними она, кажется, выходила со двора.

Вскоре после ее ухода сильно лаяла собака и металась, лязгая цепью...

Напившись чаю, я попробовал запереть дверь, но задвижка не входила во втулку.

Время тянулось медленно. Самовар допел свою жалобную песенку и смолк. Где-то, в другом конце квартиры, шел тревожный разговор, раза два хлопали двери, один раз опять сильно лаяла собака. Потом все стихло...

Я решил, что можно немного прилечь. Ведь прилечь не значит еще заснуть. Наоборот, в таком положении воображение работает еще лучше. Я придумаю какой-нибудь выход.

Что-то жесткое сразу проступило из-под тонкого

тюфяка. Засунув руку, я нащупал... ту самую ножку, которой недоставало у стула. Очевидно, кто-то здесь уже переживал те же чувства, что и я, и, вероятно, вооружился ножкой для защиты. Какая судьба постигла этого моего предшественника? Может быть, та же самая, которая ждет и меня через два-три часа... Когда *это* случится? Конечно, перед утром, когда бывает самый крепкий сон... Во всяком случае, я благодарен неведомому товарищу за его предсмертную выдумку... Вместе с клопами, которые сразу произвели на меня жесточайшую атаку, это жесткое орудие защиты, конечно, не даст мне заснуть...

Свечу я не гасил. Она нагорала и потрескивала жалобно и печально. Было тихо. Где-то тут за стенами катится шумная жизнь столицы, гремят извозчики, снует публика... Отдаленный свисток — точно из другого мира. Это на Курском вокзале. Пришел поезд, валит приезжая толпа... Разъезжаются по гостиницам... В Кокоревском подворье, куда звал меня студент Зубаревский и где теперь он спит на хорошей постели, без клопов, без ножки под тюфяком, в безопасности и комфорте. А где-то еще ближе (мне сказал это чернородый) большое здание института... В дортуаре ряды чистых кроватей. В одной спит моя сестренка... Чувствует ли она, что я тут, близко, в этом вертепе, в смертельной опасности? Может быть, чувствует и мечется по своей подушке и всхлипывает во сне, произнося мое имя... На глаза у меня просятся слезы...

Ужасно неудобно с этой ножкой, но — пусть! Не время думать об неудобствах... Рахметов спал на поленьях дров... Кто-то еще — не помню, кто именно... Спать я ни в коем случае не стану... При первом подозрительном шорохе в коридоре я схвачу эту ножку вот так и удержу ее около себя... Они войдут вон там, в эту дверь... Я вижу их отлично. Впереди — зловещая физиономия чернородого. Из-за его плеч — другая, незнакомая, еще мрачнее... Они думают, что я усыплен, но я гляжу сквозь прищуренные ресницы и крепко сжимаю ножку в руке... Подходят, трусливо крадутись. Я сразу вскакиваю на ноги. А, не ожидали? Быстрый, как молния, удар... Чернородый падает... Борьба... долгая, глухая, неясная... я, кажется, обессиливаюсь... навалились какие-то рожи... Но тут приходит

помощь... Раскаившийся пьяница вваливается со светом, с шумом, с людьми... Я спасен. Ужасная ночь миновала... Свет дня и солнца. Полиция, протоколы, любопытные люди расспрашивают меня... Да, это я раскрыл разбойничий вертеп, в котором погибло уже много наивных провинциалов.

В темном подвале, охраняемом злющим цербером, находят груды человеческих костей... Ужасаются, мотают головами... пишут в газетах. Сестра, мать, Теодор Негри читают. Сначала пугаются, потом, конечно, — радость... Все хорошо. Мне наперебой предлагают работу. Три часа в день. Сорок пять рублей в месяц. Я богат, могу еще посылать матери. Перехожу с курса на курс... В Технологическом... в университете... еще где-то. Вообще — все отлично...

Все так отлично, что я сладко сплю, несмотря на клопов и на деревянную ножку под боком, одетый, в разбойничьем вертепе...

Когда я проснулся, точно от внезапного толчка, первой моей мыслью было: жив ли я.

Я был жив, ночь уже прошла. В комнате было светло. Луч солнца, перебравшись через крыши, заиграл вверху по стене, и желтоватые рассеянные лучи попали на дно двора-колодца. У стола стоял чернобородый, позванивая убираемой посудой.

— Так и спали ночь, не раздевши, — сказал он печально и прибавил, потупясь: — Побеспокоили вас вчера... Извините...

— Кто это был, пьяный? — спросил я, резво подымаясь на ноги с ощущением необыкновенного благополучия...

Чернобородый глубоко вздохнул.

— Грехи! И сказать стыдно. *Сам* это, хозяин здешний. Закрутил, что станешь делать. Запираем, да нешто углядишь. Вчера вот вышел я. Хозяйку вы за булкой послали. Думали, спит он. Сама в ворота, а он тихонечко за нею... Собака взлаяла. Оглянулась она, а он — что ты думаешь: дерет по улице, не догонишь. И, опять пьяной... Господи, помилуй нас грешных. И откуль денег добыл, удивительное дело.

Я вспомнил свой двугривенный и покраснел. Чернобородый уставил посуду на подносе и опять обратил ко мне унылое лицо.

— А я вот купеческий брат считаюсь. Хозяин, значит, брат мне приходится. Ну, теперича хожу у них за номерного. Что станешь делать. Кабы достатки. А то сами, чай, видите: нешто это номера! Ведешь хорошего господина с вокзалу — самому совестно в глаза поглядеть.

Он скорбно помотал головой и прибавил:

— А ведь жили-то как в своем месте! Купцы были настоящие. Сама-то Агафья Парфеновна пойдет, бывало, в бархатном салопе в церковь — прямо графиня! Теперь слезой вся изошла. И я с нею. Чего ни делали: свечи угодникам ставили, молебствовали... А что? — спросил он вдруг, меняя тон, — вам самоварчик-то нужно?

— Пожалуйста.

— А то, извините, может, с нами бы попили. Дешевле, а самовар горячий. Сама пьет.

Мне было так совестно перед этими добрыми людьми, что я охотно согласился. Хозяйка сидела за самоваром в маленькой, тесно заставленной спальне. У киота печально теплилась лампадка, из-за полога слышался храп и кошмарное бормотание запойного хозяина. Глаза у женщины были красны, но лицо ее сегодня показалось мне совсем другим. Оно еще носило следы былой красоты и держалась она с таким достоинством, что когда подавала мне налитый стакан, я чувствовал потребность привстать и конфузливо раскланивался.

Чернобородый пил чай отдельно в кухонке, но это было так близко, что разговор у нас шел общий. И когда они опять рассказали мне историю хозяйского запоя и разорения, мне стало так жаль их обоих, что я принялся утешать их и наговорил много глупостей. Конечно, ни иконы, ни знахари из Замоскворечья тут не помогут. Поможет только наука. Я читал где-то, что теперь есть лечебницы для алкоголиков... Я еду в Петербург, узнаю все это обстоятельно и непременно им напишу... Наука, о, наука, одна теперь делает чудеса...

— Ну, дай тебе, господи, за доброту за твою, — сказала бедная женщина, прощаясь со мной. Не знаю, поверила ли она в спасительную силу науки, но мне

так хотелось оказать им эту маленькую услугу, что говорил я с искренним увлечением и верой.

Чернобородому нужно было опять идти к поезду, и он взялся указать мне дорогу к институту. Был праздник. Гудели колокола — протяжно, низко, печально... И мне казалось, что вся Москва похожа на заплаканную разорившуюся хозяйку моих номеров и что она этими колоколами вопит, разливаясь слезами о каких-то лучших днях, когда она ходила в бархатных sala-пах...

Короткое свидание с сестрой не рассеяло этого впечатления.

Мы сидели в огромном зале с колоннами. Я чувствовал, как что-то рвется навстречу этой родной маленькой фигурке в институтском платье и что-то другое сдерживает и холодит эти порывы... Сестру скоро позвали, а когда я вышел из института, то к печально перекликающемуся хору колоколов присоединился еще Иван Великий... Он бухал с размеренно-важною скорбью, и казалось, какая-то неизбывная печаль кружит и плавает над Москвой...

От всего этого веяло такой тоской, что я остановился на Самотеке, совершенно не зная, что мне с собой делать. К счастью, мне вспомнились мои спутники — Зубаревский с товарищем. Времени до поезда оставалось еще довольно. Я пошел по улицам, расспрашивая дорогу, и вскоре был у Кокоревского подворья.

Оба студента были в номере, где-то очень высоко, чуть не на чердаке. Когда я вошел, они немного смешались; они были заняты упаковкой в чемодан каких-то книг. Увидев меня, Зубаревский радушно протянул руку.

— Отлично, что зашли. Хотите чаю? Вот самовар на столе, наливайте сами... Мы тут, как видите, разбираемся с кое-какой литературой. С этим вот вы незнакомы?

Он протянул мне книгу, кажется "Азбуку социальных наук" Флеровского. Я не имел о ней понятия.

— А Лассалья знаете? Нет? Значит, у вас там еще и не слыхали о социализме.

Это слово я слышал в первый раз. Одно мне теперь было совершенно ясно: как я был непроницателен и глуп, сомневаясь в Зубаревском. Теперь, наоборот, все

в нем казалось мне необыкновенно привлекательным: и некрасивое лицо, и беспечные манеры добродушного русского бурша, и даже рыжий сюртук из толстого грубого трико... Оба студента долго, с товарищеским участием, рассказывали мне о Петербурге и давали советы, где остановиться на первое время. Потом мы распрощались, как добрые знакомые, и я вышел ободренный, хотя московские колокола продолжали вызывать свою тягучую, неизбывную печаль...

О свободѣ печати¹

"Конечно, литература не пропустила этого факта, но развѣ была какая-нибудь возможность игнорировать его. Подумайте: вѣдь требовать от литературы подобнаго воздержанія значило бы навсегда осудить ее остаться при анекдотахъ о пошехонцахъ".

Щедринъ: "Круглый годъ"

В настоящей заметке я намерен говорить об одном из самых больных и насущных вопросов нашего бурного дня. Но я позволю себе начать ее с небольшого отступления.

В 1894 году я был в Америке. Это было во время выставки и в разгар борьбы так называемых "серебряных штатов" с большинством остальных из-за валюты и связанных с нею вопросов финансовой политики. В одном из видных городов серебряной

¹ Вопрос о свободе печати — один из самых больных вопросов русской действительности. Данная статья написана Короленко в конце 1905 года по горячим следам событий, когда либералы в очередной раз поверили посулам правителей России. Короленко предупреждает: верьте, но не очень. Мы печатаем этот материал и тем самым вносим свой вклад в российскую словесность, ибо статья Короленко за последние семьдесят три года на подведомственной территории не издавалась. Актуальность поднятых вопросов в доказательствах не нуждается.

полосы губернатор штата произнес на многолюдном митинге громовую речь, которую закончил, потрясая кулаком в том направлении, где предполагался гор. Вашингтон с его сенатом, — следующими словами:

— А если и на этот раз наши требования не будут уважены, то пусть знают господа из Белого дома и сената, что ответственность падет на их головы: ваши лошади будут ходить по уздцы в крови сынов этой страны!

Стенографы записали эту речь от слова до слова, и американские газеты разнесли ее по всей стране. Может быть, нашелся бы в Америке судья, или атторней, которые сочли бы возможным попытаться применить какой-нибудь закон к пламенным воззваниям воинственного губернатора (хотя едва ли). Но если бы кто-нибудь заговорил о преследовании газет, поместивших эту речь в миллионах оттисков, — то, наверное, американцы сочли бы такого человека сумасшедшим.

И эта, и многие другие речи самого пламенного характера расходились в неисчислимом количестве по всем штатам. И, однако, нигде не только лошади не бродили по уздцы в крови, но нигде и вообще не пролилось ни капли крови. "Белый дом" и сенат только последовательно и твердо проводили политику, *выработанную представителями народа*, — и великая страна вышла из бурного кризиса, как могучий корабль плавно выходит из гряды шквала...

В тот же год мне пришлось быть свидетелем другого маленького, но характерного эпизода. На выставке каждый штат имел свое особое здание и "свой день" когда представители этого штата собирались вместе и ораторы с трибуны говорили речи своим землякам. В один из таких дней, посвященных штату Пенсильвании, я едва мог протолкаться к зданию картинной галереи, так как прилегающая аллея была запружена пенсильванцами. На террасе пенсильванского здания стоял оркестр музыки, сидели члены "бюро" в шарфах, и какой-то длинный джентльмен говорил страстную речь. По-видимому, Пенсильвания тоже имела какие-нибудь не удовлетворенные претензии, потому что оратор то и

дело грозил кулаками по направлению к центральному зданию, на котором развивалось звездное знамя союза... Я не расслышал, в чем именно заключались претензии пенсильванцев, так как стоял далеко и плохо понимал язык. В виду этого я ушел в здание картинной выставки. Я был как раз в русском отделе, когда вдруг снаружи донеслись в тихие выставочные залы бурные звуки. Казалось, поблизости идет битва, гремят трубы, рушатся здания и все покрывается воплями многотысячной толпы. Я вздрогнул от неожиданности и невольно оглянулся. Но стоявший рядом со мной старый янки улыбнулся, угадав во мне иностранца, и сказал:

— Ничего! Все в порядке. Это немного шумит Пенсильвания.

Я подумал, что если бы у нас вздумала так "немного пошуметь" какая-нибудь область, то и в эту толпу, и в ее мирных соседей, наверное, понеслась бы картечь.

После этого я, разумеется, вернулся в отечество. На границе с меня взяли подписку, что я, никуда не заезжая, явлюсь в Петербург, в департамент полиции. Если бы я не дал этой подписки, то, конечно, я все равно поехал бы в Петербург, вероятно, под стражей. В этом департаменте у меня, русского путешественника, потребовали ответа по поводу... некоторых непочтительных отзывов американской печати о русских порядках в статьях, вызванных приездом русского писателя на почву свободной республики.

В нашем отечестве в то время царствовало "полное спокойствие". Правда, Россия за это время пережила два года страшного голода, стоившего народу сотен тысяч лишних смертей. Но... голод приказано было называть "недородом хлебов", а лишняя смертность отнесена к "естественным причинам". За голодом последовали два года холеры, с холерными бунтами, вызванными преступно бессмысленными распоряжениями приволожских губернаторов. Но... бунтовщиков судили при тщательно закрытых дверях, а губернаторы получили благодарности и награды... Зато у нас никто не грозил, что лошади будут ходить по уздцы в крови... Русская кровь лилась без всяких предварительных угроз и без последующих

оглашений... Что кровь все это время лилась втихомолку на пространстве всей России, — это несомненно, и вообще можно доказать непререкаемо, что все происходящее теперь в таком бурном виде, — росло и накапливалось из года в год под покровом безгласности. Вся мудрость и все силы правительства направлялись к тому, чтобы факты не оглашались и не комментировались в печати и обществе. Мудрость наших правителей того времени достигала тогда таких изумительных размеров, что два министра народного просвещения публично выражали сомнение в пользе "излишнего просвещения народа", а органы министерства внутренних дел, чтобы подавить всякое свободное слово, всякое выражение неприятных правительству мнений, — сделали попытку идти дальше и уже пытались "назначать" газетам редакторов и "предписывать" направление. Мне лично, как редактору "Русского богатства", начальник управления по делам печати М.П. Соловьев высказал замечательную мысль, — что истина одна и что правительство стремится сделать всю печать выразительницей этой единой истины, которая, конечно, должна была фабриковаться г-м Победоносцевым, с одной стороны, и департаментом, полицией — с другой* ...

Так было дело с печатью. Устное обращение к обществу и народу преследовалось еще более, и для того, чтобы перед аудиторией из простых людей во время воскресных чтений прочесть дважды цензурованную брошюрку, — необходимо было особое "утверждение" лекторов после справок о "политической благонадежности".

Все это история назовет сознательным комплотом против просвещения народа в пользу тьмы и невежества. Но зато — все эти мифы опирались на "существующие законоположения" и все они (или почти все) были формально "законны". Законом в самодержавной монархии называется воля государя, объявленная через соответствующие органы.

* За решительный отказ напечатать в журнале заведомую ложь в виду заблуждения — журнал был приостановлен тогда же (в 1899 г.) на 3 месяца... (Звездочками помечены примечания самих авторов).

Всевластному чиновничеству не стоило много труда, чтобы добиться ряда таких актов этой воли, которыми бюрократии представлялось действовать по отношению к обществу и народу вне всяких обычных законов. Это был ряд "законов о беззаконии", которые делали общество совершенно бесправным, а чиновничество безответственным. И вот, в эпоху "полного спокойствия" принят ряд самых экстраординарных мер против печати, устного слова, речей, чтений, даже элементарного просвещения. На все у администрации были законные основания в "законе о беззакониях". Все было ультразаконно, с этой точки зрения, и — все вместе было вопиющим преступлением против русского народа, обреченного на невежество, бесправие и тьму, против его совести, мысли, слова, против его благосостояния, могущества, значения, против его настоящего и будущего...

И все это время, под кровом безгласности, в разных концах России лилась кровь. Кровь усмиряемых рабочих, не находивших законного выхода своим нуждам, кровь обнищавших крестьян, кровь евреев во время погромов, кровь погромщиков, когда их действия переходили известные "терпимые" границы... Можно сказать без всякого преувеличения, что во времена глубокого спокойствия, при "незыблемых основах самодержавного строя", из которых главною являлась полная безгласность страны, — Россия целые годы истекала кровью. ...И все это завершилось слепой, невежественной, безгласной и темной войной, с ее небывалыми бедствиями и позором... За ней последовал внезапный взрыв, во время которого заговорили уже камни...

При таких обстоятельствах явился манифест 17 октября, который, конечно (независимо от обстоятельств, его вызвавших и сопровождающих), — история внесет на свои страницы, как формальный конец старого строя русской жизни. В этом акте "непреклонная воля" самодержца объявляла упразднение самодержавия, и Россия становилась монархией конституционной.

Манифест 17 октября является несомненно актом революционным; если под революцией разуметь коренное изменение существующей формы правления.

То, за что гибли представители передовой мысли, начиная с декабристов и кончая шлиссельбургскими узниками, — объявлялось отрицательно необходимым и полезным, а старые основы упраздненными. Но он мог и должен был быть революционным, так сказать, единовременно, если бы сразу же со всей полнотой и искренностью дал материальные формы новому строю. Тогда манифест стал бы "основой" нового строя, и его революционное значение закончилось бы в тот самый день, когда ушли бы из правительства старые слуги произвола и вступило бы новое министерство. В революционные периоды народной жизни нет ничего опаснее полумер, промедлений и колебания... Но именно того, что было нужно, — не было сделано. В правительстве оставлены самые яркие выразители старого порядка, система выборов явно направлена к затруднению народного представительства, а права, провозглашенные в манифесте, тотчас же были залиты кровью. Люди старого порядка, всюду оставшиеся у власти, тотчас же объявили войну началам манифеста...

Таким образом, положение страны продолжает фактически оставаться революционным по существу и по необходимости. Самодержавный строй всюду действует фактически, как сила уже незаконная, потому что он упразднен законным актом верховной власти. Дух новой грядущей законности и буква старого закона — таковы два полюса теперешней нашей политической жизни.

В таком же положении находится в настоящее время и вся русская печать.

В манифесте 17 октября провозглашена, как "незыблемое начало" гражданской свободы — свобода слова. По несколько странной "случайности" о свободе печати при этом особо не упомянуто, но, на прямой запрос в этом смысле, последовал категорический ответ графа Витте, что, конечно, Манифест, под общим термином свободы слова, разумел также и свободу печатного слова. Иначе, конечно, и быть не могло.

Но печать может быть свободна только в свободной стране, и наоборот: свобода самой страны немыслима без свободы печати. Основная черта самодержавного

стройка состояла в том, что всякий данный состав правительства отождествлял себя с самодержавием. "Самодержавие — писал, кажется, Щедрин, — это такой порядок вещей, при котором страна управляется столоначальником". Тут есть, конечно, доза преувеличения, но оно только подчеркивает существенную сторону вопроса. Страной управляли министры, или, вернее, — один из них, в данное время наиболее сильный, и этот министр уже без всяких колебаний отождествлял себя с самодержавием. По большей части это бывали шефы жандармов, а в последние годы — министры внутренних дел. В них сосредоточивалась наибольшая сила власти. Нападение на них отождествлялось с нападением на самую власть; противодействие им — означало "потрясение основ существующего строя".

Отсюда логически вытекало полное подавление печати. Директоры департаментов состоят в ведении министра. Значит, нападение на них тоже было бы потрясением основ. Но столоначальники, в свою очередь, состоят в ведении директоров департамента. Губернаторы фактически назначаются министром — значит нельзя осуждать и действий губернаторов. Но в ведении губернаторов находятся полицмейстеры, исправники, становые, урядники, городовые... И логическое развитие бюрократического самодержавия дошло до своих пределов: рядом "законов о беззаконии" упразднена всякая гарантия против произвола всех чинов администрации, и параллельно — обличение в печати даже городского отождествлено с потрясением основ самодержавного строя. Правда, это относилось главным образом к министерству внутренних дел, и в то самое время, когда урядники были тщательно ограждены от обличений, — министры внутренних дел иной раз выпускали "из под руки" резвого публициста на своих неприятных товарищей из других ведомств. Всем еще памятен смелый шантаж, которому "известный" Шарапов подвергал министра финансов Витте, с благословления сначала г. Горемыкина, а потом, Сипягина и Плеве. Это было возможно потому, что с самодержавием отождествляла себя, главным образом, полицейская часть правительства и, таким образом,

случалось, что газеты закрывались за резкие статьи против местной полиции в то самое время, как "неприятный" министру внутренних дел его товарищ подвергался резким и безнаказанным нападкам...

Мне пришлось однажды выслушать от одного из провинциальных полицмейстеров (в Перми) отзыв об одном моем знакомом, как о чрезвычайно опасном революционере. Между тем, образ мыслей этого человека был ультраояльный. Когда я передал ему мнение о нем "начальства", он засмеялся и ответил:

— Я, вследствие обстоятельств, чисто личных, — не подаю ему руки. Он чувствует себя оскорбленным, а он — власть. Поэтому он совершенно искренно считает меня врагом всяком власти.

Этот простодушный провинциальный администратор был в сущности настоящим выразителем всей философии самодержавного бюрократизма. Всякий винтик этого строя, начиная с министра и кончая урядником, считает себя носителем частицы некоторой почти мистической власти и поэтому органически неспособен отделить нападки на себя лично от нападений на власть, а значит, и на самые основы "существующего строя". Отсюда уже совершенно понятна прямая неизбежность подавления печати при самодержавии. В 80-х годах все газеты обошел классический ответ омского губернатора на запрос из Петербурга по поводу ходатайства частного лица об открытии в Омске газеты. "Мне для управления краем газета не нужна", — ответил великолепный сибирский сатрап. Ответ щедринский комичен, — это правда, но... газета все-таки не была разрешена, потому что она не нужна была омскому самодержцу... В 1896 году я лично, вместе с двумя товарищами-провинциалами, ходатайствовал о разрешении издавать газету в Нижнем Новгороде. Мы получили отказ. Во время личных объяснений моего товарища с начальником главного управления по делам печати, последний дал великолепное объяснение этого отказа:

— Министр *не хочет провинциальных газет*. Понимаете — не хочет...

И затем, с выражением крайней досады, он прибавил, разводя руками:

— А они так и лезут, точно из-под земли.

Со времени обнародования Манифеста 17 октября прошло два месяца, но вопрос о свободе печати до сих пор остается в области тех противоречий, среди которых так мучительно бьется вся русская жизнь. И между печатью и нынешним составом правительства уже начались серьезные конфликты, в основании которых лежит коренная противоположность во взглядах на сущность свободы печатного слова.

Еще до 17 октября в Петербурге образовался союз защиты свободы печати, объединивший все ежедневные петербургские издания и многие еженедельники и ежемесячники. "Со дня образования союза все примкнувшие к нему издания решили действовать так, как если бы они существовали в свободном государстве. А именно, они перестали считаться с какими бы то ни было произвольными административными мерами, направленными против свободы слова, высказывая в своих изданиях, по долгу чести и совести все, что предлагает им к обсуждению текущая жизнь...". В отношении свободы печати союз своим постановлением признал, между прочим, необходимым "издание нового закона на следующих общих основаниях: 1) явочный порядок возникновения новых изданий и отмена залогов; 2) отмена предварительной (т.е. до напечатания) и запретительной (т.е. до выхода в свет) цензур; 3) ответственность за общие преступления, совершенные путем печати исключительно по суду, с подсудностью суду присяжных".

На почве этих постановлений объединились органы всех *направлений*, начиная с "Нов. Времени" и "Света" и кончая "Сыном Отечества" и "Новой Жизнью". Правительству графа Витте, уже на другой день по опубликовании Манифеста, пришлось очутиться перед фактом, который состоял в том, что в Петербурге исчезли все виды цензуры, и в течение некоторого времени печать фактически осуществляла свободу печатного слова, т.е. все мнения оказались свободными, и все факты общественного значения, подлежащими оглашению, независимо от удобств или неудобств этого оглашения для данного состава правительства.

Вслед за Манифестом 17 октября, на почве свободы

союзов, возникли союзы журналистов, книгоиздателей, книгопечатников и (еще ранее) — рабочих печатного дела. Таким образом все работники печатного станка оказались объединенными для защиты свободы печатного слова...

Правительство гр. Витте сначала как бы примирилось с существующим фактом, и печать в праве была ожидать, что временный закон о печати станет в уровень с этими ясными требованиями и новых начал управления, и самой жизни. Но уже 24 ноября появились временные правила о печати, в которых сказались совершенно ясно старые взгляды администрации.

Союз в защиту свободы печати, рассмотрев эти правила, нашел, что:

1) Административным властям предоставлено право, по собственному их усмотрению, налагать арест на отдельные №№ изданий (отд. VIII, стр. 9).

2) Под страхом тяжких кар печати воспрещено касаться самых насущных вопросов, именно в настоящее время требующих оглашения и *всестороннего освещения* (стачки рабочих, прекращение работ на железных дорогах, телеграф, телефон и др.); прекращение занятий служащими в правит. установлениях, прекращение занятий в учебных заведениях (отд. VIII, стр. 4, 5 и др.).

3) Установлен порядок судебной ответственности, вводящий в судебный процесс политическую партийность (полное устранение присяжных и сохранение суда с сословными представителями).

4) Сохранены даже некоторые виды предварительной цензуры (цензура объявлений, придворных известий).

В виду того, что означенными временными правилами существенным образом нарушены коренные начала свободы слова и извращены "незыблемые основы" гражданских свобод, провозглашенных в Манифесте 17 октября, Союз постановил:

"По-прежнему фактически осуществлять свободу печати".

2-го декабря были приостановлены сразу 8 петербургских газет, экземпляры их конфискованы, а

редакторы преданы суду и подвергнуты личному задержанию за оглашение воззвания, озаглавленного "Манифест" и исходившего от совета рабочих депутатов и нескольких партийных организаций. Большинство этих газет напечатало этот документ в хронике, как факт общественного значения, и кара, наложенная на эти газеты, вызвана уже, несомненно, не призывом, а лишь оглашением факта.

Союз защиты печати, обсудив в тот же день этот эпизод, принял решение: перепечатать, в виде протеста, означенный документ во всех изданиях союза... Таким образом, и здесь еще раз сказались единодушие печати, *без различия направлений* в отстаивании свободы печатного слова. Едва ли можно сомневаться, что большинство изданий, принявших это решение, не разделяло по существу высказанных в "Манифесте" взглядов и предоставляло себе выразить о нем свое мнение в последующих номерах... Но они считали самым существенным в этом вопросе право оглашения и свободного обсуждения общественного факта.

По разным причинам, постановление это не приведено в исполнение. Некоторые органы печати нарушили принятое уже обязательство, другие сочли его целесообразным лишь при полном единодушии. Мы не станем разбирать здесь подробности этого эпизода. Очень может быть, что печать найдет другие средства коллективной борьбы за свое право, но нам кажется несомненным, что в своем постановлении от 2-го декабря союз печати стоял на принципиально правильной почве.

Основной смысл происходящих в нашем отечестве событий состоит в тяготении страны к правильному представительству всенародного мнения. Возврат к старому не возможен. Все партии признают единственным выходом из периода тяжелой борьбы организацию народного представительства, которое должно сказать свое решающее слово. Организованное мнение страны является в настоящее время последней инстанцией, от которой все мы с надеждой ожидаем выхода и спасения от надвигающейся дезорганизации и анархии. Но если это так, — а это так несомненно, — то перед этой последней инстанцией

должно быть со всею полнотою и искренностью раскрыто все положение страны, без недомолвок и без утайки. Она должна узнать все о характере, программах и взаимном положении главных борющихся в обществе сил; она должна знать, каковы приемы этих партий и какими средствами данное правительство защищает свои позиции. Если России суждено выйти победоносно из тяжкого испытания, в которое ввергли ее годы произвола и безгласности, то этим она обязана будет здоровым силам общества и народа. Так пусть же общество и народ узнает все происходящее от свободной печати, всесторонне и со всею полнотою жизненных фактов.

Нам скажут, что порой оглашение тех или других воззваний и заявлений несёт с собой неудобства не только для данного состава правительства, но и для тех общественных интересов, которые пока находятся в руках этого состава. Это, конечно, возможно. Но, во-первых, противовесом является свободное обсуждение каждого такого акта органами всех направлений, если только эта свобода не искажается преследованиями и карами. А во-вторых, — великая страна скоро исправит частные неудобства, когда станет действительно свободна. Немецкий разгром и внутренняя борьба, сопровождавшая крушение деспотического наполеоновского режима, не помешали Франции уплатить 5 миллиардов и достигнуть благосостояния, гораздо большего, чем при Наполеоне. Но если старому строю нашей жизни удастся похитить и исказить "незыблемые основы" ее новой свободы, если нас вернут к прежнему произволу, к прежней безгласности и бесправию народного голоса и мнения, то это значит, что Россия вступит опять на путь хронического расстройтва самых источников ее жизненных сил, на тот самый путь, который уже привел ее к тяжким внешним поражениям и внутренней анархии.

И кто знает, найдет ли она *тогда* выход из этого затянувшегося положения... Вот почему при выборе между мертвой буквой старых начал русской жизни и духом "незыблемых основ" грядущего нового строя, — для печати не может быть колебаний...

Изволят забавляться

Случайные заметки¹

Их превосходительства забавляются. Они доступны сердечным слабостям, как и простые смертные. Разница состоит лишь в том, что, облеченные сильной властью, они даже сердечные шалости имеют возможность облекать в авторитетные формы. Первые вздохи они иногда препровождают через полицию, а сердечные неудачи ликвидируют порой в административном порядке.

В последнее время газеты сообщали, что советник губ. правления в Перми, г-н Штюрмер ("сын"), сидя в губернаторской ложе в театре, пришел в такое восхищение от игры и наружности оперной артистки г-жи Н.-ко, что у него явилось неодолимое желание "отужинать с нею в клубе". А так как он, разумеется, в Перми чувствовал себя, как и всюду, не только советником правления, но и сыном первого министра, то он тотчас же позвал полицмейстера Стратонова и приказал ему объявить об этом начальственному благоволению г-же Н.-ко. Полицмейстер неукоснительно о таком желании начальства артистке и объявил. А артистка, пользуясь, кстати сказать, общим уважением в городе, возмутилась, и нежные аллюры г-на советника безжалостно отвергла. Тогда г-н Штюрмер очень рассердился и сказал Стратонову:

— Передай (?) труппе, что если Н.-ко не пойдет со мной ужинать, то вся труппа завтра же будет в 24 часа выслана из Перми.

Известие обошло столичные и провинциальные газеты и остается непровергнутым...

¹ Короленко печатался в "Русском богатстве" едва ли не в каждом номере. Тогда еще не считалось зазорным, что редактор-издатель печатается в собственном журнале. Поэтому перед составителями "Антологии" не существовало проблемы: что выбрать из Короленко? Этот небольшой фельетон, написанный в 1916 году, понадобился нам для того, чтобы подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Владимир Короленко с одинаковым мастерством владел всеми литературными жанрами.

Вы уже догадались, для чего это сделано? "Русское богатство" намерено и впредь обращаться к творчеству Владимира Короленко, возможно, удастся составить памятный номер, посвященный его литературному наследству. Идея журнала одного автора оказывается плодотворной и в данном случае.

Эпизод почти фантастический, но надо сказать, что самое явление не ново, и г-н Штюрмер-сын только продолжает консервативные традиции "сильной власти", возникшие давно, вернее, существовавшие искони.

Полиции не в первый уже раз приходилось выступать в такой деликатной роли. Пишущий эти строки когда-то был корреспондентом "Русских Ведомостей" с Нижегородской ярмарки, и ему пришлось раз отметить следующий эпизод. Это было в 1805 г. К одной даме, проживающей в городе в ярмарочное время, внезапно нагрянула полиция и произвела тщательный обыск. Соседи были поражены торжественностью этого полицейского акта и строили всевозможные предположения, доходя в них даже до "политики". Оказалось, однако, что дело объясняется проще: за дамой горячо ухаживал некто, подносявший ей подарки в самых, конечно, сладостных ожиданиях. Дама эти ожидания не осуществила. Огорченный ухаживатель прибег за утешением в горе к содействию "власти". Губернатором тогда был знаменитый генерал Баранов, истинный представитель власти сильной и всесторонней. Он снизошел к сердечным страданиям нежного ухаживателя... И вот (в видах, вероятно, общественной безопасности и для охранения государственного порядка) у жестокой красавицы перешарили все вещи. "Ничего предосудительного не нашли", кроме "подарка", который — очевидно, в тех же государственных видах, — был возвращен несчастному воздыхателю, как слабое утешение в неудаче. Корреспонденция об этом событии заканчивалась вопросом: неужели в обязанности ярмарочной полиции входит также наблюдение за тем, чтобы все сладостные надежды, расцветающие на ярмарочной территории, неуклонно получали надлежащее удовлетворение?

Вопрос, разумеется, остался без ответа, но традиция полицейского воздействия в сердечных делах сохранилась твердо. Обновились они уже в конституционное время, в губернаторство знаменитого А.Н. Хвостова. Как известно, А.Н. Хвостов, прежде чем стать достоянием истории в роли российского министра, пользовался своеобразной известностью, как нижегородский губернатор. Этот период его биографии имеет

некоторое сходство с молодостью известного шекспировского принца Гарри, протекавшей довольно весело в сообществе почтенных Фальстафов, Пистолей и Бардольфов. Вот в этот именно период, т.е. до призвания на высокий пост, газеты широко огласили пикантный эпизод "из губернаторского быта". Многие его, вероятно, еще помнят. Г. Хвостов обратил на ярмарке внимание на шансонетную певицу и объявил антрепренеру о своей благосклонности через полицмейстера. Так как в контракте этот случай предусмотрен не был, то артистка отказалась наотрез "соответствовать нежным видам" его превосходительства. Тогда он, — совершенно так, как грозил ныне "сын первого министра", — принял административные меры по отношению к антрепренеру и труппе. Это было, если не вполне законно, но очень непосредственно и колоритно. Г. Хвостов представлял в своем лице власть. Его "виды", значит, были видами "власти", а так как в труппе проявилось противодействие этим видам, то, значит, налицо были все основания для административного воздействия.

Неизвестно, чем кончился бы этот своеобразный роман. Нижний следил за драмой упорства и любви с понятным захватывающим интересом... Но, к несчастью для любителей всего колоритного, в это время в Нижнем находился покойный А.А. Стахович, человек крамольного образа мыслей, который, благодаря уже водворившейся тогда "разнузданности печати", огласил эту пикантную историю о губернаторских вздохах, официально препровождаемых через полицию. Разумеется, на крамольную заметку последовало опровержение, более официальное, чем убедительное, и затем подтверждение ее правдивости со стороны антрепренера, более убедительное, чем официальное. Колорит был потерян, и даже губернаторская карьера несколько как будто затмилась, быть может, в связи с этим эпизодом. Тогда все-таки еще думали, что "сильная власть" не должна быть смешной.

В конце концов, однако, это ничему не помешало. Высокие предназначения веселого губернатора уже назревали, и г. Хвостов был призван на арену всероссийской известности в роли министра внутренних дел в великую и мрачную историческую годину. Дальнейшие перипетии этой биографии, полные закулисных

неожиданностей, совершенно затмили маленькие нижгородские шалости, а "традиция" получила в Нижнем блестящее подтверждение. Мудрено ли, что в окраинной Перми она оказалась не менее живуча, чем в центральном Нижнем Новгороде? И — кто знает? не вдохновлялся ли г. Штюмер-сын блестящим примером г-на Гарри-Хвостова? Шекспировского принца призыв на арену истории застал в шумной таверне. Г-на Хвостова высокие судьбы извлекли после пикантного эпизода на ярмарке. Разве это не могло окрылять подражателей? *Post hoc, ergo propter hoc*. После этого, значит *поэтому*. Г-н Штюмер-сын проявил такую же игривую энергию власти... И вот, повышение в виде губернаторства (правда, в Якутске!) он уже получил. Кто знает, — не предстоит ли и ему дальнейшая историческая роль?

Так, по крайней мере, он может мечтать "по прецедентам". А ведь наше время, как известно, есть время самых неудержимых мечтаний и самых фантастических достижений.

Во всяком случае далекий и холодный Якутск можно поздравить: он получает, если газетные известия верны, губернатора, соединяющего нежное сердце с необыкновенным тактом в проявлении "сильной власти".

Листая старые страницы

Иван Бунин

Иван Бунин в комментариях не нуждается. Но зато в "Попутных записках" есть повод поговорить о названии рассказа. Если вы захотите найти "Деревенский эскиз" в собрании сочинений Бунина, вас постигнет разочарование — нет такого произведения.

Но по порядку.

Ивану Бунину двадцать три года, начинаются первые литературные опыты. Написан рассказ — куда послать его? По какому адресу? Молодой автор выбирает: С.-Петербург, ул. Баскова, д. 9 — "Русское богатство". "Милостивый государь, при сем направляю Вам..."

Пакет пришел на улицу Баскова. Ник. Михайловский читает рассказ и решает опубликовать его. Но вот незадача. Над рассказом стоит: "Без заглавия". На месте Михайловского я тоже задумался бы — можно ли публиковать рассказ под таким заголовком?

Впрочем Михайловский думал недолго. И уверенной рукой вывел: "Деревенский эскиз", в набор.

Номер "Русского богатства" пришел в деревню, где жил Бунин. Что тут было! Радость, конечно, — но и досада. Как это так — "Деревенский эскиз"? Можно сказать, в душу плюнули...

Признаться, я не понимаю, почему "Без заглавия" лучше "Деревенского эскиза"? Но Бунин, видимо, понимал. Уже тогда он знал, что является хранителем и "Темных аллей", и "Деревни", и "Жизни Арсеньева"... "Без заглавия" — это многозначительно, с подтекстом, это глубоко... А "эскиз" — самый низкий литературный жанр. Ох, обидело "Русское богатство" будущего русского классика.

Впрочем, конфликт разрешился согласием. Бунин много раз печатался в "Русском богатстве", и был ответно похвален оттуда.

Название все-таки пришлось менять. Бунин собственноручно сделал это, когда составлял первый сборник. Так появился рассказ "Танька". Правда, для этого пришлось заменить также имя героини. В "Деревенском эскизе" девочку звали Настей. Но Бунину требовался уменьшительный вариант имени, и "Настька" для названия явно не подходила. А Таня, Танька, Татьяна для русского слуха — имя вполне литературное. Названием "Танька" Иван Бунин как бы давал присягу в традиционализме, чему он и следовал до конца своих дней.

Такие вот метаморфозы с названием: "Без заглавия", "Деревенский эскиз", "Настька" и, наконец, "Танька".

Что касается самого рассказа, то он традиционен для русской прозы конца XIX века. Будущий Бунин просматривается с трудом. До "Темных аллей" еще полвека жизни и великих страданий. Но генетически все уже заложено в "Таньке". И прав был Михайловский, а не Бунин — это действительно эскиз...





ИВАНЪ БУНИНЪ¹

Деревенскій эскизъ²

Настьке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась за ночь, Настька вытянулась, глубоко вздохнула со сна и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую "голову" печи и прижала к ней маленького Ваську. Тот сразу открыл глаза и взглянул так светло и весело, как смотрят в первую минуту пробуждения только здоровые дети. Как малый бойкий и вообще "разбойник", несмотря на свои четыре года, он спокойно поддал Настьку в бок и, полежав немного, шлепнул нога об ногу и топнул ими по печке:

— Тахто в ч е л а с ь дядя с о й д а т плясал, — сказал он баском и весело сверкнул глазками.

Потом повернулся на бок и затих. Настька улыбнулась и тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь и зашуршало. Мать протаскивала охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются — беспреренно к мятели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В избе брезжил синеватый холодный свет утра и шипели и крякали проснувшиеся под лавкой утки. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, су-

¹ Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), поэт и прозаик. Лауреат Нобелевской премии (1933). В 1920 году был вынужден эмигрировать из России. Поэтический сборник "Листопад". Рассказы и повести "Деревня", "Суходол", "Господин из Сан-Франциско", "Митина любовь". Роман "Жизнь Арсеньева". Книга "Темные аллеи".

² "Русское богатство", 1893, № 4.

дорожно вытянул спину и хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка!.. Корову-то прогусарили?

— На Покров продали.

Настька затаила дыхание.

Продажа коровы очень врезалась ей в память. Она помнила, что, "когда еще картохи копали", в августовские сухие ветреные дни с дымными горизонтами ("это леса горят", — говорил отец), мать на поле полудновала, плакала, сморкалась и говорила, что ей "кусок в горло не идет", и Настька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем идет толк...

Потом в большой крепкой телеге с передком приезжали "антихристы". Оба они, как казалось Настьке, были похожи друг на дружку — черны, засалены, высоко подпоясаны по кострецам и пугали и ее, и Ваську... За первыми двумя пришел еще "антихрист", больше всех, совсем черный, с палкой в руке, и, немного погодя, вывел со двора лошадь и бегал с нею по выгону; за ним бегал отец, и Настька думала, что он погнался за "антихристом" отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать сидела на пороге избы и во всю мочь голосила. Глядя на нее, заплакал и Васька, и совсем подняли крик, когда "антихрист" вывел со двора вместо лошади корову, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. Корова рвалась, упиралась, неуклюже подпрыгивала за телегой, и отец уже не погнался за ней...

"Антихристы" были простые лошадики мещане, хотя в самом деле были свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Первые наперебой торговались с Корнеем и наперебой пытали его лошадь, т.е. драли ей морду, били палками, пробуя ее жизненную энергию.

— Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с Богом свои деньги.

— Не мои они: побереги, полцены брать не придется, — уклончиво отвечал Корней.

— Да ты опомнись: какая же это полцена, ежели, к примеру, кобылке более годов, чем нам с тобой?.. Молись Богу, получай 13 с полтинкою.

— Что зря толковать, — рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел "знаменитый" Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: острые, черные глаза, форма носа, скулы — все сильно напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шума, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Все оглянулись.

Мещане, знавшие его "маневры", перемигнулись и притихли. Талдыкин подошел, остановился и долго равнодушно молчал. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: "Поскореча, ехать время, я на выгоне дожду," — и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит, — сказал он, намереваясь идти.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые, мутные глаза.

— Ну?

Корней не знал, что ответить...

Талдыкин сразу ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул и закрыл глаза.

— Долголетняя?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней опять оказался в недоумении...

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброт*.

* Оброт — нечто вроде узды из веревок.

— Молись Богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней. — Ты без креста, дядя!..

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно, — обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак тебе попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Деньги обыкновенные, бумажные, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь! — верь совести...

Мещане подхватили, поднялся крик...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... и как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, хоть и отвоевал кобылу — пришлось расстаться с коровой...

Так было дело, но не так оно представлялось Настьке.

С замирающим сердцем глядела она в щелочку из сеней на двор, где происходил торг, и глотала слезы.

Продажа коровы сделала эпоху в ее жизни, как часто бывают у детей эпохами даже простые случаи. Страх от "антихристов", слезы матери, долгое молчание отца — все оставило в ней смутное, но очень скорбное, темное впечатление...

Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали снежинки, становясь все гуще и рыхлее, и, наконец, повалили белыми хлопьями, заноса выгон, лазины и заваленку избы, — Настьке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы, для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нему палками и слушать, как он гулькает от этих ударов, — а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она накося! с мальчишками на пруд? Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало с грустью приходилось исполнять это и довольствоваться компанией Васьки, находя единственное утешение в том, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнувшего клетью, круто посоленного хлеба... Теперь же мать совсем по утрам не давала ни хлеба, ни картошек и на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, коростовая.

И хоть даже во рту намокало от желания поесть картошечек и вовсе не хотелось бежать на пруд — мать все-таки укутывала и прогоняла.

Настька недоумевала.

Да и нельзя было не смущаться, потому что дела изменились и в других отношениях. Например, относительно спанья. Прошлую зиму Настька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на "групке" печки хоть до полночи. В избе стоял распаренный густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темными, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около нее сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее в это время было очень кротко и ласково... Тихим голосом пела она "старинные" песни, которые слыхала еще в девичестве, и Настьке часто хотелось от них плакать, плакать так, чтобы никто не видал и не мешал ей... В темной избе, завейной снежными вьюгами — наносами, в деревенский глухой вечер, может быть, смутно вспоминалась Марье ее молодость, которая после долгих лет кажется всегда такою хорошею и беззаботною, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда они молодыми, крепкими девками шли полевою дорогою и подхватывали звонкие песни, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Тихою, грустною песнею говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори и росистые ночи, будет все, что проходит так скоро и на такие долгие годы закабалается деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Настька в одной длинной рубашонке съерывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверенок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальцо, иногда ела даже "кусок"* и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и тарачил глаза, набивши рот до последней степени и стараясь всунуть в него еще большую ложку... После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала самым сладким сном под молитвенный шепот матери: "Угодники Божии, святителю Микола милосливый, столп-охранение людей, Матушка Пресвята Пятница — молитте Бога за нас! Хрест в головах, Хрест у ногах, Хрест от лукавого!..".

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего и грозила "глаза выколоть" или "слепым в сумку отдать", если она, Настька, спать не будет. Настька часто редела и просила "хоть капустаки", а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

— Вот домовой-то, — говорил он серьезно, — все спи, да спи... Вот домовой-то... А я возьму помлу, а то батя плидет — мы с ним кык дадим, да за волосы!..

Батя ушел еще с Казанской и был дома только раз, говорил, что везде "беда", полушубков не шьют, — больше помирают, — и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже "вут такой-то кусок" соленого судака батя принес вареный и завернутый в тряпочку: "На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал"... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали, и Настька уже скоро ясно поняла и почувствовала, что "ноне всю зиму нечего будет есть", хотя и не знала еще, зачем мать так часто гонит ее из избы...

Странник обулся, умылся, помолился в угол; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на под-

* "Кусок" — по-орловски мясо.

рясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко и плотно, как желтая гуттаперча, нос вздернут и глазки глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка, — сказал он, — даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

Марья промолчала.

— А?

— Что варить-то? — спросила Марья, рассеянно улыбаясь.

— Как что? Ай нечего?

— Нечего, родной, нечего, — повторила Марья скороговоркой и, отвернувшись, стала пихать в печку солому.

— Вот домовой-то... — пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку.

— Проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Настька прижукнулась.

— Спят, — сказала Марья тихо, села и опустила голову.

Странник из-подлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Ничего, — повторил странник. — Бог даст, перебьешься кое-как, а там... У меня, брат, ни крова, ни пищи, пробираюсь, сударушка, бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевал и ты, — вдруг резко ответила Марья и глаза ее заблестели, — с ребятишками с голодными, не слышал, как голоса они во сне с голоду!.. Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до разусвету обегала — и у Матюхиных была, и у Хилля была... да с Хилля что спрашивать? — сказано Хилляй — ни синь-пороха, мучицы еще с новины нету... К Козлу ходила и у Догадуна была... Христом Богом просила, одну краюшечку добыла... у самих оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились... Настенка как щепка стала...

Голос у Марьи зазвенел слезами.

— Я вон, — продолжала она, стоя и все более волнуясь, — гоню Настьку, почитай, что каждый день на пруд... "Дай капуста, дай картошечек"... А что я ей дам? Ну, и гоню: "Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку"... А каково...

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка ("У, погибли на тебя нету!..") и стала усиленно сгребать на полу солому.

Настька приподнялась на локоть и замерла. Сердце у нее стучало. Она поняла. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она сообразила другое. Сама того не понимая, она страстно захотела помочь матери...

Тихонько она поползла в угол печки, торопливо оглядываясь, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

"Я сама уйду на пруд, не будут просить картох... сама... вот она и не будет голосить, — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг... — Аж к вечеру приду"...

По большей дороге ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие "kozyрьки"; меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему ежеминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить на них бочком.

В задке саней сидел седой старик, очень похожий на Тургенева, только похудее в лице и с более нависшими бровями. Ехал из города мелкопоместный барин с Дальних Хуторов, Павел Антоныч. Собрались из города еще до рассвета, и уже часа четыре или пять Павел Антоныч неподвижно сидел в санках и тихо смотрел в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные ветки в инее.

Давно уж ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, в которой он проиграл в карты три

четверти своего состояния, Павел Антоныч утрашился и закабалился на службе в гарнизоне в уездном городишке. Потом поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Играл он только в "свои козыри" и по "носкам", пил одно "церковное", да и то в минуты расстройства желудка...

Но и в деревне ему не посчастливилось.

Умерла жена...

Потом пришлось отпустить крепостных...

Потом проводить в Сибирь сына, юношу-студента...

Когда сына арестовали, Павел Антоныч не захотел с ним даже прощаться, решил не писать ему "до гробовой доски". Только поехал на вокзал в город, чтобы из толпы взглянуть на него... Но не выдержал — сел в тот же поезд, в котором повезли сына, на одну станцию: "Все равно домой-то возвращаться, со станции еще ближе"... Стоя на задней платформе последнего вагона, он думал только то, что у него теперь никого не осталось и что на Дальних Хуторах ждет его пустой дом, в котором он умрет в глухую зимнюю ночь... А поезд шел, как нарочно, медленно, длинный, занесенный и убеленный снегом. С боков налетала на него метель, и паровоз работал тяжело и неровно. Снизу задирала и курилась шипящая подземка. Наступали сумерки, и уходящий в сторону, в белую вьюгу, город казался забытым селением на крайнем севере.

"Кремень" от природы, да еще получивший солдатскую закваску за свою службу в гарнизоне, Павел Антоныч под старость стал совсем не общительный и "чудной". Он скоро втянулся в одиночество, в скупое хозяйство, и деревенские дни пошли тихо, однообразно и успокоительно. С утра, посвистывая, хлопотливо ходил он по хозяйству, потом обедал, опять ходил, вечером что-нибудь точил или читал "Свет", забравшись на лежанку, когда в доме стояла мертвая тишина и только в сенях стучала какая-нибудь не притворенная дверь... Ночью — старческий тонкий сон, сквозь который часто прислушиваешься: "Кого это собаки рвут, непременно Митька Шмыренко хоботье пришел воровать", — зажигаешь свечи, куренье и опять дремота...

А утром все сначала...

К вечеру морозило, и за смутными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, — сказал Павел Антоныч Федору.

Федор задергал возжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко и чтобы угодить, он сказал:

— Чтой-то Бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом, — по обыкновению отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Федор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Федор поглядел в смущенном недоумении.

— Я объел, — повторил Павел Антоныч и, помолчав, пояснил:

— Кабы я тебе, дураку, приказал их, как следует, закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Федор растянул рот в неловкую улыбку.

— Чего оскалешься-то? Погоняй!

Федор ударил возжами и, роясь в передке, в соломе, пробормотал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

Он совсем перегнулся в передок.

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Федор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Федору.

— На тебе два, дай мне один. А самый кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь. Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Федор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

Но он был сильно удивлен, когда, пришедши на хутор, услышал от кухарки следующее:

— Вот чудеса! Девчонку привез Корнюхину.

— Кто привез?

— Барин.

— Как привез?

— Да как привозят-то? Чтой-то ты, малый, ай очумел? Привез да и только. Либо он соскучился, либо, Бог с ним, перед смертью это. Я просто диву далась, как втащил он ее...

Действительно, Настька очутилась в "барском доме". В кабинете был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел догорающий самовар. На лежанке сидела Настька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай.

Настька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны Павлом Антонычем на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Распаренные крендели лежали у нее в стакане. — Павел Антоныч тоже пил, и Настька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно до самого виска ходят челюсти.

Неизвестно, почему Павлу Антонычу захотелось, чтобы у него, в пустом доме, ночевала мужицкая девочка. Проезжая через деревню, он встретил на горе толпу катающихся мальчишек. Настька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Глазки у нее глядели тихо и кротко. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Настька, повернулась как будто спокойно и бросилась бежать.

— Постой, постой, закричал Павел Антоныч, — я отца видел, гостинчика привез от него.

Настька остановилась.

Ласковой, искренней улыбкой и обещанием "прокатить" Павел Антоныч заманил ее в сани и повез на хутор. Дорогой Настька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча в шубе. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Настька сидела, не двигаясь. Но на выезде деревни вдруг ерзнула из шубы, так что даже заголилась вся и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплее и теплее становилось в его старческом сердце, когда он закутывал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но возжи у него опустились, лицо стало тихое и сосредоточенное... брови шевелились чаще...

В доме он водил Настьку по всем комнатам, показывая ей всякие вещички, заставлял для нее играть часы... Давно не проводил он такого веселого вечера...

Слушая часы, Настька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, прислушиваясь, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут.

— Как котелочки перекатываются, — сказала она про кругло и мягко играющие звуки.

Павел Антоныч накормил черносливом — Настька сперва не брала — "он черниций, нуко-сь умрешь", дал ей несколько кусков сахара. Настька спрятала и думала:

— Ваське не дам, а как мать заголасит, ей дам.

Потом Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Настька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда — молчала и мотала головой. Но все-таки Павел Антоныч узнал многое про Корнееву семью и задумался...

В комнате было сухо и тихо. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Настька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. Под влиянием новой обстановки тишины и тепла, в голове у нее роились сотни смутных, странных мыслей, но они уже облекались в сладкие сновидения...

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Настька вздрогнула и засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, видимо, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не вспыхивало оно такую добротой, такой старчески-детскою радостью. Он снял гитару.

— Погоди, — шепнул он.

Сперва заиграл ей "Качучу": Красивые, изящные звуки танца понравились Настьке, и она на минуту разгулялась... Потом стала слушать слабее и опускать голову, закатывая глаза, как курица на насесте... А Павел Антоныч уже не замечал ее...

"Качуча" напоминала ему молодость, жену, все прежнее. И незаметно он перешел на "Зореньку":

Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!
Высоко восходила,
Далеко возсветила...

Он поглядел на спящую Настьку и ему стало казаться, что это она, уже молодою деревенскою красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-зарю
Играть хочется!
Играть хочется —
Играть не велят,
Не приказывают,
Заговаривают...

Деревенскою красавицею!.. А что ждет ее? Где и когда повстречает она счастье, где услышит веселую песню? Где увидит людей, увидит что-нибудь, кроме своего выгона?.. Да и что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?..

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватил струны...

Вот теперь его племянницы во Флоренции... Настька и Флоренция!.. Даже слова-то этого она не услышит никогда!

Он встал, тихонько поцеловал Настьку в волосы и с особенною нежностью услышал от ее головы запах курной избы...

И пошел по комнате, шевеля бровями и потирая лоб.

А он сам? Когда ему самому приходили в голову такие мысли? Кажется, еще ни разу. Сколько лет и ни разу!

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, и везде они одни и те же, и везде мрут от голода люди!..

Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына.

Первый раз он глядел на него с бесконечной любовью и уважением, чувствовал его родным и своим другом...

А Настьке снился лес, по которому она вечером ехала на хутор. Сани тихо бежали в опушенных, как белым мехом, инеем чащах. Сквозь них навстречу росли, трепетали и потухали огоньки голубые, зелененькие — звезды; кругом стояли белые хоромы и иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые перезвоны и рулады и слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной, дымной избе старинные песни...

Листая старые страницы

Федор Крюков

Личную судьбу писателя не следует отождествлять с литературной судьбой, хотя случай слияния двух судеб в одну является оптимальным и отнюдь не редким. Личная судьба может оказаться сложной, трагической, несправедливой. Но несправедливой литературной судьбы практически не бывает, в чем мы сейчас убеждаемся еще и еще, когда к нам возвращаются имена, произведения, насильно отторгнутые от современников.

Федор Крюков принадлежит к такого рода писателям. Многие десятилетия его как бы не существовало, причем забвение было почти единогласным: у нас и у них. Причины такого забвения могли быть разными, их анализ не входит в нашу задачу.

Можно лишь порадоваться, что еще один писатель возвращается в русскую литературу. В данном случае возвращение совершается на уровне почти сенсационном. Федор Крюков назвал цикл своих рассказов и очерков "На тихом Дону". Это название производит ошеломляющее впечатление, но, если вдуматься, оно означает лишь то, что за много лет до рождения Михаила Шолохова метафора уже существовала в самой природе, как существует в ней "Волга-матушка", "Седой Урал", "Медная гора".

На мой взгляд, спор о том, кто написал "Тихий Дон", лишен практического смысла. Пространство литературы ограничено лишь вечностью, и для каждого достойного писателя в литературе уготовано свое место — тут несправедливостей не бывает. И Федор Крюков, и Михаил Шолохов давно почили, им нет никакого дела до наших литературных споров, возводимых в ранг скороспелых сенсаций.

Зато рассказ "Казачка", напечатанный в 1896 году, по-настоящему интересен, тут все подлинное.





ФЕДОРЪ КРЮКОВЪ¹

На Тихом Дону

Казачка

I

В маленькой комнатке с низким потолком, с потемневшими, старинного письма, деревянными иконами в переднем углу, с оружием и дешевыми олеографиями по стенам находилось два лица: студент в старом, форменном сюртуке и молодая казачка. Студент стоял на коленях среди комнаты перед большим раскрытым чемоданом и вынимал из него книги, разные свертки и — больше всего — кипы литографированных лекций и исписанной бумаги. Русые волосы его, подстриженные в кружок и слегка вьющиеся, в беспорядке падали ему на лоб; он беспрестанно поправлял их, то встряхивая головой, то откидывая рукой назад. Молодая собеседница его, которая сидела на сундуке, около двери, с несколько недоумевающим любопытством посматривала на эти груды книг и лекций, разложенных на полу вокруг чемодана.

— Тут тебе гостинцев, не унесешь за один раз, пожалуй, — сказал ей студент.

Она вскинула на него свои карие, блестящие глаза и улыбнулась весело и недоверчиво. Смуглое лицо ее, продолговатое, южного типа, с тонким прямым носом,

¹ Крюков Федор Дмитриевич (1870—1920), писатель. Член I Государственной Думы (1906). Сидел в царской тюрьме. В гражданскую войну был секретарем казачьего круга на Дону. Очерки и рассказы "На Тихом Дону", "Казачьи мотивы".

с тонкими черными бровями и глазами, опущенными длинными темными ресницами, было особенно красиво своей улыбкой: что-то вызывающее, смелое и влекущее к себе было в ней, в этой улыбке, и легкое смущение овладевало студентом каждый раз, когда продолговатые глаза его собеседницы, весело прищурившись, останавливались на нем, а на губам ее играла эта странная усмешка.

— Прежде всего — вот, — продолжал студент, с комической торжественностью извлекая из глубины чемодана один из свертков.

И он развернул перед ней два небольших платка: один шелковый, бледно-голубой, другой — шерстяной, тоже голубой, с яркими цветами на углах.

Студент (его звали Василием Даниловичем Ермаковым) приехал два дня назад из Петербурга на каникулы и привез, между прочим, письма и посылки от своих станичников, казаков атаманского полка, к их родственникам. Два дня пришлось ему раздавать эти письма и посылки, пить водку, беседовать с стариками, утешать старух, разливавшихся в слезах по своим родимым сынкам, несмотря на его уверения, что все они живы и здоровы, и все благополучно, слава Богу. Но что было всего труднее, это удовлетворять расспросы казачьих жен — "односумок"* , приходивших отдельно от стариков и старух и спрашивавших о своих мужьях с такими непредвиденными подробностями, на которые растерявшийся студент или ничего не мог сказать, или, отчаявшись, немилосердно врал. Теперь он разговаривал тоже с одною из таких "односумок": это была жена его приятеля, казака Петра Нечаева, — Наталья. Она пришла после всех, уже под вечер второго дня.

— Это тебе, — сказал студент, подавая ей шелковый платок, — а этот матери передай.

— Ну, спаси его Христос, — проговорила она, взявши платки и окидывая их опытным оценивающим взглядом.

* "Односумами" называют друг друга казаки, служившие в одном полку и, следовательно, имевшие общие суммы; жены их называют друг друга "односумками".

— А деньжонки-то, верно, еще держатся, не все пропил? — заметила она с улыбкой.

— Да он и не пьет, — возразил студент.

Она недоверчиво покачала головой и сказала: — Как же! так я и поверила... Все они там пьют, а после говорят, что там, дескать, сторона холодная: ежели не пить — пропадешь.

Студент, продолжая рыться в чемодане, очевидно, плохо вслушивался в то, что она говорила, и ничего не возразил.

— Да это не беда, — прибавила Наталья, помолчавши с минуту: — а вот лишь бы... Это я дюже не люблю!

Студент поднял голову и рассмеялся. Она произнесла щекотливый вопрос спокойно, без малейшей тени конфузливости и затруднения, как вещь самую обычную, а он, между тем, несколько смутился и покраснел.

— Вот и письмо, наконец, — проговорил он поспешно, подавая ей большой и толстый конверт; — написал чего-то много...

— Письмо-то я после прочитаю, — спокойно и неторопливо сказала она, — а ты мне расскажи на словах... Живое письмо — лучше.

— Да я что же на словах могу сказать? — заговорил студент, вставая с места и покоряясь необходимости повторить в двадцатый раз одно и то же, что он говорил всем односумкам об их мужьях в эти два дня:

— Жив и здоров, конь тоже здравствует, служба идет ничего себе, хорошо, скучает немного по родине... по жене, главным образом, — засмеявшись, прибавил он.

— Как же! — весело усмехнулась она, — нет, ты расскажи, Василий Данилович, мне по правде, не скрывай...

И она повторила прежний вопрос.

Он опять взглянул не без смущения на ее красивое, несколько загорелое лицо. Карие глаза ее глядели на него весело и наивно.

— Об этом я ничего не могу сказать: не знаю, — уклончиво ответил он, — только, кажется, он не из таких, чтобы...

Веселый взгляд ее карих глаз перешел в недоверчиво насмешливый и тонко-лукавый. "Знаю я вашего брата!" — как будто говорила она, хитро улыбнувшись.

— Да ты правду говори! — с деланной строгостью воскликнула Наталья.

— Я правду и говорю...

— Ну, а из себя как он стал: худой? гладкий?

— Да ничего себе, молодцом!

— Кормят их хорошо? Как их жизнь-то там протекает? Ты мне все расскажи!

— Все, что знаю, расскажу, — покорно отвечал засыпанный этими быстрыми вопросами студент: — я у него раз ночевал в казармах, видел, как они там живут... — ничего, не скучно. И он ко мне приходил с товарищами. Играли песни, вспоминали про вас, пиво пили...

Он остановился, придумывая, что бы еще сказать Наталье об ее муже. Все это, почти в одних и тех же выражениях, он говорил уже несколько раз другим односумкам, и все они глядели на него так же вот, как и она, не сводя глаз, с жадным любопытством, и слушали эти общие, почти ничего не говорящие фразы с величайшим интересом.

— Не хворает он там? — помогла она ему вопросом, видя его затруднение.

— Говорю — здоров. Отчего же там хворать?

— А вот, вы-то какой худой стали... — заметила она со вздохом сожаления: — прежде покрасней были, полноликие...

Он ничего не сказал на это.

— Ну, а мне ничего Петро не наказывал? не говорил, — понижая голос, с какою-то таинственностью, тихо и осторожно спросила Наталья.

Студент несколько замялся, задумался и не тотчас ответил. После некоторого колебания, поглядывая в сторону и избегая ее пытливого взгляда, он нерешительно заговорил:

— Особенно как-будто ничего... Только, — буду уж говорить откровенно (он начал нервно пощипывать чуть пробившийся пушок своей бородки), — толковал он о каком-то неприятном письме, о каких-то слухах...

Даже плакал один раз — пьяный. Одним словом, просил меня разузнать, тут как-нибудь стороной... об тебе, собственно...

Он окончательно смутился, спутался, покраснел и замолчал.

— Я ведь так и знала, — заговорила она спокойно и равнодушно: — напрасно он только собирает эти глупости!.. Писала ведь я ему, чтобы плюнул в глаза тому человеку, кто набрехал про все про это! Знаю ведь я, от кого это ползет, и письмо, знаю, кто писал... Говорить противно даже про такую низкость, а он верит...

Лицо ее приняло строгое, молчаливо суровое выражение. Гордая печаль придавала ему особенную красоту грусти, и студент украдкой долго любовался ею.

— Я тоже его разубеждал, — начал он, оправляясь от своего смущения: — и он сам почти не верит... Но иной раз сомнения мучат, червяк какой-то гложет, особенно, когда подвыпьет.

— Глупость все это одна! — сердито нахмурившись, заговорила она. — Так и напиши ему мои слова. Он писал мне в письме, угроживал... Да я не побоюсь, — он сам знает, что я не из таких, чтобы испугаться. А захочу сделать чего, сделаю и скажу прямо... Не побоюсь!

Она сделала рукой красивый, решительный жест и сердито отвернулась. Ее молодому собеседнику все в ней казалось необыкновенно красивым, оригинальным и привлекательным; он тайком любовался ею и глядел на нее, хотя больше украдкой, с несколько робким, но жадным любопытством молодости. Что-то смелое, решительное, вызывающее было в ее сверкнувших на минуту глазах... Она сама, видимо, сознавала свою красоту, и быстрый взгляд ее карих, блестящих глаз, который она из-подлобья кинула на студента, самодовольно и хитро улыбнулся...

Они долго молчали. В окна смотрели уже первые сумерки; голубое небо начало бледнеть; отблеск зари заиграл на краях длинной одинокой тучки алыми, лиловыми и золотистыми цветами; с улицы доносились смешанные, оживленные звуки весеннего вечера.

— Ну, прощай, односум, — сказала Наталья, вставая (она говорила студенту сначала "вы", а потом пе-

решла незаметно на "ты"): — извиняй, если надоела. А все-таки еще повижу тебя, порасспрошу кое об чем. Благодарю!

— Не за что — сказал студент. — Я бы и сейчас рассказал побольше, да не припомню: как-то все перепуталось, смешалось... Столько нового перед глазами, оглядеться не успел... Заходи как-нибудь, поговорим. Я буду очень рад.

— Я и других односумок приведу...

— Пожалуйста! Я буду рад.

— Мы все как-то стесняемся тебя, — улыбаясь и показывая свои ровные белые зубы, сказала она: — ты ученый, а мы простые, Бог знает, как заговорить... Либо чем не потрафишь... Ведь мы все спроста...

Но насмешливо-веселый взгляд ее, перед которым ее собеседник чувствовал какую-то странную неловкость, говорил совсем другое.

— А я, может быть, сам больше вашего стесняюсь, — сказал студент, засмеявшись, и сам немного покраснел от своего признания.

— Как хорошо, у нас на родине, право! — прибавил он, смотря в окно, через густую зелень ясеней и кленов, росших в палисаднике, на бледно-голубое небо.

— Хорошо? — переспросила она, — ей, видимо, еще хотелось несколько продлить беседу: — а там, в Петербурге-то, ужели хуже?

— Хуже.

— Хуже? — недоверчиво повторила она, — в городе-то? Там, гляди, нарядов этих? Мамзели, небось, в шляпках?

Он рассмеялся и, встретившись глазами с веселым и наивным взглядом ее красивых, продолговатых глаз, уже смелее и дольше посмотрел на нее.

— Ты к нам на улицу приходи когда в праздник, — сказала она, слегка понижая голос: — песни поиграем... На улице-то развязней, свободней, а тут все как-то стеснительно: то старики твои, то кто посторонний. Приходи!

— Хорошо, приду.

— Ну, прощай! Благодарю за гостинцы, за все!

Она подала ему руку и вышла легкой, щеголеватой походкой. Он проводил ее до крыльца и долго смотрел

ей вслед, любясь ее стройной, высокой, сильной фигурой. Она шла быстро, слегка и в такт ходьбе помахивая одной рукой. Белый платок ее долго мелькал в легком сумраке весеннего вечера и затем скрылся из глаз за одним углом длинной улицы... Станица с своими белыми домиками, с зеленью садилов постепенно окутывалась туманом сумерек. Ласкающая свежесть, смешанная с слабым запахом грушевого цвета и какой-то душистой травы, приятно щекотала лицо и проникала в грудь живительными струями... Слышался близко где-то женский голос и шепот, гурьба ребятишек выбежала вдруг с пронзительным и звонким криком из-за угла, поднимая пыль по мягкой дороге, и, словно по команде, разом села в кружок на самом перекрестке; потом все с дружным криком "ура" снялись с места и опять скрылись за углом, как стая воробьев. Жалобно и часто в соседнем переулке мычал потерявшийся теленок, и звуки его голоса резко будили недвижный воздух. В лавочке пиликали на гармонике.

— Как хорошо! — подумал студент, глядя радостным взором в высокое небо.

II

Наступил Троицын день. Станица загуляла. Яркие, пестрые наряды казачек, белые, красные, голубые фуражки казаков, белые кителя, "тужурки", рубахи самых разнообразных цветов — все это, точно огромный цветник, пестрело по улицам под сверкающим, горячим солнцем, пело, ругалось, орало, смеялось и безостановочно двигалось целый день — до вечера. Дома не сиделось, тянуло на улицу, в лес, в зеленую степь, на простор...

Садилось солнце.

Мягкий, нежно-голубой цвет чистого неба ласкал глаз своей прозрачной глубиной. Длинные, сплошные, тени потянулись через всю улицу. Красноватый свет последних, прощальных лучей солнца весело заиграл на крестах церкви и на стороне ее, обращенной к закату. Стекла длинных, переплетенным железом, церковных окон блестели и горели расплавленным золо-

том. В воздухе стоял веселый, непрерывный шум. В разных местах станицы слышались песни, где-то трубаач наигрывал сигналы. С крайней улицы — к степи, — так называемой "русской" (где жили иногородние, носившие общее название "русских"), доносился особенно громкий, дружный, многоголосный гам.

Там шел кулачный бой.

Студент Ермаков, стоявший некоторое время в нерешительности среди улицы, пошел туда.

Эти праздники были традиционным временем кулачных боев. Станица исстари делилась на две части (по течению реки) — "верховую" и "низовую", и обыватели этих частей сходились на благородный турнир почти все, начиная с детишек и кончая стариками.

Толпы ребятишек и девчат обгоняли Ермакова, направляясь поспешно и озабоченно туда же, куда и он шел. Молодые казаки, которые попадались ему, одеты были уже не по-праздничному, а в старых поддевках, подпоясанных кушаками, в чириках, в бумажных перчатках. Очевидно было, что праздничный костюм предусмотрительно переменялся перед сражением на расхожий. Лишь казачки, которые встречались с Ермаковым, были нарядны так же, как и днем.

Шум и говор становились явственнее по мере приближения к "русской" улице. Что-то молодое, удалое и беспечное было в этом шуме, слившемся из детского крика и визга, из девичьего звонкого смеха и песен, из смутного гула разговаривающих и кричащих одновременно голосов. Громкая, веселая или тягучая песня иногда вырывалась из него, точно вспыхивала, и мягко разливалась в чутком воздухе. Иногда взрыв крика дикого, дружного и неистового покрывал вдруг все, и топот, звуки гулких ударов оглашали улицу.

Какое-то странное волнение охватывало Ермакова при этих звуках и, как на охоте, трепетно и часто стучало его сердце.

Повернувши за угол большого сада с старыми высокими грушами и яблонями, уже отцветшими, Ермаков вышел на самую "русскую" улицу и увидел пеструю многолюдную толпу, в которой одни кричали или пели, други бегали и дрались, третьи смеялись, шептались... Трудно было сразу в этой шумной тесноте определить, куда идти, что смотреть, кого слушать.

С краю, в самых безопасных местах, бегали маленькие ребяташки, гоняясь друг за другом; они пронзительно свистели каким-то особенным посвистом, иногда ныряли в толпу взрослых и исчезали в ней без следа, шмыгая под ногами, толкая с разбегу больших и получая за это шлепки... Несколько стариков в дубленых тулупах, накинутых на плечи, сидели на бревнах и на завалинках и разговаривали, с невозмутимым равнодушием поглядывая на двигавшуюся перед ними молодежь. Ермаков, проходя мимо них, слышал, как один старик говорил внушительно, с расстановкой, дребезжащим голосом, точно сердился на кого:

— То ты теперь-то свинку или баранчика зарежешь да поешь мяса, а как железная-то дорога пройдет, так все туда перетаскаешь, и все-таки ничего не будет... Голодный будешь сидеть!

Ермаков прошел сначала туда, где было всего шумнее и оживленнее: в самом центре улицы дрались молодые казачата — одна партия на другую, "верховые" на "низовых". Здесь публика была самая многолюдная.

— Ну, ну, ребята! Смелей, смелей! Та-ак, так, так, та-ак! Так, так! Бей, бей, бей! Бе-е-ей, ребяташки, бей! — слышались голоса взрослых, бородатых казаков, за которыми малолетних бойцов почти не было видно. Лишь пыль подымалась над ними столбом и долго стояла в воздухе.

Старый, огромный казак, по имени Трофимыч, в накинутой дубленой шубе, в смятой фуражке, выцветшей и промасленной, похожей на блин, усердствовал больше всех, словно честь его зависела от успеха или неуспеха его партии. Он руководил "низовыми", которые довольно-таки часто подавались назад под натиском "верховых".

— Стой, стой, ребята! Не бегай! — кричал он на всю улицу своим оглушительным голосом, размахивая руками, пригибаясь вперед и припрыгивая, точно собираясь лететь, — когда "низовые", не выдержав неприятельского натиска, обращались в дружное бегство.

— Стой! Стой! Куда вы, собачьи дети? Не бежи! Ку-ку-да?!

Но "низовые", несмотря на его неистовые крики, несмотря на изумительно-усердные одобрения и поощ-

рения других зрителей, бежали, падали, садились, повергая в глубокое отчаяние своего старого руководителя.

— Ах, вы, поганцы, поганцы! — с отчаянием в голосе кричал старик, — ах, вы, дьяволы паршивые, а! Хрипка, в рот тебя убить! — с ожесточением хлопнувши фуражку об землю, обращался старик к одному из бойцов, плотному шестнадцатилетнему казачонку с обветренным лицом, одетому в старый отцовский китель: — кидайся прямо! Не робей! Смело! В морду прямо бей! Ну, ну, ну, ну! Дружней, дружней, дружней! Вот, вот, вот, вот! Бей, наша! Бе-ей, бей, бей, бей!.. А-та, та-та-а!..

Хрипка, после минутного колебания, кидался с видом отчаянной решимости и самоотвержения в самый центр заседавших неприятелей. Шапка тотчас же слетала у него с головы далеко в сторону, но и противоборец его немедленно распростирался во прах. Пример Хрипки заражал всех его товарищей — "низовых", и вдруг, точно хлынувший внезапно дождь, они стремительно кидались на своих временных врагов с озлобленными и отчаянными лицами, били их по "мордам", по "бокам", "по чем попало", сами получали удары, падали, опять вскакивали, кричали и ругались, как взрослые, громко и крепко и, наконец, после отчаянных усилий, достигали того, что неприятель показывал тыл.

Но и со стороны "верховых" не дремали поощрители и руководители. Точно так же и там, окружив малышей плотной, непроницаемой стеной, за которую нельзя было выбиться, бородачи-старики кричали, толкали их насильно вперед, исподтишка помогали им, подставляя ноги "низовым", заседавшим особенно рьяно. И свалка росла. Было шумно, весело, пыльно... Маленькие бойцы кружились, прыгали, бегали с захватывающе дух быстротою и, казалось, не чувствовали усталости.

Ермаков остановился около хоровода, у плетня, и стал слушать песни. Густая толпа молодых казачек и казаков столпились вокруг самого хоровода. Через головы чуть лишь видны были платки и фуражки певцов и певцов.

Хороводная песня была тягучая и несколько тоск-

ливая. Но и в самой грусти ее, в ее переливах, с особым щегольством и разнообразием исполняемых подголоском, слышалось что-то молодое, зовущее, манящее, — слышалось красивое чувство, которое требовало себе широкой, вольной жизни, беспечной радости и веселья.

Уж ты батюшка-свет, светел месяц!
Просвети ты, месяц, нам всю ноченьку!
Поиграем мы со ребятами,
С молодыми все да с хорошими...

Сначала Ермакову казалось несколько неловким стоять одному, он думал, что все на него смотрят. Но мимо него проходили толпы девчат и казачат, не обращая на него ни малейшего внимания. Его бесцеремонно толкали, изредка кто-нибудь мельком взглядывал на него и, не узнавая в сумеречном свете, проходил мимо. Лишь одна бойкая, любопытная девочка с большими глазами, заглянув ему близко в лицо и остановившись на минуту как раз против него, с очевидным недоумением вслух сказала:

— То ли атаманец, то ли юнкарь какой?..

Ермаков был в белом кителе и летней студенческой фуражке.

Он улыбнулся и погрозил ей пальцем, и она убежала, но скоро потом опять прошла мимо него с своей подругой, упорно и любопытством всматриваясь в его лицо. Вдруг им обоим стало чрезвычайно весело: они разом фыркнули от смеха и убежали прочь, потонувши в многолюдной толпе.

Стемнело совсем. Стали драться взрослые казаки. Хоровод разошелся, и вся почти улица отошла под арену борьбы. Ермаков очутился как-то неприметно в густой толпе; его толкали, теснили, наступали ему на ноги; он сам толкал, пробираясь поближе к месту сражения, и с удовольствием чувствовал себя равноправным членом этой улицы.

— Односум, никак, ты? — раздался около него знакомый голос.

Он оглянулся и увидел свою односумку Наталью; она была в черной короткой кофточке из "нанбоку" и

в новом шелковом, бледно-голубом платке, подарке мужа. В сумерках, в этой молодой толпе, лицо ее, казавшееся бледным в темноте, опять сразу поразило его своей новой и странной красотой.

— А! — воскликнул радостно Ермаков, протягивая ей руку.

— Мое почтенье, — проговорила Наталья, подойдя к нему почти вплоть и потом толкнувшись об него, притиснутая двигавшеюся толпой, причем Ермаков почувствовал запах простых духов: — на улицу нашу пришли посмотреть?

— Да.

— Ну, а в Питере-то у вас бывают улицы такие? Или ты не ходишь там?

Она говорила ему то "ты", то "вы".

— Нет, ходил, — отвечал Ермаков, — бывают и там "улицы", только не такие.

— Что же, лучше, али хуже?

— По-моему — хуже.

— Ну?! — с искренним удивлением воскликнула Наталья! — Народу-то, небось, там больше? Бабы, девки нарядные, небось?

— Народу больше, а веселья настоящего нет...

— А у нас вот весело! И не шла бы домой с улицы... я люблю это!

Улыбающиеся глаза ее близко светились перед Ермаковым и приводили его в невольное, легкое смущение.

— Ну, а как же, односум, например, мадамы там разные? — продолжала она расспрашивать снова, отвлекшись лишь на минутку в сторону кулачного боя.

— Есть и мадамы... — ответил он, не совсем понимая ее вопрос.

— Небось, нарядные? В шляпках, под зонтиками?

— Непременно...

— К такой, небось, и подойти-то страшно? Смелости не хватит сказать: "позвольте, мол, мадам фу-фу, познакомиться"... Как это мой муж там с ними орудует, любопытно бы взглянуть!.. А он на это слаб...

Они оба рассмеялись.

Немного погодя, она рассказывала уже Ермакову о нескольких случаях неверности своего мужа — откоро-

венно, просто, весело... Толпа колыхалась, толкала их. Иногда Наталья была к нему близко-близко, почти прижималась; он чувствовал теплоту ее тела, запах ее духов и с удовольствием прикоснулся к шелковистогладкой поверхности ее кофточки. Ему казалось, что какая-то невольная близость возникает и растет между ними; в груди у него загоралось пока безымянное, неясное и радостное, молодое чувство: кровь закипала; трепетно и часто билось сердце...

III

— Все на всех! — слышались вызывающие крики "верховых" и "низовых" одновременно.

— Зачина-аты! — вышедши на средину улицы между плотными стенами бойцов, закричал молодой казачонок в голубой фуражке, по фамилии Озерков, один из бойцов будущего, подающий пока большие надежды.

Он громко хлопнул ладонями, расставил широко ноги, ставши боком к неприятелям, и крикнул опять:

— Зачина-а-аты! Дай бойца!

Вся небольшая, стройная фигурка его была воплощением удали, ловкости и проворства.

Из верховых выступил вперед неторопливо и несколько неуклюже молодой казак с кудрявой бородой и крикнул хрипловатым голосом.

— Давай!

— Ну-ка, Левон, давни! — слышались вслед ему поощрительные крики. Левон, — малый плотный, широкоплечий и сутуловатый, — тоже расставил широко ноги и принял вызывающе-воинственный вид.

Озерков в два прыжка очутился около него, изогнулся вдруг почти до земли, крикнул, гикнул, что было мочи, и ударил Леона в грудь. В то же время Леон тяжело взмахнул кулаком и зацепил по плечу своего противника, но не совсем удачно — вскользь и слабо, потому что Озерков быстро и легко, как резиновый мяч, успел отпрыгнуть назад. Леон погнался было за ним с легкостью, несколько неожиданной для него, в сопровождении еще двух-трех бойцов, но в это время из "низовых" вдруг выскочил высокий, безусый казак

в атаманской фуражке, статный красавец, — и одним ударом "смыл" разбежавшегося Леона, точно он и на ногах не стоял. Громкий крик обеих сторон приветствовал этот удар, а красавец-боец выпрыгнул на середину, к самой линии верховых, громко хлопнул в ладоши и крикнул:

— Ну-ка, пошел!

Ермаков, стоя в толпе рядом с своей односумкой, не успел еще полюбоваться на его статную, красивую фигуру, как огромный казак из "верховых", Ефим Бугор, стремительно и быстро, с развивающейся широкой бородой, с гиком выскочил вперед и сшиб молодого атаманца. Это было сделано быстро, почти неожиданно. Молодой боец чуть было не опрокинулся навзничь, почти присел, сделавши назад несколько произвольных, быстрых шагов, но удержался и кинулся вперед с крепким ругательством. Бугор скоро его подмял под себя и почти беспрепятственно ворвался в центр неприятелей, а за ним стремительной лавой и другие "верховые" бойцы. Несколько минут раздавались среди неистового шума и крика глухие, частые удары, затем "низовые" дрогнули и побежали. Это было не беспорядочное бегство, а правильное, хотя и очень быстрое, отступление. Иногда они останавливались стеной на несколько секунд и выдерживали атаки нападающих. Бугор прыгал, как лев — с развевающейся гривой, с громким, торжествующим, удалым криком.

— Нефед! Кинься, пожалуйста! Станы! Ей Богу, станы! — убедительно просил приземистый рыжий казак из "низовых" рябого огромного казака, стоявшего у плетня, недалеко от Ермакова, в толпе женщин.

— Нефедка! Ты чего же глядишь? — подошедши к нему, быстро заговорил старик Трофимыч, которого видел Ермаков в качестве руководителя ребятшек.

— А ну-ка ушибут? — пробасил глухо Нефед, видимо взволнованный: — их вон какая сила!

— У нас есть кому поддержать! — торопливо и ободряющим тоном говорил Трофимыч, понижая голос до шепота: — там вон за углом стоят Семен Мишаткин, Лазарь, Фоломка... Поддержат, брат!

— Да кабы поддержали, — нерешительно говорил Нефед, снимая свою форменную теплушку.

— Эх, подлеца Бугра надо бы ссадить — огорчен-

ным голосом повторял рыжий казак: — ты против него маецию поддержи, а энтих-то молодые наши казаки сшибут, не то что... Ну скорей!

— Ох, ушибут они нас! Чует мое сердце — ушибут! — колебался еще Нефед, передавая свою теплушку и фуражку на хранение какой-то казачке и оставшись в одной рубахе.

Трофимыч молча сбросил свой тулуп и фуражку, обнажив свою лысую голову, и они все трое, пригнувшись под плетнем, проворно пошли к "низовым", которых угнали уже довольно далеко.

Через несколько минут до Ермакова донесся новый взрыв неистового крика, и вдруг стук, гам, звуки ударов, которые до этого удалялись, стали быстро приближаться к нему. Вскоре показались быстро несущиеся толпы ребятишек и тех из взрослых, которые не принимали деятельного участия в битве и лишь бегали да кричали. Непосредственно за ними, в облаках пыли, пронеслись самые бойцы — "верховые", а за ними "низовые". Огромный Ефим Бугор быстрее ветра несся в самом центре, но его настигали и били сзади. Ермаков заметил особенно того молодого казака, которого в начале схватки сшиб Бугор: он положительно наседа на Бугра, убежавшего без оглядки и словно не чувствовавшего ударов. Раз только Бугор попробовал остановиться, гикнул, сцепился с кем-то, но его тотчас же схватили человек шесть, и гулкие удары по его спине и бокам огласили улицу. Несколько "верховых" бойцов кинулись ему на выручку, но сила была на стороне "низовых": массой нахлынули они на эту горсть и погнались дальше. Бугор все-таки успел вырваться. Длинные волосы его развевались по ветру, как львиная грива, и вся фигура его, огромная, стройная, красивая своей силой, напоминала царственное животное.

На следующем перекрестке "низовые" остановили свое преследование и стали отступать. После неистового крика оживленный, торопливый говор поражал сравнительной тишиной. Усталые бойцы, тяжело дыша, без фуражек, некоторые с засученными рукавами и разорванными рубахами шли назад, делясь друг с другом впечатлениями. Хвалили большею частью противников или товарищей по бою, о себе лично никто не упоминал: это было не принято и считалось признаком дурного тона...

— Ну, дядя Трофимыч, благодарю! Ты меня выручил, — говорил рыжий казак старику Трофимычу, который был уже опять в своем дубленом тулупе: — кабы не ты, ну наклали бы они мне по первое число!

— И ты Бугра славно огрел... у, хорошо! — одобрительно воскликнул Трофимыч.

— Ну да и он, проклятый, цапнул меня вот в это место! Как, все равно, колобашка какая сидит тут теперь...

— Я бегу и думаю: ну, пропал! — торопливо и громко говорил молодой атаманец в разорванной рубахе, озлобленный противник Бугра: — глядь, Нефедушка наш... Стой, наша!

С полчаса шли оживленные разговоры. Казачата выступали опять далеко за линию и вызывали бойцов от "верховых".

— Зачинаты! — неся громкий вызов с одной стороны.

— Зачинаты! — отвечали с другой.

Несколько раз так перекликались, но близко друг к другу не подходили; видно было, что у уставших бойцов пропала охота продолжать сражение. И поздно уже было.

— По домам! — крикнул кто-то в лагере "низовых".

— По домам! — подхватили звонко ребятишки, пронзительно свистя, визжа и крича.

— "Как я шел-прошел из неволюшки", — начал чистый, звонкий баритон в толпе казаков.

"С чужедальной я со сторонушки", — подхватили один за другим несколько голосов, и песня помаленьку занялась, полилась и заполняла воздух. Зазвенели женские голоса. Ребятишки продолжали свистеть, гикать, кричать, но их крик не нарушал гармонии громкой песни и тонул в ней слабым диссонансом.

Толпа колыхнулась и тихо двинулась за песенниками, разговаривая, смеясь и толкаясь. Смешавшись с этой толпой, пошел и Ермаков вместе с своей односумкой. Кругом него молодые казаки бесцеремонно заигрывали с казачками: обнимались, шептались с ними, толкались, иногда схвативши поперек и поднявши на руках, делали вид, что хотят унести их из толпы; казачки отбивались, визжали, громко били ладонями по

широким спинам своих кавалеров и все-таки, видимо, ничего не имели против их слишком вольных любезностей. Раза два тот самый молодой атаманец, которым Ермаков любовался во время кулачного боя, проходя мимо, дернул за руку и его односумку. — "Да ну тебя! Холера!" — вырывая руку, оба раза со смехом крикнула ему Наталья. Ермакову стало вдруг грустно в этой шумной, веселой, беззаботной толпе... Он почувствовал себя здесь чужим, неумелым и ненужным... Он с завистью смотрел на казаков, на их непринужденное, вольное, грубоватое обращение с этими молодыми, красивыми женщинами, близость которых возбуждала в нем самом смутное и сладкое волнение... Он чувствовал постоянное прикосновение плеча своей односумки, запах ее духов, шелест платья, с удовольствием слушал ее голос, мягкий и тихий, несколько таинственный, словно она старалась сказать что-нибудь по секрету. И неясный трепет замиранья проникал иногда в его сердце... Но в это время он ясно сознавал, что не мог бы, при всем своем желании, делать, как они, эта окружающая его молодежь, что он был бы смешон и неуклюж, решившись на такое свободное, непринужденное обращение... Он не знал даже, о чем теперь заговорить с своей односумкой, и молчал. Изредка Наталья быстро взглядывала на него вбок, и ему казалось, что взгляд ее блестел насмешливой, вызывающей веселостью.

— Завидую я тебе, односум! — говорила она.

— Почему? — спросил Ермаков.

— Да так! Свободный ты человек: куда захочешь — пойдешь, запрету нет, своя воля...

— Некуда идти-то, — сказал он, слегка вздохнув и, немного помолчав, прибавил:

— А я тебе, наоборот, завидую...

— Да в чем?

— А в том, что ты вот здесь не чужая, своя, а я как иностранец... Я родину потерял! — с глубокой грустью вдруг прибавил он.

— Ну, не горюй! — не совсем понимая его, но чувствуя, сказала она: — поживешь, обвыкнешь, всем станешь свой, родненький...

И затем, наклонившись к нему близко-близко и шаловливо-ласково заглядывая ему в глаза, тихонько прибавила:

— Небось такую сударку подцепишь...

У него на мгновение захватило дух от этой неожиданной, смелой близости; сердце громко и часто забилося, знойно вспыхнула кровь... Он едва удержался, чтобы не обнять ее, а она засмеялась тихим, неслышным смехом и отвернулась.

— Однако дом ваш вот, — продолжала она уже обыкновенным своим голосом: — а мне вон в эту сторону надо идти. Жалко улицу бросать, а нечего делать... Прощай! И так знаю, что свекровь будет ругать: злая да ненавистная!

Ермаков пожал ее протянутую руку и, после сильного колебания, тихо и смущенно спросил:

— Разве уж проводить?..

Голос его стал вдруг неровен и почти замирал от волнения.

— Нет, не надо, — шепотом отвечала Наталья, и он этого шепота его вдруг охватила нервная дрожь.

— Боюсь... — продолжала она, пристально глядя на него: — народ тут у нас такой хитрый... узнают!..

Но блестящий, вызывающий взгляд ее глаз смеялся и неотразимо манил к себе.

— Если бы я свободная была, — с красивой грустью прибавила она и вздохнула. Потом лукаво улыбнулась, видя, что он упорно, хотя и робко, смотрит на нее исподлобья влюбленными глазами, и тихо прибавила, не глядя на него:

— После, может быть, как-нибудь поговорим... А теперь прощай!..

И она побежала легкой и быстрой побегкой вслед за небольшой толпой, которая отделилась и пошла переулком на другую улицу. Ермаков видел, как она на бегу поправила свой платок и скоро смешалась с толпой, из которой слышался громкий говор и смех.

Он остался один среди улицы.

Неясные чувства, как волны, охватили его и погрузили в свою туманную глубь. Что-то радостное и грустное вместе, неясное, неопределенное, смутное, но молодое и светлое, занималось у него в груди... Он улыбался, глядя в небо, усеянное звездами, и хотел плакать, сам не зная о чем...

Станица уже спала. Тишину ее нарушали лишь удалявшиеся звуки песни и говора толпы. Песня, до-

носившаяся издали, казалась задумчивее и стройнее; звуки смягчались в нежном, молодом воздухе весны, расплывались кругом и тихо замирали в неизвестной дали.

Ермаков вслушивался в песню, различал отдельные голоса и переносился мыслью туда, к этим певцам, в тесно сбившуюся толпу с ее беззаботным смехом, говором, толкотней, свистом и возбуждающим шепотом. Он искренно завидовал им... И грустно ему было, что он стал чужд им всем и стоит теперь одиноко, глядя в глубокий, неясный сумрак звездного неба...

Но эта грусть была легка и сладостна... Смутная надежда на какое-то грядущее, неведомое счастье подымалось в его груди; чей-то красивый, очаровательный образ мелькал в воображении и манил к себе; в таинственной, душистой мгле ночи чей-то робкий шепот слышался ему...

Он долго стоял, размягченный, задумчивый, глядя на роящиеся и мерцающие в бездонной глубине неба звезды, думая об этом небе и о своей жизни, о туманном, далеком городе, об односумке и о родине...

IV

Время шло. Неторопливо убежал день за днем, и незаметно прошел целый месяц. Ермаков помаленьку весь погрузился в станичную жизнь с ее заботами, радостями и горем. Он приобрел значительную популярность среди своих станичников "по юридической части", — как мастер писать прошения и давать советы. Клиентов у него было очень много. С иными он не отказывался "разделить время" за бутылкой вина, умел послушать откровенные излияния подвыпившего собеседника, который принимался пространно рассказывать ему о своих семейных невзгодах; любил старинные казацкие песни, нередко и сам подтягивал в пьяной, разгулявшейся компании; аккуратно бывал на всех станичных сборах, в станичном суде и в станичном правлении (отец его был атаманом). И внешний вид стал у него совсем почти казацкий: волосы обстриг в кружок, фуражку надевал набекрень, носил короткий китель, широкие шаровары и высокие сапоги: в

довершение всего — загорел "как арап". Много стариков и молодых казаков стали ему большими приятелями и нередко даже твердили ему: "Желательно бы нам поглядеть вас в аполетах". К немалому своему удивлению и удовольствию, Ермаков чувствовал теперь себя в станице почти своим человеком и искренне радовался этому.

Поделили луга; наступил покос; кончились веселые игры — "веснянки". Свою односумку Наталью Ермаков мог видеть лишь изредка, больше по праздникам. Короткие, почти мимолетные встречи, веселые, свободные и фамильярные разговоры мимоходом, с недомолвками или неясными намеками, имели в глазах его необыкновенную привлекательность и сделали свое дело: он, как влюбленный, почти постоянно стал думать и мечтать о своей односумке. Красивая, стройная фигура ее, против его воли, часто всплывала перед его мысленным взором и манила к себе своей неведомой ему, оригинальной, очаровательной прелестью... И сладкая грусть, смутное, тревожное ожидание чего-то неизвестного, но заманчивого и увлекательного, томили его по временам, в часы одиночества и бездействия.

Как-то в будни он зашел от скуки в станичное правление. Безлюдно и тихо было там (летом, в рабочее время, дела сосредоточиваются исключительно по праздникам). В "судейской" комнате, на длинных скамьях, в углу, спал старик Семеныч, соединявший летом в своей особе и полицеского, и огневщика, и старосту, т.е. старшего сторожа правления, в заведывании которого находились: архив, лампы, углерод для истребления сусликов и прочий инвентарь. В канцелярии атамана дремал у денежного сундука часовой. Из комнаты писарей доносился тихий, ленивый говор.

— Она была родом из прусских полячек, — слышался голос: — хорошая девчонка была, беленькая, нежная, ласковая такая... Что ж ты думаешь? ведь я чуть на ней не женился!.. Люцией звали...

Ермаков по голосу узнал рассказчика, военного писаря Антона Курносова, и вошел в "писарскую" комнату. В ней находилось только два лица: военный писарь Курносов и "гражданский" писарь Артем Сыроватый, бывший когда-то товарищем Ермакова по гимназии, но "убоявшийся бездны премудрости". Это были

люди молодые, веселые, не дураки выпить и любители прекрасного пола, хотя были оба женаты и имели уже детей.

Ермаков поздоровался с ними и присел к столу, взявши последний номер местной газеты.

— О чем вы рассказывали? — спросил он у Курносова, видя, что тот не решается продолжать прерванный разговор.

— Да про девчонку про одну, — ухмыляясь ответил Курносов и, несколько смутившись, устремил вдруг внимательный взор на одни из списков, лежавших перед ним на столе.

— Как он в Польше проникал на счет бабьего полу, — прибавил Артем Сыроватый, крутя папиросу: — заразительный человек насчет любви — этот Антон!

— Ну и ты, брат, тоже... теплый малый, — возразил не без самодовольства "заразительный человек".

— Я-то ничего! Я помаду да монпасе не покупаю...

— Бреши, брат, больше! Все равно заборы осаживаешь...

Артем Сыроватый залился вдруг хрипящим смехом и закурил головой. Курносов обиделся и, низко наклонившись, начал усердно выводить фамилии в арматурных списках.

Приятели часто пикировались друг с другом — от скуки, но это не нарушало их добрых отношений.

Наступила пауза. Было слышно только, как мухи с однообразным жужжанием бились на окне. Сквозь дыру трехцветного национального флага, которым было завешено окно, бил горячий сноп солнечных лучей и ярким пятном играл на пыльном, темном полу. Было томительно и скучно.

— Что новенького у вас? — спросил Ермаков, прерывая молчание.

— Новенького? — подхватил Сыроватый, по лицу которого было видно, что он готов опять прыснуть со смеху: — новенького ждем, пока все старое... Впрочем есть: говорят, одной жалмерке ворота вымазали дегтем!

— Какой же?

— Нечаевой Наталье... Хорошая жалмерка!

Ермаков вдруг смутился, сам не зная от чего, и погрузился на некоторое время в газету. Образ его краса-

вицы-односумки, такой гордой и, как ему казалось, недосыгаемой, и вдруг ворота, вымазанные дегтем, — это так не мирилось одно с другим в его душе, так было неожиданно, странно и маловероятно, что он не знал, что подумать...

— Деготь, конечно, материал дешевый, — продолжал Сыроватый, принимая вдруг рассудительный и серьезный тон: — лей, сколько влезет. Только поганый этот обычай у нас, считаю я: как побранились бабы между собой или заметили за какой провинку, сейчас ворота мазать... А напрасно!

— Да, народ ныне скандальный стал, — прибавил Курносов, отрываясь от своих списков, — ну однако...

— Нет, в самом деле! — возразил Сыроватый: — разве Наталья роскошной жизни баба?

— А ты думаешь, она за все три года так и держится?

Сыроватый пристально посмотрел на своего приятеля сбоку и, поколебленный его полным убеждения тоном, спросил недоверчиво:

— На кого же говорят?

— На кого — это вопрос особый... Спроси вон атаманца Стрелкова, — на часах вон он стоит.

— Неужели он? — понижая голос до шепота и широко раскрывая глаза и рот от удивления, спросил Сыроватый.

Курносов, вместо ответа, громко крикнул:

— Стрелков!

— Чего изволите, господа писари? — отозвался ленивый голос из атаманской канцелярии.

— Шагай сюда!

— Чего изволите? — остановившись в дверях, сказал Стрелков.

Ермаков с особенным вниманием осмотрел его молодецкую фигуру. Загорелое, смуглое лицо казака с тонкими красивыми чертами, с черными наивными глазами глядело открыто и добродушно; сдвинутая на затылок голубая фуражка, из-под которой выбивались кудрявые, густые волосы, придавали ему оттенок беспечности, лени и вместе самой горячей удалости. Неуклюже сшитая, широкая гимнастическая рубаша из грубой парусины, перехваченная черным ремнем, не портила его стройной фигуры с высокою грудью и лежала

красивыми складками. Ермаков вспомнил, что он любовался этим атаманцем в кулачном бою — на Троицын день.

— Стрелков, говори как на духу, — начал Антон Курносов, изображая собою некоторым образом начальство: — кто у Натальи Нечаевой ворота мазал?

Стрелков удивленно поднял брови, потом широко улыбнулся, показав свои ровные, белые зубы, и весело ответил:

— Не могу знать!

— Брешешь!

— Никак нет, не брешу...

— Побожись детьми!

— Хоть под присягу сейчас, истинное слово — не знаю!

— Да ведь ты к ней ходил?

— Никак нет... Это вы напрасно!

— Толкуй!

— Ей Богу, напрасно! Говорить все можно, а грешить нельзя... Я бы запираяться не стал, ежели бы что было. Чего не было, то не было, и похвалиться нечем...

— А помнишь, на Егория-то мы с тобой шли?

Стрелков несколько смутился.

— Ну что же такое? — обращаясь больше к Ермакову и Сыроватому, начал он оправдываться: — по пьяному делу... Шли мы, действительно, с ним ночью, и вздумалось мне шибнуть комком земли к ним на двор (она иной раз на дворе спит, в арбе). Ну и шибнул... Попал — точно — в арбу, да только в ту пору не она там спала-то, а свекор ее с своей старухой. Как шумнет! Ну мы с Антоном Тимофеевичем тут, действительно, летели!.. Где — на лошади, машина бы и то, думаю, не догнала!

— А смелый малый этот Антон! — сказал Сыроватый, искоса поглядывая на своего коллегу. "Смелый малый" лишь сердито повел носом в сторону остряка, но ничего не возразил.

— Крутиться-то я крутился около нее, — продолжал неторопливо Стрелков, помолчавши с минуту; — это греха нечего таить... да не выходило дело!

— А славная бабенка! — с восхищенным видом тонкого знатока отозвался Сыроватый.

— Баба, действительно, куда! — согласился Стрелков: — у нас супротив нее немного найдется..

— Да неужели же она за все три года так-таки и держалась? Ни в жизнь не поверю! — воскликнул Антон Курносоев голосом, полным глубочайшего сомнения и недоверия.

Стрелков пожал плечами. Не отвергая законности сомнения, он однако сказал тоном защиты:

— Не могу знать! Только народ-то у нас какой? Язычник! Ежели кого не оговорит, не они и будут! Брешут, как собаки! Есть охотники такие: мужу написали про нее разные неподобные, а он оттоль письмами ее бандирует. В семье через это расстройство... Тут свекровь донимает: такая поганая старушонка, что беда!..

Из судейской комнаты донеслись звуки шагов. Стрелков вдруг быстро повернулся, проворно поправил шашку и отбежал на свое место, к денежному сундуку. Писари принялись старательно за свои списки. Водворилась полная тишина. Вошел атаман в свою канцелярию и, погромевши многочисленными ключами, бывшими у него в кармане, отпер шкафы. Ермакову из комнаты писарей слышно было, как он перекидывался короткими фразами с Стрелковым.

— Ну что, братец, как дела? — спрашивал атаман.

— Ничего, вашбродь! — бойко, по-военному, отвечал Стрелков.

— Жарко?

— Так точно, вашбродь!

— Ты обедал?

— Никак нет, вашбродь! Ишшо рано...

Ермаков ушел домой. Не весело ему было. Горькие сомнения, против его воли, заползли и в его душу, и потускнел в его воображении очаровательный образ красивой односумки... Мелкое, ревнивое чувство досады внушало ему разные дурные мысли о Наталье. Он испустил даже вздох сожаления об ее "обманутом" муже... Но потом, слегка успокоившись и беспристрастно взвесив все обстоятельства, он и над самим собой горьким смехом посмеялся...

V

— А я с горем к тебе, односум...

С такими словами обратилась к Ермакову Наталья, спустя недели три после разговора, слышанного им в станичном правлении.

Был праздничный, жаркий, скучный день. Стояла самая горячая рабочая пора. Станица опустела, почти все население ее перекочевало в степь, в поля. Безлюдно и тихо было на улицах. На загорелых, потемневших лицах редких прохожих лежало глубокое утомление. Скучно... Изредка лишь пьяный мужичок, поставивший весь свой заработок ребром, для развлечения малочисленной праздной публики проковыляет по улице, рассуждая руками и гаркая по временам отрывки какой-то непонятной песни. Промчится верхом казак "с бумагами"; чиновник проедет на тройке с колокольчиками. И затем все снова погружается в тишину и вялый сон... Зной недвижно висит над истомленной землей; синее, яркое небо играет своею глубокой лазурью... И тишина мертвая кругом...

— С каким же горем? — спросил Ермаков у своей односумки, когда она села около него на крыльце, закрытом тенью ясеня и дикого винограда.

Он за все это время ни разу не встречал Наталью, и резкая перемена в ней бросилась ему в глаза. На лице ее, загоревшем и слегка осунувшемся, обозначилась какая-то горькая складка глубокой грусти и сердечной боли. Усталое выражение какого-то тупого равнодушия и полного безучастия ко всему сменило прежнюю веселую, задорную живость и насмешливую кокетливость...

— Вот на-ко, почитай, — доставши из кармана сложенные втрое несколько листов почтовой бумаги, тихо, почти шепотом, сказала она.

— От мужа? — спросил Ермаков.

— Да читай, там увидишь, — с нервным нетерпением проговорила она: — от кого же, как не от мужа? Не от друга же!..

Он искося, быстро взглянул на нее и встретил ее почти враждебный взгляд из-под сердито нахмурившихся бровей.

— Прочитаем, — неторопливо и с комической важностью произнес он, развертывая листки, исписанные крупным и довольно красивым почерком.

”Дорогие мои родители, батюня Никита Степанович, а равно мамуня Марина Петровна! — начал Ермаков вполголоса и с расстановкой: — С получением от вас приятного письмаца, которое было пущено 5-го июня и из которого я увидел ваше полное здравие и благополучие, — я благодарю Господа за сохранение вашей жизни и, припадая к стопам ног ваших, прошу я на себя вашего родительского прощения и благословения, которое будет существовать по гроб моей жизни во веки нерушимо. Я, по милости Господа Бога, нахожусь жив и совершенно здоров и во всем благополучен. Затем, милые родители, примите от меня по низкому и по усердному поклону. Премного милой сестрице Ольгуне низкий поклон посылаю и заочно целую 1000 раз. Безумной моей супруге — огонь неутолимый! Слышу я, дорогие мои родители, дурные вести об ней, доходят до меня письма, от которых стыдно мне глядеть на белый свет, и товарищи надо мной смеются. Как я уже ей писал раз несколько и ничего не действует, то теперь вам напишу про свое неудовольствие, хотите — обижайтесь, хотите — нет, и прошу вас, дорогие родители, прочитать со вниманием главу 8-ю”...

Дальше крупно и отчетливо выведено было: *”Глава 8-я”*.

— Почему же осьмая? А где предыдущие семь глав? — спросил, остановившись на минутку, Ермаков, но, не получив ответа и сам не придя ни к каким удовлетворительным результатам, приступил к чтению *”осьмой главы”*.

”Дорогие мои родители, батюня и мамуня!” — так начиналась *”осьмая глава”*: — *”Рос у вас в саду молодой купырик, на который сердце ваше радовалось; через несколько лет понравился вам в чужом саду другой купырик, и вы купили его, так как рассчитывали, что он будет приносить вам плоды... но прошло еще несколько лет, и родной ваш купырик, с которого вы надеялись снимать плоды, невольно у вас отобрали — самый источник вашей жизни... И не хотелось вам отдавать его этому садовнику, — в чужую сторону, на царскую службу, — но он брал не на долгое время,*

только на три года с лишним; когда у вас брали нашу дорогую садовинку, горько было вам отдавать ее, но делать нечего, так что сердца ваши обливались кровью... И взяли ту садовинку невольно и посадили в глушь старых деревьев; когда была она у вас, то расцветала, но теперь не только не расцветает, но едва листья пускает... А то деревцо купленное, которое у вас осталось, то вы за ней ухаживаете, и она у вас расцветает, но плода очень мало приносит, потому что соседи снимают... Не надо бы так хорошо за тем деревом ухаживать, простору ему давать, а надо бы пересадить его в глушь старых деревьев, чтобы оно не могло расцветать. Это я виню садовников, то есть вас, а то собственно через это дерево и скорбит то дерево, которое отобрали у вас. А собственно, почему? Потому что, когда вырывали отобранное дерево, то коренья остались там, и оно из них вытягивает сок; и еще летят листья, так что падают — который на голову, который — на сердце, который — на глаза; который падает на голову, то голова болит, который — на сердце, то сердце ноет, который — на глаза, то не вижу света белого! Так, прошу вас сделать иначе: пересадить ее в глушь старых деревьев, чтобы они заглушили ее, потому что для вас будет легче и для этого дерева: сейчас оно на хорошем месте и хорошо расцветает, а когда назад отдадут ваше дерево занужденное, и вы посадите возле этого дерева, то тогда я сделаю так, что совсем оно может засохнуть и не будет приносить вам плода... Цвети, цвет, пока морозу нет, но мороз придет — и цвет опадет! Подлинно расписываюсь казак Петр Нечаев”.

Прочитавши письмо, Ермаков не знал, что сказать. Наталья не глядела на него, но он чувствовал, что она ждет услышать от него что-нибудь по поводу прочитанного: за этим она и пришла, конечно... Он медленно сложил письмо так, как оно было раньше сложено, старательно разгладил смятые листки на коленке, вздохнул и сочувственно произнес:

— Да-а...

Потом, сообразивши, что такое выражение сочувствия не особенно ценно, он смутился и торопливо спросил:

— Давно прислал?

— Да с неделю будет, — заговорила Наталья каким-то сдавленным голосом: — отец прочел и положил в святцы. Спрашиваю: чего пишет? — а он мне: поди ты к черту, такая-сякая! И все это время прятал святцы в сундук, да уж нынче как-то забыл на столе. Я вынула и прочла. Назад не положила, все одно — отвечать.

Она нахмурилась, отвернулась, сморщила глаза, как будто от яркого света, но непослушные, с трудом сдерживаемые слезинки чуть заметно заблестели на них.

В усталом, казавшемся равнодушным и спокойным тон ее медленной речи слышалась горькая и безнадежная тоска. Ермаков видел, что она не столько испугана, сколько глубоко оскорблена и озлоблена этим письмом, и ему жалко стало ее. Но он не знал, чем ее успокоить и утешить.

— Опять, вероятно, кто-нибудь написал, — уныло проговорил он после долгого безмолвия.

— Не иначе, — подтвердила она: — да я знаю, кто это старается! Он ко мне подкатывал, рябой дьявол, да я утерла его хорошенько... Вот он теперь, по ненависти, и норовит не тем, так другим допечь...

Она злобно вдруг сжала зубы и правая щека ее нервно задрожала.

— Кабы захотела, одно слово бы сказала — и всему конец! — глухим и осиплым голосом заговорила она: — ну не буду с низкостью с такою связываться... тьфу! Пускай он верит, пускай грозит... небось не загрозит! Дурное видели, хорошее увидим, нет ли — Бог знает, а как чему быть, так и быть! Одной смерти не миновать стать...

Она низко наклонила вперед голову, и долго сдерживаемые, горячие слезы, — слезы горькой обиды и озлобления, вдруг быстро и дружно закапали на ее белый, вышитый передник. Ермаков совсем растерялся и положительно не знал, что делать, что сказать ей в утешение.

— Я напишу ему, чтобы не верил этим пустякам, — начал он, наконец, — меня он послушает, наверно: мы приятели с ним были...

Она ничего на это не сказала, лишь махнула рукой, не поднимая головы.

— А сокрушаться особенно нечего из-за таких пустяков, продолжал он уже бодрее и увереннее: — напишу и — дело в шляпе! Ничего не будет...

— Не надо! Черт с ним, пускай думает... — проговорила она сквозь слезы.

— Зачем же? Ведь ему и самому тоже было бы легче, если бы он уверен был, что все это неправда... Я знаю: он рад будет, когда получит мое письмо...

— Да ты заверишь? — спросила она с загоревшимися вдруг глазами и странным грубым, почти озлобленным голосом.

— Что "заверишь"? — не понимая, спросил Ермаков.

— Ты заверишь, что за мной нет этого... ничего такого?

Он посмотрел на нее удивленными глазами. Когда он понял, что хотела она сказать, сердце его как-то болезненно сжалось. Ему вдруг и досадно на нее стало, и горько, и еще больше жалко ее: очевидно было, что не легкое бремя лежит на ее совести и мучит ее.

— Отчего же не заверить? — сказал он, наконец, спокойно и просто, делая вид, что ничего не понимает.

— Эх, ты, односум! — сказала она, усмехнувшись горькой и снисходительной усмешкой, и потом грустно прибавила: — хорошая совесть у тебя, простая...

Она отерла слезы концом передника и глубоко задумалась.

— Ну, ежели хочешь, пиши, — заговорила она после продолжительного молчания: — а то и брось... Я не затем пришла, чтобы просить об этом, а так... дюже уж горе за сердце взяло! Думаю: пойду хоть поговорю с кем-нибудь, авось полегче станет... Вот к тебе и пришла...

Она остановилась, глядя на него дружелюбно и доверчиво, как ребенок.

— Вот и спасибо, — сказал он весело и с небольшим смущением.

— И-и, милый мой односум, голубчик! — воскликнула она вдруг с страстным порывом, схватив его за руку обеими руками и заплакавши опять: — только не смейся надо мной, а ты мне всех родней стал... Ты меня жалеешь... Журить-бранить есть кому, а пожалеть никто не пожалеет...

Что-то глубоко-трогательное и жалостное было в ее склоненной, плачущей фигуре. Ермаков почувствовал, как громко застучало и заняло сладкой болью его сердце.

— Напишу, напишу, голубушка! — говорил он нежно, отеческим тоном, с любовью глядя на нее: — это все пустое, перемелется мука будет... головы тебе он не снесет — во всяком случае.

— Пускай голову снесет: мне все равно! — проговорила она с отчаянием.

— Ну, нет!

— Я ему виновата, — заговорила она торопливо и сквозь слезы, не поднимая головы, — да он сам причинен всему, он довел... Как начал собирать все эти неподобные да письмами оттуда попрекать, да грозить... А сам-то какой был? Горе взяло меня, сердце закипело! Коль так, и пускай будет так!..

— Все это дело поправимое, — успокоительно проговорил Ермаков, хотя в душе плохо верил своим словам.

— Голову снесет? — продолжала она с увлечением, словно упиваясь своим отчаянием: — пускай! Лучше, не будет измываться надо мной... Сердце истосковалось! Иной раз так заломит, заболит, что тошно на белый свет глядеть... Плачешь, плачешь...

— Напрасно... Наплакаться всегда успеем! "Не горюй, не тоскуй, моя раздушечка"... Знаешь песню-то? — стараясь быть развязным, утешал ее Ермаков.

— То песня, — с грустной улыбкой промолвила Наталья, — а тут — другая... День при дне ругают да попрекают свекор с свекровью, из дому грозят выгнать... Ишь, не покоряюсь им, дескать, дюже роскошно, будто, веду сама себя... А там муж письмами притешает... Хоть топись! Такая уж, видно, доля моя бесталанная!.. Вон односумки мои, подруги — им житье! Гуляя себе — горя мало! "Лишь бы, — говорят, — не промахнуться, не родить, а то все поплывет под воду"... Ей-Богу, зависть берет, глядя на них; а я... эх!..

Она махнула безнадежно рукой и отвернулась. Но слезы уже смыли ее тоску, облегчили бремя. Через минуту она точно встряхнулась, качнула задорно головой и, весело блеснув глазами, заговорила:

— Так не тужить, говоришь?

— Не тужить, — подтвердил Ермаков, улыбаясь широко и ободряюще. Прежняя односумка опять была перед ним с своею загадочною улыбкой, с веселым, манящим взглядом карих глаз.

— Ну, так и так! — уже совсем весело воскликнула она и насмешливо прибавила: — теперь горе по боку, буду гулять! Осенью муж придет, плеть принесет, тогда уж не до гульбы...

Она посидела с Ермаковым еще немного, спокойно разговаривая уже не о себе, а о самых обыденных вещах. Наконец, встала и сказала, вздохнувши:

— Ну спасибо, односумчик мой миленький! Все-таки утешил, разговорил мало-мальски... А не быть мне на воскресе, чует мое сердце! Ну, да все равно... Прощай...

Он проводил ее глазами, пока она скрылась за углом, и задумался. Мысли беспокойные и смутные бродили в его голове; он не сумел бы высказать их словами... Вспомнил он почему-то свое детство, то золотое время, когда он вместе с Натальей бегал по улицам, играл в кони и... дрался; раз, уже будучи во втором отделении приходского училища, он был поставлен на коленки за то, что навел ей углем усы и брови... Как будто все это и недавно было...

VI

Лунная ночь была мечтательно безмолвна и красива. Сонная улица тянулась и терялась в тонком, золотистом тумане. Белые стены хат на лунной стороне казались мраморными и смутно синели в черной тени. Небо, светлое, глубокое, с редкими и не яркими звездами, широко раскинулось и обняло землю своей неясной синевою, на которой отчетливо вырисовывались купы неподвижных верб и тополей.

Ермаков любил ходить по станице в такие ночи. Шагая по улицам из конца в конец, в своем белом ките и белой фуражке, в этом таинственном, серебристом свете луны, он был похож издали на привидение. Не колыхнет ветерок, ни один лист не дрогнет. Нога неслышно ступает по мягкой, пыльной дороге или плавно шуршит по траве с круглыми листочками,

обильно растущей на всех станичных улицах. Раскрытые окошки хат блестят жидким блеском на лунном свете.

Одиноким чувствовал себя Ермаков среди этого сонного безмолвия и... грустил, глядя на ясное небо, на крохотные звезды... Он подходил к садам, откуда струился свежий, сыроватый воздух, где все было молчаливо и черно; сосредоточенно и жадно вслушивался в эту тишину, стараясь уловить какие-нибудь звуки ночи и... одиноко мечтал, мечтал без конца. Куда не уносился он в своих мечтах!

На соседней улице послышался стук ночных караульщиц, или "обходчиков". В рабочее время в обходе бывают только старики да старухи. Ермаков любил иногда побеседовать с каким-нибудь дряхлым кавказским героем или со старухой, державшей в своей памяти подробную историю станицы за последнее столетие, не раз, может быть, самолично сражавшейся с метелкой или кочергой в руках против ветеринаров, являвшихся истреблять зараженный чумою скот, против землемеров, "резавших" лес, против атаманов, особенно усердно взыскивавших земские деньги, и т.п.

Заслышав стук, Ермаков повернул по его направлению. Вдруг до слуха его донеслись тихие, нежные, робкие звуки песни, и он остановился от неожиданности, жадно и изумленно вслушиваясь в них. Пели два женских голоса — контральто и сопрано — небезызвестную ему песню:

Уж вы, куры мои, кочеточки!
Не кричите рано с вечера,
Не будите милого дружка...

Мотив песни был не богатый, как большая часть мотивов казачьих песен, а ровный и грустный, но в таинственной, прислушивавшейся тишине ночи, в этом серебристом блеске лунного света, не громкие, несколько однообразные звуки песни звенели нежною грустью, увлекательной и задушевной, и манили к себе с какою-то неотразимой силой, и заставляли дрожать самые сокровенные струны сердца...

Певицы пели не спеша, лениво, с большими пауза-

ми; запевало каждый раз контральто, а сопрано было на "подголосках". Наконец, одна особенно грустная, щемящая нота, долго звеневшая в воздухе, упала, и песня замерла окончательно.

— Не Наталья ли это? — подумал Ермаков, определяя на глазомер расстояние до певицы.

Он знал, что она жила на этой улице, и часто ходил здесь ночью, хотя ни разу не встречал и не видел ее за последнее время: она была почти постоянно в поле. Держась в тени, он не спеша пошел к певицам. Ему очень хотелось встретиться теперь с своей односумкой; обаяние ее, которое он раньше испытал, все еще не потеряло своей силы; он по-прежнему изредка грустил и вздыхал о ней, теряясь в ревнивых предположениях о том счастливице, которого обнимали ее сильные руки и горячо целовали красивые своей горькой усмешкой уста.

Но непонятное смущение невольно овладевало им. Он уже намеревался остановиться, как вдруг, недалеко от него, старушечий грубый голос окликнул его:

— Кто идет?

Ермаков даже вздрогнул от неожиданности и, взглядевшись, увидел небольшую, закутанную в теплый платок фигурку, сидевшую в тени, около сваленных на улице бревен. Фигурка сидела, не шевелясь, и ее можно было принять за пень.

— Кто идет? — повторила она свой оклик.

— Казак, — ответил Ермаков обычным в таких случаях способом.

— Почему так поздно? — сердито продолжала опрос неподвижная фигурка.

— По своим делам.

— Какие дела по ночам? Спать надо! Кабы на мне не обязанность, я бы теперь второй сон видела...

Когда Ермаков подошел ближе к старухе и стал всматриваться в ее сморщенное лицо с крупными чертами, она, узнавши его, добродушно рассмеялась и воскликнула:

— А я подумала, из портных кто: они тут часто шлындают с русской улицы... Вы уж извиняйте меня старуху: по случаю ночи не угадала...

— Ты чья, бабушка? — спросил Ермаков.

— Савелия Микуличева, пастухова жена. Вряд вы его знаете?

Располагая поболтать с ней, Ермаков сел на бревнах около нее, очень довольный встречей, и спросил:

— Ты с кем в обходе?

— А с Наташкой, — отвечала старуха.

— С какой?

— Да вот, с соседкой своей, Нечаевой! Она за-раз побегла домой — "напиться", — говорит, да застряла чего-то...

— Это вы с ней сейчас песни пели? — быстро спросил Ермаков, с особенным интересом всматриваясь в старуху.

— А гораздо слышно? — с удивлением воскликнула она: — Ах ты, Господи... Я-то, я-то на старости лет, в Спасовку, запеснячивать вздумала!.. Это все она меня, будь она неладна... "Давай да давай сыграем, скуку разгоним, никто не услышит". Вот старая дура!..

— А хорошо пели! — с искренним восхищением отозвался Ермаков.

— Да! — недоверчиво и укоризненно подхватила старуха: — играли хорошо, а замолчали еще лучше... Мне-то, старухе, уж вовсе не пристало в пост песни распевать... Все через нее: скучно, дескать ей... Думаю: и вправду тоскует чего-то баба, нудится...

— Отчего же? — спросил Ермаков, видя, что как будто не договорила и остановилась.

— А кто ж ее знает! Может напущено, а может — так сердце болит об чем...

— Как "напущено"?

— Как напущают тоску-то? — с некоторым пренебрежением к простоте и неведению своего собеседника воскликнула старуха: — есть такие знатники-злодеи, чтобы им на том свете в огне неуголимом гореть!.. Исхудала наша баба, а по замечанию, не с чего больше, как с тоски... Скорбь такая бывает...

Старуха глубоко вздохнула, побряхтела и покачала сокрушенно головой.

— А то бывает и так, — продолжала она после минутного молчания: — промашку сделает ихняя сестра жалмерка*... Не удержится, забалуется, заведет дружка, а там — глядь — вот и прибавка... А уж это по-

* "Жалмерками" называются казачки, мужья которых находятся в полках в отлучке.

следнее дело: и перед людьми срамота на весь век, и муж истиранит до конца... Вот она и скорбь.

— Вот оно, вот, — подумал Ермаков, мысли которого склонялись больше в сторону последнего предположения.

— Замечаю я, — снова заговорила словоохотливая старуха: — стала ходить она к Сизоворонке, а энта ведь знахарка!.. Лечится, должно быть... муж, ведь, вот скоро придет из полка... А грех это, смертный грех! Все про железные капли меня ту спрашивала да про семирратскую кровь... Жалко бабу, хорошая баба!..

В соседнем дворе стукнула калитка. Через минуту Наталья в темной кофточке и в белом платке медленно подошла к ним.

— Это ты с кем, Артемьевна? — спросила она, наклоняясь в сторону Ермакова и пристально всматриваясь в его лицо.

— Это вы, односум? — воскликнула она с некоторым удивлением, но с видимым удовольствием: — как это вы к нам сюда попали, на нашу улицу?..

— Песни услышал и пришел, — сказал Ермаков, внимательно присматриваясь к ней, — как вы хорошо пели!

— Да неужели у вас там слышно?

— Я думаю, по всей станице слышно... — пошутил он.

— Ну как же! — воскликнула она, недоверчиво улыбаясь.

— И меня-то во грех ввела, — заговорила старуха, — чтоб тебя болячка задавила!

— Да давай еще, тетушка, сыграем, — с живостью и подкупающей веселостью обратилась к ней Наталья: — охота пришла такая, всю бы ночь прогуляла, песни играла, голосу бы не сводила!

— Ну тебя! — сердито крикнула старуха, — играй сама, а я спать пойду... Тебе не болячку делать-то, а я за день умаялась...

— Ну, тетушка, миленькая! А я-то разве не устала? Сама с поля нынче приехала... в ножки поклонюсь, тетушка!.. — горячо и смешливо уговаривала Наталья, стоя перед старухой и тормоша ее за рукава ее старой кофты на вате.

— Да ну тебя! — отмахивалась старуха сердито и шутливо. Наконец, она встала и, слегка прихрамывая и кряхтя, пошла домой.

— В Спасовку-то люди Богу молятся, а я песни буду играть, — ворчала она уже в своих воротах.

— Эх, а сыграла бы еще песенку! — воскликнула с увлечением Наталья.

— Ты нынче весела, — заметил осторожно Ермаков, — это хорошо.

— Весела? — переспросила она, усмехнувшись, — да, разошлась... Не к добру, знато...

И, точно грусть сразу охватила ее, она вздохнула и примолкла, устремив в неясную даль сосредоточенный, задумчивый взгляд.

— Эх, кабы нашелся такой человек, чтобы распол мою грудь да заглянул, что там есть! — воскликнула она вдруг после продолжительного молчания, с безнадежной тоской в голосе, — да нет, верно, такого человека не найдется! Никому надобности нет...

Ермаков был изумлен таким неожиданным переходом.

— А я не понимаю сейчас этого, — заговорил он после короткой паузы: — так хорошо теперь кругом, жить так хочется, радоваться, любить... Зачем горевать? О чем тосковать? — восклицал он с ораторскими жестами, не без удовольствия слушая самого себя.

— И то не от чего, — с печальной улыбкой сказала Наталья: — а сердце болит...

— Да отчего ему болеть-то? — с наивным недоумением спросил Ермаков.

— Есть, стало быть, причина... Эх, односумчик ты мой, чудачок этакий! — глубоко вздохнувши, прибавила Наталья: — славный ты человек, простой, откровенной души, а нашего дела не знаешь и не поймешь.. А все-таки, — понизив вдруг голос и с ласковой, кокетливой улыбкой заглядывая ему в глаза, сказала она: — ни с кем так-то не люблю разговаривать, как с тобой, ни к кому у меня такого откровения нет... Ученый ты человек, а не гордый...

— Какой я ученый! — возразил в смущении Ермаков, с мучительным недоумением всматриваясь в ее бледное при лунном свете лицо и в прекрасные глаза,

светившиеся теперь глубокой грустью. Загадкой стала для него эта красивая односумка.

— А что я у вас спрошу, односум? — заговорила она, после долгого молчания, тихим и таинственным голосом: — бывают ведьмы на свете, или нет?

— Не думаю, — засмеявшись, ответил Ермаков.

— Я тоже не верю!.. Вот есть тут у нас старуха-соседка, Сизоворонка под названием, — на нее говорят, что ведьма она... Зря болтают, так думаю. А что знает она, это верно! Колдунья!

— Неужели? — улыбнулся Ермаков.

— Верно! Увидала меня раз и говорит: "чего сохнешь? Приди, полечу... Откройся, легче будет"... Что же? Ходила ведь я! Всю мне жизнь мою рассказала... "Через сердце, говорит, свое непокорное ты пропадешь"...

— И лечила?

— Питье какое-то дала, — с неохотой и не тотчас ответила на этот вопрос Наталья: — мутит с него, голова болит, а легче нет...

— Ерунда все это! — с горячим и глубоким убеждением сказал Ермаков.

— Нет, верно! — так же горячо и убежденно возразила Наталья: — все истинно! Я знаю, за что пропадаю: за свою гордость я пропадаю... Все такие же, как я, да ничего, горя мало: перенесли, покорились... А я не могу покориться... Перенести не могу, ежели кто попрекнет мне или посмеется, или срамить станет! Муж бить будет, это куда ни шло — переносно, а ежели кто со стороны ширнет в глаза, легче помереть!

Она вдруг смолкла, точно голос у нее разом оборвался. Ермаков не прерывал молчания. Невеселые думы бродили и в его голове. Он не понимал всей тяжести ее мучений и терзаний, но чувствовал к ней глубокую жалость, несмотря на некоторую ревнивую досаду, которую никак не мог выкинуть из сердца. Он спрашивал самого себя: совесть ли ее упрекает так, что она не хочет скрыть своей супружеской неверности (самого обыкновенного явления в казачьей среде), или потому она так и сокрушается, что нельзя уже скрыть проступка, и предположения старух об ее беременности справедливы? Но вопросы эти так и остались для него открытыми.

— А зачем гналась? — печально, унылым голосом заговорила снова Наталья: — и глупа же, неразумна я была!.. Думала счастьеце найти, сердце потешить!.. Слова не с кем было сказать... все ночи одна просижу, все думушки одна передумую... Вот и налетела!.. Вашему брату что? Сорвал да удрал... Да еще славу проложит, подлец! А нашей сестре — слезы... наплачешься, нарыдаешься...

— Ну, да теперь тужить нечего, — встряхнувши решительно головой, сказала она: — кутнула раз и рога в землю! Двум смертям не бывать, одной — не миновать! Так что ли, односум? — задорно улыбаясь и близко наклонясь к нему, воскликнула она: — Лучше не думать! Пусть будет, что будет, а будет, что Бог даст... Придут служивые через месяц, и мой муженек на машине прилетит... Выйду на степь, встречу, в ножки ему поклонюсь... Либо уж скажу ему все, пускай из пистоля застрелит... пропадай ты, жизнь! Чтобы сразу! А?.. А то летось Рудин казак пришел из полка, а жена тяжелая... До полусмерти засек плетью, и никто не заступился!.. Да толку-то! Не все ли одно? Эх, жалко, тетка Артемьевна ушла: еще бы песню сыграли! Учила раз она меня старинной песне:

Кто бы из вострой сабли ржавчину вывел,

Кто бы из мово сердечушка кручинушку вынул...

— Ну, и наплакалась же я в ту пору!... А она хорошо песни играет!.. Ты не задремал?

— Нет, — тихо отозвался Ермаков, хранивший все время глубокое молчание.

— Ну, посидим еще. Я все равно не усну скоро... за ночь-то каких мыслей не передумаешь? Сколько слез прольешь... Да и сны какие-то все страшные снятся: то в пропасть в черную-черную летишь — и дна нет, ух, аж сердце замирает!.. То цыгане с ножами приснятся, резать кидаются... Иной раз просто совсем без ума станешь... И на яву-то все какая-то алалá* в глаза лезет...

— Нервы! — мрачно буркнул Ермаков.

Своей грустной повестью Наталья привела его в

* Алала- чепуха.

окончательное уныние. Он угрюмо молчал, не зная, о чем говорить, хотя тайный голос внутри его сильно бунтовал против всех доводов, которые наваяла на него грусть.

Когда Наталья начала вдруг, без всякого видимого повода, говорить о загробной жизни, расспрашивая, правда ли, что там жгут грешников в огне неупокоимом, он, наконец, заговорил с комическим озлоблением:

— Ерунда все это!

— А слышал, чего поп в церкви говорил? — возразила она с недоверием.

Ермаков махнул рукой.

— Все это чепуха — муки вечные на том свете! — сердито заговорил он: — муки вечные для многих — здесь, на земле, в этой прекрасной жизни, которая, думаю, не для терзаний всевозможных создана, а для радости, для счастья... Мы сами себе иногда создаем муки вместо того, чтобы брать от жизни, не задумываясь, все светлое и радостное, что она дает... Иных людей другие терзают, а иные сами себя терзают... Зачем? Разве это нужно кому? Это — жизнь?!

Он говорил с жаром, отчаянно жестикулируя и размахивая руками. Все, что он говорил, казалось ему несомненным и истинным, и он даже сам несколько удивлялся, как это раньше ему никогда так ясно и отчетливо не представлялось все, что он теперь высказывал... Точно вдохновение осенило его в эту чудную ночь... Наталья плохо понимала его горячую речь, но чувствовала и угадывала ее смысл; не находя ей сильных возражений, она помаленьку подчинялась ей, и как будто легче стало у ней на измученной душе... Лицо ее, казавшееся таким красиво-бледным при лунном свете, глубокие, темные, грустные глаза, внимательно и с наивной доверчивостью устремленные на увлекшегося оратора, самая близость ее, о которой он так часто и безнадежно мечтал, действовали на него возбуждающим образом. Взволнованный, охваченный весь каким-то неясным, сладким и трепетным увлечением, он продолжал говорить о непреодолимой жажде, всеми испытанной, всех увлекавшей жажде жизни, любви, наслаждений, утешал ее, убеждал не особенно мучиться и терзаться совестью за увлечения, так как это не

смертный, а самый обыкновенный, прощительный грех... Говоря о любви, он хотел было высказать ей и свои собственные чувства, но некоторая робость и сознание неуместности останавливали его. Устремивши глаза в высоту, в глубокий сумрак неба, где горели неяркие, но ласково мигавшие звезды, он пел соловьем и остановился только тогда, когда услышал вдруг около себя тихое, неясное всхлипывание. Он оглянулся с удивлением. Наталья, закрывши лицо концом своего белого платка, тихо плакала и вздрагивала плечами.

— О чем же? — с недоумением спросил растерявшийся оратор.

Она не отвечала и продолжала всхлипывать.

Он долго смотрел на нее растерянно, смущенно, молча.

Мысли стали путаться у него, лицо горело и сердце часто и громко стучало... Наконец, он близко нагнулся к Наталье и обнял ее... Она не уклонялась и не отталкивала его, но все еще продолжала плакать...

VII

Торжественный трезвон только что смолк на станичной колокольне. Это был мастерский, отчетливый, веселый трезвон, исполненный руками художника по этой части, купеческого сына Петра Нихаева. На этот раз он особенно постарался для праздника Успения Пресвятой Богородицы. Под его волшебной рукой маленькие колокольчики просто смеялись серебристым, дробным смехом; большие чуть не выговаривали что-то благочестивое, глубоко-серьезное, но не лишенное ликования и жизнерадостности. Народ толпами шел в церковь. Солнце только что поднялось над вербами. Веселые теплые лучи заиграли на соломенных крышах и заблестели на листьях высоких груш и тополей. Тонкий, сизый туман еще вился над станицей; пахло кизячным дымом. Тени были длинные и прохладны. Весело начинался день...

Ермаков, только что вставший и умывшийся, чувствуя бодрость во всем теле, крепость в мускулах и потребность двигаться, работать, с особенным удовольствием черпал воду из колодца для лошадей. С мокрыми

волосами, без фуражки, в серой блузе, он напевал и насвистывал веселые мотивы, подчиняясь безотчетному чувству радости и молодости. Пробуя развившиеся и окрепшие за лето мускулы, он поднимал на вытянутой руке ведро с водой, затем делал всевозможные приемы на "турнике", которым служила толстая, далеко вытянутая, сухая ветка старой груши, приготовился было уже выполнить с разбегу "гоп на воздухе", как вдруг сзади его раздался голос:

— Здравия желаю, Василий Данилыч!

Ермаков оглянулся и увидел в воротах сада полицейского казака Гаврила с большой медалью на груди.

— Мое почтение, Гаврил, — весело отозвался Ермаков, не замечая его встревоженного вида.

— Папаша дома будут, али в церкви? — спросил Гаврил, дышавший тяжело и устало.

— В церкви. А что? Ты бежал как будто? — спросил в свою очередь Ермаков, обращая внимание на встревоженное его лицо.

— Так точно. Происшествие случилось...

— Какое? Драка или кража?

Ермаков спрашивал довольно равнодушно и спокойно, привыкши постоянно слышать о подобных мелких происшествиях в станице.

— Нечаева Никиты сноха удушилась... — сказал Гаврил.

— Да ну?! — воскликнул, вдруг бледнея, Ермаков.

— Так точно.

— Наталья? Не может быть! Почему? С чего?

Гаврил недоумевающе пожал плечами.

— Господь ее знает, — сказал он своим ровным, глухим, замогильным голосом: — сейчас с петли сняли. Помощник атамана пошел составлять протокол, папаше вашему велели доложить...

Всевозможные мысли вихрем понеслись в изумленной голове Ермакова. Вопрос возникал за вопросом быстро, стремительно, и ни на один не нашлось ответа.

Это "происшествие" было так неожиданно и дико, так ни с чем несообразно, не нужно, так поразительно и ужасно!..

— Никиты-то Степаныча самого дома нет, — продолжал Гаврил тоном в высшей степени равнодуш-

ным: — уехал со старухой на ярмонку. Удивила баба, нечего сказать! Никто от нее не думал. Такая хорошая, молодецкая женщина, красивая... Ведь, сказывают, коров сама прогоняла, как к утрени звонили, а через какой-нибудь час с петли сняли! Теплая еще была, говорят... Кабы на этот случай кто кровь мог пустить, может быть — и опользовали бы... а то народ-то все несообразный случился... Так в церкви, говорите, папаша-то? — поспешно спросил он деловым голосом: — пойду доложу. Счастливо оставаться.

Ермаков оделся и отправился туда, на место "происшествия". Недавней бодрости его как не бывало... Ноги как-то вяло двигались, и сознание какой-то беспомощности проникало все существо, точно чем-то тяжелым и огромным придавили его. Маленьким, слабым и бессильным почувствовал он себя теперь. Сердце сжалось и заняло тупую, неосмысленную болью, но ни слез, ни сожаления не нашел он в себе.

Около дома и в воротах Никиты Нечаева, с улицы, столпилась гурьба босоногих ребятишек, которых выгнали, очевидно, со двора. На дворе около кухни толпились взрослые... В центре этой толпы, за небольшим столиком, на некрашеном табурете, восседал помощник станичного атамана, старый урядник с длинными усами, и рядом с ним писарь Артем Сыроватый.

— Так ты чего же, старая ведьма, не смотрела за ней! — допрашивал помощник атамана маленькую, сморщенную, согнутую старушонку, стоявшую перед ним с таким угнетенным видом, точно она была уже приговорена к смерти.

Старушонка эта, как оказалось, почевала в минувшую ночь у Нечаевых вместе с Натальей. Это была та самая знахарка Сизоворонка, про которую Наталья недавно еще рассказывала Ермакову.

— Да кабы знатье, кормилец ты мой? — говорила она дрожащим, испуганным голосом, обнаруживая два желтых зуба: — а то кто же от нее думал этого? Я разбудила ее: "вставай, говорю, Наташка, коров прогоняй", а сама пошла по дому, — у меня своя какая ни есть домашность... И ведь ничего-то, ничего этакого не приметно было! Вставала, коров прогоняла, печь затопила... Ах ты, Господи, Господи, Царь Небесный!.. — вдруг залилась она разбитым, дребезжащим голосом.

— Ну, ну, ну! — крикнул помощник атамана и грозно зашевелил усами, — завывала Дальше говори!..

— Да чего дальше-то? — слезливым голосом продолжала она: — от утрени уж народ стал итить, а я вспомнила, что рубаху блошную тут забыла. Пошла за рубахой... вот она, вот рубаха-то!..

Старуха показала из-под занавески какой-то холстинный сверток...

— Да ну тебя к черту, не показывай! — с брезгливым видом крикнул помощник атамана, — не видал я рубах что-ль!..

— Пошла я за рубахой-то, — продолжала старуха, быстро спрятавши сверток под занавеску: — в курень вхожу — никого нет. Кликнула, — никто не отзывается... Ну, в кухне, должно быть, — думаю... Вышла из куреня-то, гляжу, телята спущены с базу, а нет никого, и кухня топится... Глянула я, кормильцы вы мои, в амбарчик-то, зачем он, думаю, растворен? А она... висит... моя голубушка...

Сморщенное, коричневое лицо старухи перекосилось и сморщилось еще больше; она готова была опять залиться неудержимыми слезами, но помощник атамана снова зашевелил усами, и она продолжала еще более слезливым тоном:

— Ноги у меня подкосились, с места не сойду... Кой-как за ворота выползла; идут казаки, а я слова не выговорю, кричу, руками махаю: "какая уж беда-то, какая уж беда-то!" Прибегли они, сняли ее, любушку, с петли, теплая ишшо была... Ах, Мати Божия, Царица ты моя Небесная! Да чего она, любушка, задумала-то! Да как это она могла принять на себя! О-о-ой-ой-о-ой-о-о-ой!

Старуха уж не в состоянии была удержаться от слез, несмотря на грозный вид начальства, и вдруг залилась, сокрушенно качая головой.

— Ну, завывала, ведьма! — уже значительно мягче сказал помощник атамана. — Говори, кто снимал ее?

Ермаков протеснился через толпу, состоявшую больше из женщин, к амбару и глянул в его раскрытую дверь. На полу лежал труп Натальи. Тяжелое, гнетущее было зрелище. Молодая, недавно еще полная жизни и обаятельной красоты, она лежала теперь неподвижной, бездыханной, чуждою всего, что ее окру-

жало. Лицо ее слегка потемнело, но не обезобразилось страшной смертью. Белый лоб резко отделялся своей нежной белизной от нижней, загоревшей и смуглой части лица. Чья-то заботливая рука закрыла ей глаза, руки сложила на высокой груди и расплела ее роскошные косы. Выражение какого-то удивления и вместе глубокого покоя легло на лицо. Босые загорелые ноги были вытянуты. Красота ее тела, форм, лица теперь поражала еще больше и вызывала во всех глубокую жалость...

Раздирающие душу вопли послышались вдруг сзади Ермакова, и старая казачка, быстро протеснившись через толпу, упала над трупом. "Мать", — пронеслось по толпе.

Ермаков ушел.

— И чего удумала, Наташка, Наташка! — послышался сзади его знакомы грубоватый, исполненный скорби голос: — и кто от тебя, моя болезная, этого думал-гадал? Никому не сказалася, никого не спросилася...

Ермаков оглянулся. Маленькая старушонка, та самая, которую он видел с неделю назад, когда она была в ночном обходе вместе с Натальей, глядела на него скорбными, заплаканными глазами. Горькое недоумение выражалось на ее лице.

— Ну думамши, не гадамши! — заговорила она, подходя к Ермакову и сокрушенно покачивая головой: — измучилась, знато, моя сердечная... Все дни томилась, ягодка! Надясь, в праздник, казаки гуляли ночью, раза три проходили тут, по нашей улице с песнями. Таково-то хорошо играли! Она сидит, моя ягодка, под коном, пригорюнилась, и мне сна нет, глядя на нее. Подошла к ней, разговорить хотела ее, ан она и того хуже! Всплакнула... "Иди, — говорит, тетка, спать, и я ляжу". — Пошла я спать, не усну никак! Опять кто-то песню проиграл на улице — один... "Кабы можно иметь сизы крылышки, возвился бы, полетел"... Приподнялась я к окну, — дюже славно, шельмец, играл он ее, просто — говорил... Зашел он насупротив их куреня и играет: "На том месте опустил бы, где раздушечка моя живет, сел бы, сел бы к своей сударушке на правое плечо, поглядел бы, посмотрел в ее белое лицо"... Слышу, хлопнуло окошко (стариков-

то тоже дома не было, к дочери в гости ездили), — она одна была. Зараз он к окну... долго говорили... Слышу, напоследок она говорит: — "И не думай, и не думай, грози — не грози, проси — не проси, не будет по-твоему!". И опять через малое время пошел он, песню заиграл. "Замечали злые люди, что хорошую люблю"... Так и понеслась по станице, как он ее голосом-то свои повел. Узнала я казака-то: Стрелков, атаманец молодой. Похвалила я в ту пору ее: "Молодец, думаю, Натанька! До слабости себя не допустила. А то свяжись, мол, с ними, они доведут до дела"... Ан вот какое дело подстигло... И как это она, глупуша, не побоялась, не утрашилась! Чего она и думала? Мужа боялась? Да он, глядишь, не зверь... Ну, где побил бы, а где бы и пожалел... Жизнь не радость, да и в смерти нет находки...

А день сиял веселый, яркий. Горячие лучи солнца начинали уже томить, тень манила к себе. Небо чистое, нежно-голубое, высокое, безмятежно сияло своей лазурью, раскинувшись далеко-далеко. Веселые, пестрые, нарядные толпы шли от обедни. Свет Божий был так хорош, а безмолвная, вечная темнота могилы казалась Ермакову такой ужасной, что он чувствовал, при одной мысли об ней, как холодела в нем кровь и трепетно замирало сердце...

Листая старые страницы

Пантелеймон Романов

Для меня это загадка: 1916 год, идет ожесточенная война, которая названа Первой мировой. П. Романову тридцать два года, возраст призывной. Всего полгода остается до Февральской революции. И в эти недели Пантелеймон Романов пишет, а "Русское богатство" вскоре печатает повесть, которая по первому взгляду никак не сопрягается с современным моментом.

Действие происходит в деревне, вдалеке от войны. Персонажи заняты повседневными делами, лишь один раз упоминается о войне (сдача крепости). У героев повести ворох проблем: зубная боль, клопы, испорченный сон или желудок.

Как же мы запрограммированы! Литература обязана быть злободневной, откликаться на самые последние решения партии и правительства. Мы были рабами повседневности — и собственной литературной суеты.

Но проходит срок и выясняется, что художник смотрел глубже, чем мы его воспринимали. И возникает маленький шедевр.

Осталась проблема названия. В последующих изданиях Пантелеймон Романов назвал повесть по-другому — "Русская душа". Так было точнее.

Название привилось и после многократно повторялось другими авторами, благо сам П. Романов находился как бы в полузабытьи. Сейчас П. Романова снова начинают широко печатать, и он занимает свое достойное место в ряду русской классики.





ПАНТЕЛЕЙМОНЪ РОМАНОВЪ¹

Въ родномъ краю

Аннѣ Васильевнѣ Романовой

Горничная уже три раза подходила с письмом к двери кабинета и не решалась войти.

Не допускалось никаких перерывов в занятиях и не позволялось никому входить в кабинет в неурочное время. Девушка, пригнувшись, посмотрела в замочную скважину; профессор, сидел у письменного стола все в той же позе, что и четыре часа назад.

Виден был строгий, сухой, как у англичанина, профиль, шнурок пенсне, качающийся при движении, и строгий воротничок, неумолимо подпиравший шею даже в свободной домашней тужурке. Профессор был неизменно точен и строг, когда дело касалось его распределения времени. Свободного времени у него было только: обед и час прогулки после обеда. И только в это время можно было обращаться к нему.

Часы в столовой пробили шесть — время обеда, и девушка вошла.

— Барин, вам письмо, — сказала она, подавая профессору конверт.

Профессор снял пенсне с уставших глаз и с недоумением посмотрел на тонкий дешевый конверт. На одном углу его даже был след сального пальца.

— Подавайте обед, — сказал профессор и, надев опять пенсне, все с тем же недоумением прочел адрес.

Написан он был с наивной провинциальной торжественностью: "Господину Профессору Императорского.

¹ Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938), писатель. Рассказы и повести "Отец Федор", "Детство", "В родном краю", "Товарищ Кисляков" и др. Романы "Русь", "Новая скрижаль", "Собственность".

Университета Андрею Христофоровичу Вышнеградскому”.

Андрей Христофорович развернул письмо; оно было от брата Авенира, которого он не видел уже лет пятнадцать.

Ссылаясь на то, что теперь, в военное время, на заграничные курорты все равно проехать нельзя, он просил Андрея Христофоровича приехать погостить хоть одно лето у них.

”Давно тебе пора, Андрей, заглянуть в родные места, а то грех будет, — родину свою забыл совсем. Брось, брат, эти Европы”, — писал Авенир, по своему обыкновению относясь почему-то отрицательно к Европам. ”Заезжай сначала к Николаю, — он ближе к Москве, — а там известите меня, я за тобой прискачу”.

Андрей Христофорович не выбрал еще, куда ехать на лето отдохнуть и подкрепить нервы для зимней работы, и мысль поехать в деревню к братьям, на родину, умилила его. Вдруг живо вспомнилось детство, их деревенский домик на поповском выгоне перед церковью, стайки стрижей, летающих около колокольни, тихий деревенский вечер, низкая ограда палисадника, за которой рос сиреневый куст... И подумал, как он далек теперь от той жизни, как мало похожа на нее его теперешняя жизнь.

Но он не чувствовал ничего, кроме благодарности к судьбе, за эту свою жизнь в столице, которая дала ему то, что он больше всего ценил: дисциплину ума и воли, энергию и способность к упорной методической работе. Здесь он привык жить так, чтобы ни одна минута его жизни не проходила даром. Он любил столицу, видел в ней символ культуры и движения. Благодаря ей, он был здоров; несмотря на пятьдесят лет, у него не было седых волос, спина еще не начала горбиться и все зубы, аккуратно запломбированные, были здоровы и крепки.

Андрей Христофорович пошел в столовую, съел сваренных протертых овощей и кусок прожаренного мяса; в этом заключался весь его обед. Так как вся жизнь его была заполнена непрерывной работой, а для работы требовалось здоровье, то все у него было на учете — мочион, питание, отдых. И организм работал без пропусков, как хорошо вычищенная машина.

При мысли о деревне останавливало только соображение о том, что он нарушит весь свой режим. Он надел пальто, черную шляпу с широкими полями, взял свою палку с серебряным набалдашником и вышел на улицу, чтобы на свободе решить, куда ехать на лето: в Финляндию, куда его звали знакомые, или к братьям в деревню.

Он прошел на Тверской бульвар, дошел до Никитских ворот, оттуда повернул к университету.

Уличная жизнь на первый взгляд была все та же: те же стоящие на углах извозчики, едущие непрерывно экипажи, оглушительно звенящие трамваи, разносчики в фартуках, с лотками на голове. Но во всем чувствовалась какая-то новая спешка, новое напряжение. И Андрею Христофоровичу приятно было видеть эту удвоенную энергию жизни, которую он ценил больше всего.

Казалось, что теперь нигде не было уже прежней русской медлительности и разгильдяйства. А огромные, невиданные дотолы автомобили, проезжавшие вереницей по улице, вселяли какое-то чувство гордости и надежды. Казалось, что теперь все ожило, проснулось, поднялось и что с этого момента начнется новая жизнь.

Андрею Христофоровичу уже совсем определенно захотелось в деревню. У него было такое чувство, как будто ему нужно было скорее привезти туда какую-то радостную весть.

Зайдя на телеграф, он послал брату Николаю телеграмму и на другой день выехал в деревню.

II

Напряженную жизнь Москвы сменили простор и тишина полей.

Андрей Христофорович смотрел в окно вагона и следил, как вздувались и опадали бегущие мимо распаханые холмы, проносились чинимые мосты с разбросанными под откос шпалами. Не было даже обычного мелькания предметов: среди бесконечного простора они не мелькали, а медленно отплывали налево.

Время точно остановилось, затерялось и заснуло в этих ровных полях. Поезда стояли на каждом полу-

станке бесконечно долго, — зачем, почему, — никто не знал. И когда говорили, что поезд пойдет через час, он неожиданно трогался через пять минут. А когда спешивший куда-то кондуктор на бегу говорил, что сейчас трогаемся, поезд простаивал бесконечно долгое время. Паровоз точно потухал и засыпал.

— Что так долго стоим? — спросил один раз Андрей Христофорович, — ждем что ли кого?

— Нет, никого не ждем, — сказал важный оберкондуктор и прибавил, глядя в окно: — нам ждать некого.

На пересадках сидели целыми часами и никто не знал, когда придет поезд. Один раз пришел какой-то человек, написать мелом на черной доске: поезд № 3 опаздывает на 1 час 30 минут, и ушел. Все подходили и читали. Но прошло целых пять часов, а поезда никакого не было. Когда кто-нибудь поднимался и шел с чемоданами к двери, тогда вдруг вскакивали и все, наперебой бросались к двери, давили друг друга, лезли по головам.

— Идет, идет!..

— Да куда вы с узлом-то на человека прете!

— Поезд идет.

— Ничего не идет, один поднялся, все и шархнулись.

После ложной тревоги, постояв на платформе час-другой, все нерешительно расходились, потом спешили в зал, чтобы захватить места, и опять погибали в дверях, обвиняя во всем задних, которые напирают без толку.

А когда Андрей Христофорович приехал на станцию, оказалось, что лошадей не выслали.

— Что же я теперь буду делать? — сказал Андрей Христофорович носильщику. Ему стало досадно и обидно: он не видел братьев лет 15 и так хотелось доехать поскорее, без всяких помех.

Но Николай остался верен себе: или опоздал с лошадьми, или перепутал числа.

— Да вы не беспокойтесь, — сказал носильщик, юркий мужичок с бляхой на фартуке, — на постоялом дворе у нас каких вам угодно лошадей предоставят. У нас на этот счет... Одно слово!..

— Ну, ведите на постоянный, только не пачкайте так вещи, пожалуйста, все чехды у вас в грязи.

— Будьте спокойны... — Мужичок махнул рукой по чехлам, перекинул чемоданы на спину и исчез в темноте за дверями вокзала. Только слышался его голос где-то впереди:

— По стеночке, по стеночке, господин, пробирайтесь, а то тут сбоку лужа, а направо колодезь.

Андрей Христофорович как стал, так с первого же шага и покатился куда-то.

— Не угадали, — сказал мужичок. — Правда, что маленько грязновато, да у нас скоро сохнет. Живем мы тут хорошо, тут прямо тебе площадь широкая, направо — церковь, направо — попы.

— Да где вы? Куда здесь идти?

— На меня потрафляйте, на меня, а то тут сейчас ямы извезочные пойдут. На прошлой неделе землемер один чубурахнулся кверху тормашками — насилу вытащили.

Андрей Христофорович шел, ожидая каждую минуту, что с ними будет то же, что с инженером.

А мужичок все говорил и говорил без конца:

— Площадь у нас хорошая. И номера хорошие, Селезневские. И народ хороший, помнящий.

И все у него было хорошее — и жизнь, и народ.

Андрею Христофоровичу, у которого разболелась голова и звенело в ушах, казалось, что они идут по бесконечному вспаханному полю и над ухом у него, не переставая, звонит какой-то колокол.

Временами перед глазами вдруг вырисовывался и пугал неожиданным появлением темный силуэт дерева. Или кусты он принимал за дальние деревья и неожиданно натыкался на них, едва успев выставить вперед руки.

— Надо, видно, стучать, — сказал мужичок, остановившись у какой-то стены; он свалил чемоданы прямо на землю и стал стучать кирпичом в калитку.

— Тише! Вы их так перепугаете, — сказал Андрей Христофорович.

— Не беспокойтесь, Иным манером их и не разбудишь. Народ крепкий. Что вы там, ай очумели все! — сказал он уже другим тоном кому-то в калитку. — Лошади есть? Господину до Кузьминок нужно.

— Есть.

— То-то, — есть! Переснете всегда так, что руки все обколотишь!

— Пожалуйте наверх, — сказал Андрею Христофоровичу появившийся в калитке силуэт, не обращая никакого внимания на слова маленького мужичка.

Андрей Христофорович хотел было взойти наверх по узенькой необычайно крутой лестнице, но остановился от удушливого нагретого жилого запаха, пахнувшего из отворенной наверху двери, в которую кто-то светил поднятой лампой.

— Нет, я лучше подожду здесь, не беспокойтесь.

— Ну, мы сейчас, — и шустрого маленького мужичка сменил высокий, молчаливый и медлительный.

— Вы мне приготовьте место в экипаже, я сяду, а вы закладывайте и поезжайте.

— Это можно.

— А дорога хорошая?

— Дорога одно слово — луб.

— Что?

— Луб... лубок то есть. Гладкая очень. Наши места хорошие.

Андрей Христофорович, найдя рукой железную подножку, сел в огромный рыдван, стоявший в сарае под навесом. От него пахло пыльным войлоком и, какой-то кислотой. Андрей Христофорович вытянул на постеленном сене ноги, и привалившись головой, стал дремать. Изредка лицо его обвевал прохладный ночной ветерок, заходивший сверху в щель прикрытых ворот. Вкусно пахло дегтем, постеленным сеном и лошаадьми.

Сквозь приятную дремоту он слышал, как возился мужик с привязкой багажа, продергивал какую-то веревку сзади экипажа.

Потом, сказавши: "Ах, ты, мать честная", — что-то чинил. Иногда убегал за чем-то в избу и тогда наступала тишина, от которой ноги приятно гудели, точно при остановке во время езды на санях в метель. Только изредка фыркали и переступали по соломе ногами лошади, жевавшие под навесом овес.

Через полчаса Андрей Христофорович в испуге проснулся с ощущением, что он висит над пропастью, и схватился руками за края рыдвана.

— Куда ты! Держи лошадей, сумасшедший! — крикнул он в испуге.

— Будьте спокойны, не бросим, — ответил откуда-то сзади спокойный голос, — сейчас другой подопру.

Оказалось, что они не висели над пропастью, а стояли еще на дворе и возница только собирался мазать колеса, приподняв один бок экипажа.

Потом рыдван рвануло вперед, копыта лошадей застучали по бревенчатому помосту, и они выехали на мягкую землю площади. Лошади взяли круто направо и шибкой рысью покатали вдоль частокола. Собиралась гроза. Впереди вспыхнула, пробежав змеей по горизонту, молния и осветила невидную до того тучу с зловещим седым валом впереди. Лошади захрапели и побежали быстрее навстречу туче. Кучер стащил с головы шапку и лениво перекрестился.

”Все тот же единственный способ защиты от всех стихий”, — подумал Андрей Христофорович, посмотрев на мужика.

Сон у него прошел при виде медленно подвигающейся тучи, — как в детстве хотелось смотреть на нее, не отрываясь. Какой свежий воздух, какой простор, только бы не эти постоянные дворы, — подумал Андрей Христофорович, вдыхая пахнувший дождем воздух. На поднятый верх рыдвана, как на натянутую кожу барабана, упала первая капля крупного дождя, потом на кожаный фартук — другая. Слепив глаза, близко сверкнула молния и над головой прокатился глухой, все усиливающийся сердитый гул.

Начался дождь — прямой, крупный и теплый. И вся окрестность наполнилась равномерным шумом падающего дождя. Возница молча полез под сиденье, достал оттуда какую-то рваную дрянь, накрылся ею, как священник ризой, и продолжал сидеть молча, нахлебавшись.

Через полчаса колеса шли уже с непрерывным журчаньем по глубоким колеям. Возника остановился и медленно оглянулся назад с козел, как бы измеряя расстояние, потом посмотрел по сторонам.

— Что вы?

— Кто ее знает! Еще ссунешься.

— Куда ссунешься? Разве есть овраги?

— Нет, как будто нету.

— Ну, а что же?

— Мало ли что!

— Да осторожнее, куда вы воротите! Это ужасно! А говорил, дорога хорошая.

— Вот как дождь, так и маемся. А то ничего, дорога — луб, одно слово. Ну, а уж как дождь, тут подбери огузья...

— Какие там еще огузья, замолчите, пожалуйста.

III

Авенир писал, что от станции до деревни Николая верст 30 и Андрей Христофорович рассчитывал приехать часа через три. Но проехали 4—5 часов, останавливались на постоялом дворе от невозможной дороги и только к утру одолели эти 30 верст и въехали в деревню.

Экипаж подъехал к низенькому домику с двумя белыми трубами и широким досчатым крыльцом, на котором, взгромоздившись стоял белый петух на одной ноге. Невдалеке, в открытых воротах плетневого сарая, присев на землю у тарантаса, возился рабочий с привязкой валька, помогая себе зубами. И не обращал ни малейшего внимания на приезжего.

А с заднего крыльца, подобрав за углы полукафтанья и раскатываясь калошами по грязи, спешил какой-то старенький батюшка... Он прежде всего махнул рабочему, чтобы тот бросил собираться.

— Не надо, он уж приехал! Отведи лошадей к пруду.

И только тогда обратился к Андрею Христофоровичу и засмеялся.

— Ну, слава Богу. Приехал. А мы уж мучились, как ты будешь без лошадей. Числом ошибся... Ну, здравствуй. Что ты на меня так смотришь? Пойдем скорее. — И он улыбнулся медлительно и ласково. — А ты-то какой молодец.

Это и был Николай, младший брат Андрея Христофоровича.

— Ну, ты что-то постарел, — сказал Андрей Христофорович.

— Постарел? Что ж сделаешь-то, к тому дело идет. Ниже, ниже голову! — испуганно крикнул он, — а то стукнешься.

— Что же это тебе таких дверей понаделали?

— Что ж сделаешь-то? Калоши там снимешь. Ну, вот и пришли. Вот как мы живем тут. Да что ты на меня все смотришь?

Андрей Христофорович и правда, раздеваясь, смотрел на брата. Полуседые, нечесанные волосы, широкое доброе лицо было бледно, одутловато. Недостаток двух зубов спереди невольно приковывал к себе внимание. А на боку было широкое, в тарелку, масляное пятно. Должно быть, опрокинул на себя лампадку. Сначала, наверное, ахал, прикрывал бок от посторонних, а потом привык и забыл.

— Вот, братец, затмение-то нашло, — сказал он, кротко моргая и потирая свои пухлые, вялые руки.

— Какое затмение? — спросил Андрей Христофорович, оглядывая с порога комнату, куда они вошли.

— Да вот, с числом-то. — И он опять улыбнулся. — От роду ничего подобного со мной не было!

— А где же Варя и девочки?

— Они одеваются. Врасплох захватил.

— Да что за вздор, к чему...

— Нет, как же: дома одно, а гость приехал — надо... Ну, вот и они. В дверях стояла полная, такая же, как и он, рыхлая женщина со следами быстро прошедшей русской румяной красоты. Теперь лицо ее все расплылось и сама она вся обвисла, как старый капот. У нее тоже недоставало передних зубов. С нею были две девочки в белых гимназических фартучках.

— Здравствуйте, Варя, — сказал Андрей Христофорович и подумал: "Как это можно так раздеться". Но у нее были такие хорошие невинные детские глаза и она так трогательно, наивно взглянула на гостя, что Андрею Христофоровичу стало стыдно своей мысли.

— Вот вы какой, — сказала она медленно и улыбнулась так наивно, что Андрей Христофорович тоже улыбнулся: — Я думала, что вы старей.

И, не зная, о чем больше говорить, она сказала:

— Пойдемте обедать.

К обеду пришла старушка со слезящимися глазами и красными, как от мороза, руками: тетя Липа — тетка Николая и Андрея Христофоровича. Она заслонила рукой глаза от света, чтобы лучше видеть лицо приезжего, и долго рассматривала его.

— О, батюшка, да какой же ты большой-то стал, — сказала она и засмеялась. И она засмеялась так же, как Николай, как Варя, так по-детски радостно, что, глядя на нее, Андрей Христофорович опять невольно улыбнулся.

— Как живете, Липа? — спросил он старушку, подав ей свою руку, которую она, не выпуская, трясла.

— Хорошо, батюшка, благодарю Бога. Племянников Бог послал мне хороших. То у одного поживу, то у другого. Да еще пенсия мне за мужа идет 50 целковеньких в год. Слава тебе, Господи. — И она перекрестилась. — Ну, обедать, обедать ему скорее.

Обед состоял из окрошки с квасом и щей, таких горячих и жирных, что от них не шел пар и стояли они, как расплавленная лава. Жаркое все потонуло в масле.

— Что-же это вы делаете? — сказал Андрей Христофорович.

— А что? — испуганно спросил Николай.

— Да жиру-то сколько. Ведь это верный катар!

Николай успокоился.

— Волков бояться — в лес не ходить, — сказал он. — Нельзя, нельзя, милый, — ты гость, а для гостя надо получше. Пожирнее, — добавил он, ласково улыбаясь и дотрагиваясь до снины брата: — А кваску что же?

— Нет, благодарю, я квасу совсем не пью.

— Вот это напрасно, квас на пользу, — сказал Николай.

А Липа добавил ласково:

— Если с солью, то от головы хорошо, ежели с водкой, то от живота. Вот Варечку этим и отходили зимой.

— А что у нее было?

Живот и живот! — сказал Николай, сморщившись и махнув рукой.

— У меня под ложечку подкатывается, — сказала Варя. — Как проснешься утром, так и сосет и томит, даже тошно. А слюни вожжей, вожжей.

— Что? Как? — переспросил Андрей Христофорович.

— Вожжей, — сказал Николай.

— Умирала, совсем умирала, — сказала Липа, горестно глядя на Варю.

— Так ведь это у Вари и есть самый злейший катар. Ей нельзя ничего жирного, ни кислого, — умереть можно.

— Нет, Бог милостив, квасом с водкой отходили, — сказала Липа.

— Тебе нужно бы в Москву с Варей съездить, — сказал Андрей Христофорович.

— Что вы, что вы, Бог с вами! — сказала Варя, засмеявшись.

— Еще вырезать что-нибудь начнут, — сказала Липа.

— Что ж ездить-то, — прибавил Николай, — мы все от живота маемся.

— Ну, а здесь обращались к доктору?

— Как же, обращались, теперь она Боржом пьет, вода такая. Да что-то ни шута толку.

— А разве доктор не говорил, что Варю можно есть и чего нельзя.

— Говорил, говорил, — сказала Варя, — улыбнувшись, да это с тоски помрешь, — каждый день помнить.

— Что же ты не кушаешь ничего? — сказал испуганно Николай.

— Нет, для меня довольно, — я съем еще сухарь и молока выпью.

— А гусятин? — испуганно сказала Варя.

— Свинына свеженькая, — сказала Липа, — жирненькая, одно сало. Обидишь, батюшка.

— Правда, свинья хорошая, — сказал Николай и прибавил: — а утятин?

— Нет, я и вам серьезно советую не есть того, что вы едите. А я строго придерживаюсь своего режима: утром молоко, в обед протертые, сваренные овощи, белое мясо и какое-нибудь сладкое.

— Протертые овощи? — переспросил Николай.

— Да, сваренные и протертые.

Варя перестала жевать и испуганно смотрела на мужа.

— Это ты напрасно, брат, мудришь, — сказал, помолчав Николай. — Ты так себе здоровье убьешь.

— Как здоровье убую? Ведь ты же сам удивляешься, каким я молодым кажусь.

— Да это что там — молодым... и молодые, брат, на тот свет отправляются. — И потом, сейчас же улыбнувшись, спросил: — Ну, как же ты, скажи на милость, терпишь-то все время?

— Что терплю?

— Да вот, если тебе вдруг захочется, например, свинины пожирнее, или луку с квасом.

— Не захочется, потому что это вредно мне.

Николай улыбнулся, ничего не сказал и только покачал головой. Ели все ужасно много и больше всех Липа, так что даже девочки останавливали ее:

— Бабушка, довольно вам, перестаньте ради Христа.

После холодного кваса, который наливали по целой тарелке, по две, — ели жирные огневые щи, потом утку, сладкий пирог со сливками. Потом всех томила жажда, и они опять принимались за квас. А Варя, наклонив горшочек с маринадом, нацеживала в ложку маринадного уксуса и пила.

— Что вы делаете, Варя! — сказал Андрей Христофорович.

Варя испугалась и уронила ложку на скатерть. Все засмеялись.

— К нечаянности... — сказала Липа.

— Да она уж привыкла к маринаду, — сказал Николай. — Это жажду хорошо унимает. Ты, брат, попробуй, — немножко ничего.

Он подставил свою ложку, выпил, весь сморщившись от кислоты, посмотрел на брата одним глазом, и, улыбнувшись, крикнул. Все смотрели то на него, то на гостя, и улыбались.

Варя ела все и всего по целой тарелке. После этого пила уксус из маринада, а после уксуса Боржом. И опять все рассказывали, как прошлыми Петровками она умерла было от живота.

IV

После обеда Николай повел брата отдохнуть в приготовленную для него комнату.

— Вот окошечко тебе завесили. Варя и кваску поставила на случай все-таки, если захочется.

— У вас как день здесь распределяется? — спросил Андрей Христофорович.

Николай не понял.

— Как распределяется? Что распределяется?..

— Ну, когда вы встаете, пьете чай и т.д.

— Ага! Да никак не распределяется. Как придется. У нас, дорогой, в этом отношении полная свобода. Живем не плохо и стеснять себя незачем. И ты, пожалуйста, не стесняйся. Нынче я вот встал в три часа: собаки разбудили, пошел на двор, посмотрел, а потом захотел чаю, я сказал Варя велеть самовар поставить, а в 9 часов заснули оба опять.

— Ну, я сначала погуляю, а потом полежу с полчаса. А ты?

— Мне надо съездить тут версты за три к больному, отдохай милый, — сказал Николай, мягко улыбнувшись, и ушел, осторожно ступая на носки, как будто Андрей Христофорович уже спал. А потом ходил по всему дому, натыкался на стулья и искал шляпу. Только и слышалось:

— Где же она! Вот чудеса! Провалилась окаянная.

Варя долго прогромыхивала посудой в маленькой комнатке, потом приготавливала чай в столовой.

Липа после обеда ушла на пчельню, где она на 30-градусной жаре караулила и снимала рои.

Когда Николай вернулся, Андрей Христофорович уже не спал и был чем-то расстроен.

— Что ты? — спросил с тревогой Николай.

— Не знаю, как тебе сказать... Я поймал клопа... — сказал Андрей Христофорович.

Николай освобожденно вздохнул.

— Ух, а я было испугался. Что же, кусался? Ах, собака. Нас что-то не трогают.

— Никогда, — подтвердила подошедшая Варя.

— Как не трогают, значит, они есть?

— Да нет, как будто, не видно, — сказал Николай и посмотрел на стены.

— Это они на нового человека, — сказала Варя. — Пойдемте чай пить.

После чаю сидели все на крыльце и смотрели, как гасли вечерние облака на закате и зажигались первые бледные звезды, и говорили.

— Какой воздух хороший, — сказал Андрей Христофорович.

— Воздух? Да, воздух у нас хороший. У нас, милый, все хорошее.

— Что же так сидеть, может быть, яблочка моченого принести, — сказала Варя, которая никогда не могла сидеть с гостями без еды. Андрей Христофорович отказался от моченых яблок.

— Ты для деревни надел бы что-нибудь попроще, а то смотреть на тебя жалко, — сказал Николай, посмотрев на воротнички и манжеты брата. — У нас, милый, тут никто не увидит.

— Да зачем, я всегда так хожу.

— Всегда? Господи! — воскликнула Варя. — Вот мука-то.

— Да, — сказал Николай, — каждый день одеваться, — это с тоски помрешь. Это ты, должно быть за границей захватил.

— Право, мне не приходило в голову, где я захватил... Это так естественно.

— Нет, это не иначе, как оттуда. И сколько, милый, ты исколесил на своем веку.

— Да, я много путешествовал. В прошлом году был в Италии.

— В Италии? — сказала Варя, удивившись.

— Во Франции, Англии...

— В Англии! — сказала Варя, — Господи!

— И как тебе не надоело? — сказал Николай.

— Он вот не любит, — подтвердила Варя. — Мы как к отцу на именины поедем на три дня, так он по дому скучает, ужас!

— Как же это может быть скучно? Посмотреть, как живут другие люди, как там устроена жизнь...

— Ну, что нам на других смотреть...

— Как — чего? Разве не интересно узнать что-нибудь новое?

— Узнавай, не узнавай, все равно всего не узнаешь, — как говаривала Варина бабушка, — сказал Николай.

— Дело вовсе не в том, чтобы все узнать. А в том чтобы приобщиться к иной, более высокой, одухотворенной жизни. Я, например, говорил по телефону за две тысячи верст и испытывал почти религиозное чувство перед могуществом ума человеческого.

— Пошла прочь, шляется тут, — шепотом сказала Варя кому-то. Андрей Христофорович оглянулся.

— Это соседская гусыня повадилась к нам, — ска-

зала Варя. И опять стала слушать, но все время смотрела то на волосы Андрея Христофоровича, то на его костюм.

— Ну, какое же религиозное чувство тут может быть? — сказал Николай, положив ногу на ногу, — ты напрасно это смешиваешь и так уж этим восторгался. Все это только механика, — души в ней нет, души! А что, милый, важнее-то — душа или материя? — И сам же ответил: — Душа! Вот то-то и оно-то. Русская природа, дорогой, всегда душой была сильна. Нам этой механики было не нужно. В ней нет, так сказать, высоты, идеала, а раз этого нет, — нам задаром не нужно, — сказал он, и, запахнув полу, отвернулся, но сейчас же повернулся к брату.

— Ты вот преклоняешься перед машинкой, тебя восхитило то, что за две тысячи верст поговорить мог. А это, голубчик, все внешнее.

— Да что такое — внешнее?

— То, в чем души нет.

— Я, по крайней мере, думаю, что душа там, где есть мысль, которая неустанно работает над усовершенствованием жизни, — сказал Андрей Христофорович.

— Так то дух! — сказал Николай. — Это дух, — повторил он с улыбкой. — Ты не про то говоришь. Но и духа у нас опять-таки больше. Возьми войну: все ведь говорят, что у них там везде машины и машины. А у нас живая сила. А где мысль-то — в машине или в живой силе? — И сам же ответил: — В живой силе! Значит, у нас. Чего же ты, голубчик, не понимаешь тут? — сказал он ласково, дотрагиваясь до колена брата.

— Нет, пойду хоть орешка принесу, а то скучно так, — сказала Варя. Она ушла, братья замолчали. Ночь была тихая, теплая, с бродившим за рекой туманом, Андрею Христофоровичу не хотелось идти в комнаты, где, он помнил, были клопы, которые пронюхали почему-то в нем нового человека.

Прямо перед домом было огромное пространство, сливавшееся с ржаными полями и уходившее в безграничную даль. Но все его досадно загораживали выросшие целой семьей какие-то погребки, свинятники, ку-

рятники, расположившиеся перед окнами в самых неожиданных комбинациях.

— Что, на наше хозяйство смотришь? — сказал Николай. — Удобно, все на виду. Это Варина мысль.

Андрей Христофорович и сам так думал.

— Ну, что ты тут поделываешь, когда нет службы? — спросил он.

— Мало ли что, — сказал Николай.

— Значит, дела много. А я думал, что тебе все-таки скучновато здесь.

— Нет, — сказал Николай: — не скучно. — И прибавил:

— Чего ж дома скучать, — дома не скучно.

— Ну, а все-таки, что поделываешь?

— Да как сказать... Мало ли что. Весной, еще с февраля, семена выписываем и в ящиках сеем.

— Какие семена?

— Огурцы да капусту.

— Потом?

— Потом... ну, там сенокос.

— Подожди, как сенокос? Сенокос в июне, а от февраля до июня что?

— Ну, мало ли что... сразу так трудно сообразить... всякие текущие дела... Да! А попечительство-то! Как же! Попечительство, комитет, беженцы, — вдруг вспомнил Николай: — совсем из головы выскочило. У нас, голубчик, дела, — сколько хочешь... У нас... Теперь, так сказать, на всех парах. Как же, время такое... Да. И ведь дело-то такое, что... вдохновение нужно.

— Сколько же ты тратишь на него времени?

— На кого?

— Фу ты, да на это дело.

— Ну, как сколько? Разве я считаю? Трачу и только. Да что тебя так интересуется это?

— Просто хотелось уяснить, чем у тебя здесь заполнен день, — сказал Андрей Христофорович.

— Ну, чего там уяснять.

— За литературой перестали следить?

— Нет, слежу... — нерешительно сказал Николай.

— Много читаешь? Мне вот совсем не остается времени для чтения. Каждый клочок дня занят, занят. Столица все-таки делает то, что все время чувствуешь

себя натянутой струной. Приучает работать, заставляет проходить европейскую школу. Вот теперь и вся Русь должна натянуться, как струна от напряжения. Нужно прежде всего нам научиться работать. Научиться не тратить даром ни одной минуты, чтобы наверстать упущенное время. А времени этого — целые века.

— А что ж, не наверстаем, что ли? — сказал Николай: — придет вдохновение и наверстаем.

— Нате орешка, — сказала Варя.

— Нет, спасибо. Мне не совсем нравится это слово, — сказал Андрей Христофорович: — зачем ждать вдохновения непременно?

— А без этого, голубчик, и делать не стоит, — сказал Николай, махнув рукой.

— Так его и ждать?

— Так и ждать!

— А если оно не придет? Да и откуда оно возьмется?

— Из патриотизма. Хоть в самый последний момент, а придет.

— В недостатке патриотизма нас никто упрекнуть не может... — сказал Андрей Христофорович.

— Да, — сказал Николай, — уж в этом, милый, мы...

— Но нужно больше сознательности, — продолжал Андрей Христофорович, ударяя ребром одной ладони по другой, — больше культурности. Культура — это все.

— А душу-то, милый, забываешь опять, — сказал ласково Николай.

— Сейчас на кухню солдатка Лизавета приходила, — сказала Варя, — говорит, мужа ее ранили. И когда это кончится, Господи! А потом говорит, будто крепость какую-то взяли и всю дочиста взорвали и с ней сто тысяч человек.

— Кто у кого взял?

— Не спросила. Пойдемте ужинать.

— Вот поговорили, а теперь хорошо и закусить, — сказал Николай, ласково потрепав брата по плечу и провожая его первым в дверь.

V

Андрей Христофорович испытывал странное чувство, живя у брата.

Здесь жили без всякого напряжения воли. Жизнь никуда не направляли, ничего из нее не делали, она просто шла сама. Жили без всяких усилий, без борьбы за удобства, за красоту жизни, за ее длительность.

Если приходили болезни, они не искали причины их и не удаляли этих причин, а подчинялись, как необходимости, уклоняться от которой даже не совсем и хорошо.

Зубы у них портились и выпадали в сорок лет. Они их не лечили. Были почему-то убеждены, что в этом есть что-то нехорошее, легкомысленное.

”Ей уже четвертый десяток, матушка, пошел, — говорила часто про кого-нибудь Липа, — а она все зубки свои чистит”.

— Охо-хо-хо, — вздыхал кто-нибудь: — а ведь уж мать четверых детей.

Если у них заболели зубы, они обвязывали всю голову шерстяными платками, лезли на стену, стонали по ночам и прикладывали по совету Липы к локтю хрен. А сама Липа ходила следом и успокаивала:

— Пройдет, Бог даст. Ему бы только выболеть свое. Как выболит, так и конец. Хорошо бы индюшиный жир к пятке прикладывать.

— Против природы не пойдешь, — говорил, идя следом, Николай.

— Как не пойдешь? — сказал один раз Андрей Христофорович, возражая на подобное замечание, — что ты вздор говоришь? Вот мне пятьдесят лет, а у меня все зубы целы и здоровы оттого, что я слежу за ними.

У Николая на лице появилась добродушно-лукавая улыбка.

— А в сто лет у тебя тоже зубы будут целы? Ага! То-то, брат; два века не проживешь. От смерти, батюшка, не отрекайся, — сказал он серьезно-ласково и повторил таинственно: — не отрекайся... — И в лице его, когда он говорил о смерти, появилась тихая сосредоточенность, казалось, что от его лица исходит свет.

— Смерть, это такое дело, милый...

Николай, не смотря на свои сорок четыре года, был совсем старик, с животом, с мягкими без мускулов руками, без зубов.

И, когда Андрей Христофорович по утрам обтирался холодной водой или делал гимнастику, Николай говорил:

— Неужели так каждый день?

— Каждый день, — говорил Андрей Христофорович: — А что?

— Господи! — удивилась Липа.

— И зачем вы себя так мучаете? — говорила Варя, — смотреть на вас жалко.

— Правда, напрасно, брат, ты все это выдумываешь. Ты бы хоть пропускал иногда по одному дню, — говорил Николай, который почему-то никак не мог примириться с тем, что брат регулярно каждый день делает обтирание и гимнастику. Ему так же, как и Варе, казалось это мучением. И в то же время он несколько не роптал и не ужасался, когда его будили ночью и везли на телеге по мерзлой земле напутствовать умирающего, или приходилось с опасностью для жизни переезжать весной реку по вздувшемуся льду. Если того требовала служба, была необходимость, он мог спать в сутки два часа и оставаться бодрым. Но если в праздник после обеда он добирался до постели, то спал до вечера или до другого дня. И когда его будили Липа, Варя и девочки, он поднимался с красными запущенными глазами, ничего не понимал и только мычал, пока его не отпаивали квасом.

Для Николая и для всех них было мучением, испытанием — делать что-нибудь к сроку или в определенное время.

День у них проходил без всякого определенного порядка: один вставал в шесть часов, другой в девять. Дети, которых родителям было жалко будить, спали часто до двенадцати часов.

Обедали то в два часа дня, то в одиннадцать утра. А то кто-нибудь подойдет перед самым обедом к буфету, увидит там жареную курицу и, не удержавшись, приберет ее всю, а там отказывается от обеда и говорит, что у него аппетита нет.

А к вечернему чаю, глядишь, тащит себе тарелку холодных щей.

Потом кто-нибудь после вечернего чаю прикурнет на диване, и смотришь, — промахнул до самого ужина.

— Что это Варя спит? — спросил Андрей Христофорович.

— Отдохнуть легла да и заспалась, — скажет Николай.

А когда все уже легли, она бродит ночью по дому, натываясь на стулья, и бормочет, что наставили всего на дороге. Утром же по обыкновению жалуется на бессонницу и удивляется, откуда она к ней привязалась.

— Сушеной мяты под подушку хорошо класть, когда сна нет, — скажет Липа.

Памяти ни у кого не было. Все все забывали, числа путали, помнили хорошо только посты, именины и праздники.

Если нужно было что-нибудь купить в городе, то писали все на записку с вечера и весь платок завязывался узелками, но Николай каждый раз ухитрялся платок оставить дома, а записку потерять.

Один раз он собрался на почту. Андрей Христофорович попросил его отправить срочное заказное письмо.

— Пожалуйста, не забудь, — сказал Андрей Христофорович.

— Ну вот, что ты, — слава Богу, голова на плечах, а не котел. — А через три дня полез к себе в карман и выудил оттуда какой-то засаленный конверт.

— Что такое? — бормотал он в недоумении. — Да еще как будто на твой почерк похоже, Андрей. — И тут же его осенило. Он хлопнул себя изо всей силы по лбу.

— Братец ты мой, да ведь это твое! Что же это? От роду со мной такой истории не было.

Конверт был уже настолько грязен и измусолен, что пришлось писать другое письмо и еще радоваться, что он не отправил письмо в таком виде.

Перед домом было неудобное место, кочкарник — и никому в голову не приходило раскопать кочки.

— Что же ты? — спрашивал Андрей Христофорович.

— А что?

— Да кочки-то, раскопал бы их.

— Тут неудобное место, — говорил Николай. — Да у нас и без того много. Вот посмотри-ка сюда. Ступай, зажмурившись — ни одной кочки нет.

— А здесь есть. Ведь это некрасиво.

— А зачем тебе туда смотреть, мало тебе другого места?

— Не ищи красоты, батюшка, а ищи доброты, — говорила ласково Липа. — Так-то!

— Нам этого не нужно, — говорил Николай: — у нас и без того... А что до красоты, то опять тебя внешнее прельщает.

— Ну, вот с тобой спорить нужно. Не внешнее, а внутреннее. Чувство красоты — глубоко внутреннее.

— Что ты, Бог с тобой, это тебя иностранцы наговорили. Какое же это внутреннее?.. Тебя свое не прельщает, вот ты к иностранцам и едешь, поддельное ихнее глотаешь.

— Господи, как будто у нас своего мало! — сказала Варя.

— Во всех этих прикрасах, милый, толку мало. Природа, уж если она природа — красивее ее не сделаешь... А натуральнее русской природы нету, хоть ты весь свет обыщи.

— Да ведь ты не видел.

— И видеть не желаю, — сказал Николай.

Николай помолчал и прибавил:

— Все от своих коренных заветов подальше уйти хотим, а это-то и плохо. — И он кротко и печально покачал головой.

— Да в чем они, эти заветы? Отдай, пожалуйста себе хоть раз ясный отчет, — сказал Андрей Христофорович.

— Как в чем? — Да мало ли в чем... — сказал Николай.

И никто ни разу не попросил Андрея Христофоровича рассказать о чужих краях, о его путешествиях. Только один раз племянница спросила его, правда ли — в Италии на крышах живут.

— А тебе зачем это понадобилось? — сказала Липа, — себе на крышу хочешь залезть, бесстыдница.

— Слушай, что бабушка говорит, — сказала Варя

и добавила: — И куда нелегкая носит, скоро на стены ползут!

— Ну, а как живет Авенир? — спросил один раз Андрей Христофорович, соскучившись у Николая.

— Авенир живет хорошо. Он, брат, все такой же пантеист. Живет себе на своих ста десятинах, ловит со своими молодцами рыбу сетями.

— А сколько у него детей?

— Восемь сынов.

— Как много. Ему, должно быть, трудно с ними.

— Нет, отчего же трудно... — на детей роптать не хорошо, это дар... И все он такой же горячий, проворный; Вот уж именно — вольный сын степей. И по-прежнему спорщик, умная голова.

— У него слишком много было самоуверенности всегда, — сказал Андрей Христофорович. — Я помню, как он разбивал Канта, не читав ни одной его страницы.

— Да, ум у него шустрый, это правда, — сказал Николай, покачав опущенной над коленями головой и вдруг поднять ее. — Вот брат, настоящий человек, — сказал он, глядя на брата.

— То есть, как настоящий?.. — спросил Андрей Христофорович, почувствовав какой-то укол, точно в этом была косвенная мысль о том, что сам Андрей Христофорович не настоящий... — Как настоящий? — повторил он.

— Да так, — сказал Николай. — Вот ты говорил, что ценишь тех людей, у которых мысль там постоянно работает. Вот тебе Авенир. Уж у него, милый, мысль ни минуты без работы не останется.

— Может быть, — сказал Андрей Христофорович, — но вопрос — над чем и как.

— Мало ли, над чем? — Сказал Николай, — над чем хочешь!

— А местечко у него хорошее?

— Ничего, но все-таки не то, что у нас. И потом, брат, — продолжал Николай, — это человек — весь без обмана.

— Как без обмана?

— Ну, как тебе сказать... Ничего у него внешнего. Он, милый, как природа, никаких у него ухищрений, он любит, чтобы все, как есть. Вот уж именно от рождения пантеист. И не какой-нибудь языческий, а твердый христианин и сын своей земли. Он придет, как получит мое письмо, я ему послал, когда твое заказное на почту возил. Он как только узнает, что ты уже здесь, так и прискачет.

VI

И правда: один раз, когда все сидели в саду за чаем, со стороны деревни послышался отчаянный лай собаки и дребезжанье колес. Видно было, как на двор влетела взмыленная лошадь, запряженная в тележку без рессор. Сидевший в ней человек в мягком картузе и короткой сборчатой поддевке на крючках как-то особенно проворно соскочил на землю, продернул и привязал возжи за кольцо под навесом. А сам, отряхнув полы, посмотрел на свои сапоги, потом вопросительно на окна дома.

— Да ведь это Авенир! — сказал радостно Николай. И как показалось Андрею Христофоровичу, более радостно, чем при его приезде. — Я говорил, что прискачет... Ну, и молодец, вот молодец!

Обнялись.

— Европейец, европейец! — сказал Авенир, поцеловав брата; он отступил на шаг со снятым картузом и оглядывал Андрея Христофоровича.

— Ну, брат, ты того, совсем, как сказать...

— Что? — почти с тревогой спросил Андрей Христофорович. Но Авенир ничего не ответил. Он сейчас же забыл об этом и стал рассказывать, как он ехал, что с ним случилось. Как будто он только вчера видел брата. И только уже после он обратился к Андрею Христофоровичу и сказал:

— А помнишь гимназию? Как, бывало, спорили-то? Час, два ночи, а мы все, бывало, спорим. Помню, "на душе" всех побивал. Насчет чего другого, туда-сюда, а уж как о душе пойдет спор, как пойду всех чистить, — бывало, сам не знаю, как остановиться. Канта разбивал, — сказал Авенир, ударив кулаком по колену, и обвел загоревшимися глазами братьев.

Он сидел, широко расставив колени и опершись на них руками с согнутыми врозь локтями.

Небольшого роста, постоянно воспаляющийся, он производил впечатление человека, в котором кипит неугасаемая энергия. Он даже не мог долго сидеть на месте и постоянно вскакивал, шагал, повертывался, так что веером раздувались его полы. У него была еще привычка часто одной рукой сзади приглаживать волосы, которые завивались у него на концах.

Варя с его приездом повеселела и даже оживилась. Она часто с ласковой улыбкой смотрела на него.

Целый вечер говорили, потом спорили о душе и о живой силе. Десять раз Авенир говорил Андрею Христофоровичу:

— Ну-ка, Расскажи, брат, как вы там, европейцы, живете, — но с первого же слова перебивал брата и пускался рассказывать про себя.

Было уже 10 часов вечера, потом 11 и 12, а они все еще говорили, вернее говорил один Авенир. Говорили о политике, о войне, о воздухоплавании, Авенир нигде не отставал и никогда не сдавался, не слушал возражений, ходил по головам.

Он имел такой вид, как будто Андрей Христофорович сидел здесь, в глуши, ничего не знает, а он, Авенир, только что приехал с места, где он все видел и изучил.

— Наша, брат, артиллерия самая лучшая в мире. В три раза лучше немецкой, — говорил он, если разговор заходил о войне.

— А ты откуда знаешь? — спросил Андрей Христофорович, которому хоть раз хотелось найти основания их суждений.

— Как, откуда? Мало ли откуда? Это даже турки признают. А ты, значит, не патриот?

— Кто же тебе это сказал?

— По вопросу, брат, видно, и вообще по холодности, в тебе нет подъема. Это нехорошо, брат, нехорошо.

— Да постой, голова с мозгом!..

— Чего же мне стоять? Нет, брат, у тебя холодное рассудочное отношение. Это не то. Что уж там...

— Подожди же! — сказал в отчаянии Андрей Христофорович.

— Его вот механика смутила, — сказал Никлай, обращаясь к Авениру и глядя на Андрея Христофоровича, как фельдшер на больного.

— Плюй, голубчик на механику. Нам она не нужна! Нам огонь нужен. Вот! — сказал Авенир, крепко сжав кулак, как будто у него там был огонь.

— Вот и я то же говорю, — сказал Николай, посмотрев на кулак.

— Мы слишком много говорим, — сказал Андрей Христофорович, — слишком много!..

— Где же много, — сказал Авенир, — ты бы послушал, как мы...

— Очень много — повторил Андрей Христофорович. — В то время, как наши враги упорно и определенно делают дело, мы только говорим и подозреваем всех, кто не очень восторгается этими разговорами.

— Нет, брат, у тебя холодность. А про разговоры ты напрасно: не говорить нельзя. В слове — мысль, — в мысли — дело! И теперь мы уж совсем не те, что были раньше; ты это особенно заметь, — сказал Авенир, поднимая палец. И повторил:

— Особенно.

— А какие же? — спросил Андрей Христофорович.

— Ну, вот, ты даже спрашиваешь, какие. В тебе — скептицизм!

— И ответил:

— Совсем, брат, другие.

— Вот и я то же говорю ему, — сказал Николай, запахивая свою масляную полу.

— Совсем другие, — повторил, вдруг повернувшись, опять Авенир. — Было время, да прошло.

— Может, ужинать пойдете, — сказала Варя, которая уже томилась оттого, что долго не ели.

— Ох, и спорили мы в гимназии! Вот было веселое время, — сказал Авенир, когда пошли ужинать.

VII

— Ну, что же, поедем теперь к нам, — сказал на третий день Авенир.

— Хорошо, а как ехать?

— Со мной, на моих лошадях и пойдём, чем тебе кружить полтора ста верст по железной дороге. Я, брат,

всегда на лошадях езжу, люблю простоту, а не механику.

— А сколько до тебя на лошадях? — спросил Андрей Христофорович.

— Восемьдесят верст.

— Да, на лошадях лучше, — сказал Николай. — А то там каждый раз изволь поспевать во время.

— На минуту опоздал и весь день пропал к черту, — сказал Авенир.

— И звонки эти дурацкие, — сказал Николай.

Пошли посмотреть экипаж. Это была тележка без рессор, тарантас, как ее называл Авенир... Сиденье у этого тарантаса была такое низкое, что колени у сидящих на нем подходили к самому подбородку. Весь тарантас был забрызган засохшей грязью.

— Как же на такой штуке 80 верст ехать? — сказал Андрей Христофорович.

— А что? — спросил Авенир и живо вскочил в тарантас.

— Как, *что*? Сиденье очень низко.

— Ну, уж это так делается, кузнец при мне делал другим.

— Как *так* делается, если это не удобно?

— Нет, это правда, Андрей, — сказал Николай, — в тарантасах сиденье высокое не делается. У кого ни посмотри.

— Ну, брат, — сказал Авенир (он даже опечалился), — тебя, брат, Европа, я вижу, окончательно испортила.

— Чем испортила?

— Об удобствах брэнного тела заботишься очень.

— Нет, я все-таки поеду по железной дороге, да и грязь, я вижу, порядочная.

— На колеса смотришь? Это еще с Николина дня. Тогда грязь была. В город ездил. А теперь, за две недели высохло — лучше не надо.

— У нас, милый, места хорошие, — сказал Николай.

— Знаю, а дождь пойдет, так и не вылезешь.

— Ну, дождь не всегда идет. А уж ты хочешь против стихии идти...

Кончили на том, что Авенир подвязал потуже живот, перецеловался со всеми, похлопал себя по карма-

нам и покати́л один. Андрей Христофорович поехал по железной дороге на другой день. Когда он приехал на станцию, Авенир сам выехал за ним в том же тарантасе.

— У нас, брат, отдохнешь. У нас воздух здоровый, не то, что у Николая. У тебя, должно быть, от этой учебы да от книг голова-то порядком засорилась... ну, да, — толкуй там, как будто я не знаю. Это ты там закис, вот и не замечаешь. Прочищай тут себе на здоровье. Я тебе душевно рад и скоро от себя не выпущу. И брось ты, пожалуйста, все это. "Живи просто, — проживешь лет со сто", — как говаривал Катин де-душка. Живи откровенно. Все, брат, это чушь.

— Как *живи откровенно*? Что — *чушь*? — спросил озадаченный Андрей Христофорович.

— Все! — сказал Авенир. — Вот моя хижина, — прибавил он с широким жестом, когда подъехали к небольшому домику в сирени, перед которым висели на частоколе сети.

— Входи... Пригнись, пригнись! — поспешно крикнул он, — а то лоб расшибешь.

— Как это вы-то себе тут все лбы не поразобьете, — сказал Андрей Христофорович.

— Я и то частенько себе шишки сажаю. А вот мои сыновья, — сказал Авенир, держа руку в бок и тыкая то в одного, то в другого: — вот Николай, вот Павел, вот Петр... ну, после познакомишься, сразу все равно не запомнишь. — Катя! — крикнул он, повернувшись к притворенной двери.

Сыновей, и правда, трудно было запомнить всех. Их было восемь. Все удивительно здоровые малые. Четверо старших были выше отца на целую голову. Но, в противоположность ему, несколько сумрачные, глядевшие исподлобья. Все широкие в плечах, с толстыми носами и губами, они так прочно были сшиты и кулаки у них были так велики, что около них было даже страшно. Они учились в губернском городе и летом отдыхали у отца.

Вышла Катя, крепкая, в меру полная и красивая еще женщина с родинкой на щеке, очевидно, смешливая. Она, забывшись, вышла в грязном фартуке и, вдруг, увидев его на себе, вскрикнула:

— Ах, матушки! — засмеялась и убежала.

— Врасплох захватил, — сказал Авенир, так же как Николай. Все комнаты, с низенькими потолками, оклеенными бумагой, были завешаны сетями — рыболовными, перепелиными, западнями для мелких птиц, насаженными на дужки из ивовых прутьев, вентерями для рыбы. А над постелями — ружья, крылья убитых птиц — все развешаны целыми группами. И везде валялись на окнах картонные пыжи, машинки для закручивания патронов.

Нравы были несколько грубоваты. В особенности у Петра, который травил деревенских собак и из озорства ел сырую рыбу.

Больше всех Андрею Христофоровичу понравилась Катя. Она была всегда ясная, приветливая и только необычайно смешливая, что впрочем удивительно шло к ней. Смех настигал ее, как стихия, и она уже ничем не могла сдержать его, убегала в спальню, хохотала там до слез, до колик в боку.

VIII

На первый взгляд жизнь здесь поражала своею неустойчивой энергией. С самого раннего утра, едва только солнце встало над молочно-туманными лугами и осветило золотой крест деревенской колокольни, в сенях уже захлопали двери и то там, то здесь раздавался голос Авенира.

— Захватил весло? Бери удочки... да не нужно эту чертову кривую! — Или: — Что же ты крыло-то не зачинил, тюря!.. Собирай, собирай, Господи, благослови! К обеду приедем.

И наступила тишина, как будто уехала толпа разбойников или людоедов. А Катя готовила обед и тихо ходила то в кухню, то в столовую.

Часов в 12 приехали с рыбной ловли и Авенир послал младшего сына за Андреем Христофоровичем. Он должен был непременно идти посмотреть улов.

Связанные вместе две лодки были причалены к берегу и привязаны одной цепью за столб с кольцом. На одной из них сидел Авенир в широкой соломенной шляпе в рубашке с расстегнутым воротом. Рукава у него были засучены выше локтя, и он, опустив в садок обе красные руки, водил ими по дну.

— Иди сюда, Андрей. Смотри, вот улов!

— Да я вижу отсюда.

— Нет, ты сюда пойдй. Вот гусы! Хорош?

И он на обеих ладонях разложил огромного карпа, который, лежа, загибал то хвост, то голову.

А сыновья — огромные, загорелые, тоже с засученными рукавами и вздувающимися мускулами под мокрой прилипшей рубашкой, мрачно мыли в реке сети и развешивали их на шестках вдоль берега.

Потом отбирали рыбу на обед. Авенир, отгоняя мух и отирая сухим местом руки пот со лба, только покрикивал:

— Клади большого! Клади его, шельмеца. Так! Стой! Это на жаркое. Доставай теперь налима... Смотри, Андрей, — князь мира грядет.

Андрей Христофорович смотрел. Из садка показывалась огромная коричневато-зеленая голова и скользкое туловище чудовища.

И князя мира опускали головой вниз в мешок.

— Это на уху. Да всыпь еще ершей, что ли... Неси матери.

Потом долго купались. При чем сыновья плавали молча или лежали под солнцем на воде, раскорячившись, как лягушки.

А полуденное солнце благодатно жгло. Нежась и чуть колыхаясь глянцевой листвой, стояла на зеленом берегу дубовая роцца. Звонкие голоса носились над рекой, отдаваясь где-то у другого обрывистого известкового берега, на который было больно смотреть от солнца. И в воздухе, над дальними лесами, стояла синеватая муть — признак долгой хорошей погоды.

Купались пятнадцать минут, двадцать — и все не думали еще выходить.

— Довольно, пойдмте, — говорил Андрей Христофорович, — вредно так долго сидеть в воде.

— Ну, чего там вредно. Мы, брат, часа по два другой раз сидим, — кричал Авенир. Это только на пользу.

И он все окунался на одном месте с головой, как утка, и каждую минуту кричал:

— Боже, как хорошо! Господи, вот чудо-то! Ну, еще раз. Ого-го-го!

И весь он был, как леший — мохнатый, в шерсти.

Тело у него было коричневое, а шея и кисти рук совсем черные.

— Лезь, Андрей, наплюй на докторов, все это, брат, ерунда.

Наконец Авенир вышел из воды, оделся, сля на берегу, и они пошли по узенькой тропинке в гору, к селу, мимо огородов, где на полуденном знойном солнце желтели за частоколами подсолнечники и жужжали пчелы. А сыновья все еще купались.

— Я, брат, детей не хочу стеснять и сам этого терпеть не могу, — говорил дорогой Авенир. Он обернулся, посмотрел на реку и крикнул:

— Не отставай, не отставай, Петр. Чище работай. Реже ногами. Ого-го-го! Эх, рано вылез. Ну, делать нечего, — сказал он. — Огурец зацветает. Ну, и лето. Благодать Божия. А земля-то: нигде такой земли нет. Что ни посади, все вырастет. Захочешь дынь — дыни будут расти, винограду — и виноград попрет.

— Ты, стало быть, занимаешься этим?

— А как же, — сказал Авенир.

— Что же у тебя нынче есть?

— Огурцы да капуста, нынче только, а если бы захотеть... Стоит только рукой шевельнуть.

Дома был готов обед. Ели здесь еще дольше и больше, чем у Николая. Сыновья молча, а отец говорил, не переставая:

— В три часа выехали нынче. Заря была — чудо! Поедем, Андрей, как-нибудь с нами. Катя и то ездит, она молодец.

Свежая, крепкая Катя улыбалась.

— Я люблю это, — сказала она, — если бы только меня зубы не мучили;

— А вас разве мучают? — спросил Андрей Христофорович.

— Зубы и зубы! — сказал Авенир, махнув рукой. — Мы все от зубов на стену лезем. Ешь, пожалуйста, капусту, Андрей, ешь, это, брат, удивительно полезная вещь. У меня, брат, такая система, чтобы все было по-настоящему, т.е. по-простому. Вот Николай тоже в неметчину ударился, — воды какие-то пьет. Видел?

Только под конец обеда заметили, что Петра за столом нет, да и тетка Варвара исчезла куда-то.

— А где же Петр? — спросил Авенир.

— Он закупался, его бабушка рассолом поит, — сказал Павел, наливая себе вторую тарелку квасу.

— Редкий человек тетка Варвара, — сказал Авенир. — Без нее бы плохо было.

— А что он чувствует? — спросил Андрей Христофорович про Петра.

— Да его мутит, — сказал Павел, — как до дома дошел, так и начало мутить.

— Ну, иди теперь, отдыхай себе, у нас тут никто не помешает. У нас в этом отношении... Ну вот, у тебя тут прохладно — благодать! Я тоже прилягу. — Он ушел на цыпочках.

Андрей Христофорович постоял, вынул часы, положил на стол, потом поискал что-нибудь почитать, но ничего не нашел и прилег на постель.

Через четверть часа дверь осторожно притворилась и просунулась голова Авенира.

— Андрей, ты спишь?

— Нет еще.

— Мне что-то не спится. Вертелся, вертелся... давай поговорим.

— Да ведь ты в три часа встал, лучше отдохнул бы, — сказал Андрей Христофорович с досадой.

— Ну, чего там, перед ужином отдохну, если захочется.

— Я вот сейчас искал у тебя какой-нибудь книги и ничего не нашел; это нехорошо, что молодежь у тебя не привыкает к мышлению.

— Ну, мозги-то засорить еще успеют. Пусть лучше поживут пока. Зато, брат, дух жив!

— Да! Чтобы не забыть, — сказал Андрей Христофорович, — нельзя ли послать в город, мне нужно лекарство заказать.

— Сколько угодно. Павел живо скатает. И ты, пожалуйста, не стесняйся, как что нужно, — говори. Я очень рад.

Перед вечером Авенир повел брата на курган показывать красивый вид.

— Пойдем, пойдем. Вот вы там все по Швейцариям ездите, а своего родного не замечаете. А оно лучше всех.

— Что же, в город поехали? — спросил Андрей Христофорович.

— Ах, братец ты мой, из ума вон! Где Павел? — спросил Авенир, оглянувшись на сыновей, которые молча следовали за ними, — в город надо съездить.

— Он от живота катается, — сказал Николай.

По дороге на курган Авенир вспомнил почему-то что он был большой любитель театра.

— Я, брат, всем интересуюсь. Ты, небось, думаешь, что мы тут живем в глуши и ни бельмеса не смыслим. Ну, кто кого теперь в Малом играет? Я уж что-то всех перезабыл.

— Садовская — бытовых комических старух, — сказал Андрей Христофорович.

— Бытовых комических старух, — повторил Авенир, — так, знаю.

— Ермолова — драматическая.

— Драматическая? Так.

— Ну, Рыбаков играет стариков, конечно.

— Стариков? Да, скажи, пожалуйста, Чацкого кто играет?

— Чацкого недавно играл Яковлев.

— Ну, довольно, а то перезабуду. Вот и курган. Закат отсюда как виден. Вот картина! А то ваши художники что-то, говорят, завираться стали. Становись сюда, отсюда виднее, — говорит Авенир, втаскивая брата за рукав к себе, так что тот от неожиданности едва не упал.

— Оглянись кругом, какова высота. Что, брат?.. На реку-то глянь, на реку! Ручейком отсюда кажется. Вот отсюда бы читать стихи. Все эти актеры ваши дрянь! Нужно что-нибудь могущественное. Вот стать бы сюда, а слушатели там, где река.

И добавил:

— Лучше наших мест нет. Один простор чего стоит. Конца-краю не видать.

— Ну, милый, одним простором не проживешь. Нужна работа, а не рассуждения.

— Да над чем работать-то?

— Как над чем? — сказал ошеломленный Андрей Христофорович: — теперь и ты спрашиваешь, над чем работать. И, знаешь, я в таком случае скажу, над чем

вам нужно работать: над тем, чтобы создать в себе потребности культурного человека и прежде всего потребность знания и деятельности. Это — первая ступень.

— Ну, от добра добра не ищут, — как говаривал Катин дедушка, — сказал Авенир.

— Какое же, милый, тут добро. У вас какая-то странная жизнь, нет никакой определенной деятельности, никаких задач и; соответственно с этим, — никакой дисциплины жизни, никакой определенности и устроенности. Я привык к западу и мне странно сейчас видеть вашу жизнь. Ужасная первобытность и... и извини меня, некультурность жизни. Но в то же время нет никакой потребности в знании, даже любопытства нет. Я пол-Европы объехал и никто даже не заикнулся расспросить меня, что и как там. А все отчего? — От самоуверенной косности. Ты не обижайся на меня, но мне захотелось наконец высказаться.

— Ну, за что обижаться, Бог с тобой, — горячо сказал Авенир.

— Ты живешь тут и ничего другого не видишь, и не видел, как живут другие люди, а мне, мне дико смотреть на вашу жизнь. Все эти две недели, какие я у вас живу, мы, не переставая, говорим, а, между тем, я не могу добиться пустяка, — послать в город за лекарством.

— Завтра пошлем, Андрей, ей Богу пошлем. Это вот у Павла некстати живот заболел.

— Да не в том дело, что ты *завтра* пошлешь, — сказал Андрей Христофорович. — Я говорю сейчас о принципах. Но самое главное — у вас нет ни малейшего стремления к улучшению жизни, к отысканию каких-нибудь других форм, усовершенствований ее. И все это от страшной самоуверенности и от полного отсутствия интереса к иной, чем ваша, жизнь. Вы не верите ни знаниям, ничему. Я вот приехал сюда, слава Богу, — человек образованный, много видел на своем веку, много знаю. А вы не верите мне, не доверяете моим знаниям, на мои потребности смотрите, как на чудачества. И все время только отстаиваете свое. У вас даже не зародилось ни на одну минуту сомнения в себе, в правильности своей жизни, своих знаний и мнений. И все-то у вас лучше, чем у других.

— Сядь, сядь сюда на камешек, — сказал Авенир.

— Спасибо, я не хочу. Ведь все-таки я имел бы, кажется, право на некоторый авторитет, наконец, — просто на доверие. А ты постоянно говоришь со мной так, как будто я приехал из какого-нибудь Белева. Нельзя так махать рукой на чужое и хвалить только свое. Нужно хоть немного самокритики. Страшно опасно — хвалить только свое, тем более, что хвалить-то пока, право, нечего.

— Верно! Это, брат, верно, — сказал Авенир, вздохнув.

— Ну, вот, хорошо, что ты хоть сам сознаешь. У нас не ценятся ни знания, ни культурная работа. У нас принято верить только в одну живую силу, да в лихость натуры. На них возлагаются все надежды и только на них. А все остальное презирается и изгоняется. И оттого у нас всегда было и будет только торжество грубой, некультурной силы. Ты знаешь, я, профессор старейшего в России университета, приехал сюда, к вам — и у меня такое чувство, как будто у меня нет права на существование. Ты ни разу, положительно ни разу ни в чем со мной не согласился, даже не слушаешь, что я говорю. А подрядчика, мужика, ты вчера слушал со вниманием.

— Жулик, мерзавец, — сказал Авенир. — Он 40 тысяч на постройке тут на одной награбил. Его давно пора в арестантские роты.

— Ну вот, а у тебя к нему доля какого-то уважения есть.

— Ну, что ты, какое уважение, — сказал Авенир. Потом, помолчав и покачав головой, прибавил:

— А все-таки умная голова. Это уж не учеба какая-нибудь, а сама природа. Без ухищрений этих. Нет, ты напрасно, Андрей, думаешь, что я тебя не слушаю, не ценю, я, брат...

— Где же ты слушаешь? Я вот вам все твержу о гигиене, о питании, а вы ни разу не обратили даже внимания, а между тем только и делаете, что *катаетесь* от живота да лезете от зубов на стены.

— Это верно, животы всех мучают, — сказал Авенир. — Животы и зубы. За это, брат, спасибо тебе. Я люблю откровенность, потому что сам — человек откровенный.

Он встал и крепко пожал брату руку.

— Ты знаешь, когда оглянешься кругом, то каждый уголок кричит об одном: о свете, дисциплине, о культуре.

Авенир кивнул было головой, но при последнем слове поморщился.

— Что это она далась тебе право...

— Кто она?

— Да вот культура эта. Не очень-то нам нужно это... искусственное...

— А что же нам нужно?

— Душа, — вот, что.

IX

Уже давно прошел тот срок, который Андрей Христович назначил себе для того, чтобы погостить у братьев. Каждый день он просил отвезти его на станцию и каждый день отъезд почему-нибудь откладывался.

То лошадей не было, то экипаж, как сломали, так и не собрались починить. То Авенир забывал малому сказать, чтобы он пригнал из табуна лошадей. И только восклицал:

— Ах, братец ты мой! Как же это я забыл!

Несмотря на живость характера, он так же все забывал, как и Николай.

И все у них было так же, как у Николая. Так же, как и там, — говорили не своими словами, а пословицами и поговорками. Были те же приметы, те же средства от всех болезней. Там ими пользовалась всех Липа, а здесь тетка Варвара.

— Да что вы, часто бываете друг у друга, что ли? — спросил Андрей Христович, думая найти в этом причину такого единства.

— Пять лет друг друга не видели! Когда Катиного дедушку хоронили, — с тех самых пор, — сказал Авенир, — а что?

— Так, пришло в голову... И, пожалуйста, завтра дай мне лошадей.

— Все-таки завтра?

— Что значит "все-таки", когда у уж неделю об этом прошу.

— Не выйдет завтра, — сказал Авенир.

— Отчего? — спросил испуганно Андрей Христофорович.

— Тарантас сломан. Я говорил Николаю отослать его в кузницу, а он сказал Павлу, тот и забыл. Пойдем-ка обедать.

Их нельзя было назвать ленивыми. Все они, начиная с отца, кончая сыновьями, могли спать два часа в сутки, тащить лодки по двадцати верст на бичеве. Или без отдыха возили окно в сарай. И было странно, откуда у этих людей столько силы.

А то вдруг по целым дням сидели или лежали на речке, жарясь под солнцем и ровно ничего не делая. Или спали так, что нельзя было добудиться никого ни к чаю, ни к обеду. Тут можно было около них кричать, таскать их за ноги, в особенности Петра.

Дом похож был на какую-то походную палатку, где не жили, только переживали зиму: столько всего было набросано, — сапоги, одежда, — и все это на полу.

Летом спали все на дворе, в сарае под навесом до самых морозов и так крепко, что не чувствовали ни укусов комаров, ни ползающих по лицу двухвосток. В первые дни убедили было и Андрея Христофоровича идти с ними спать. Но его так заели комары и напозлили всюду двухвостки, что он, бросивши подушку и одеяло, ушел в одном белье в дом.

А на утро все удивлялись, что его могли искушать комары.

— Нас никогда не трогают, — сказал Авенир.

Несмотря на то, что они могли вставать почти в три часа и до обеда ездить без отдыха за рыбой, да еще и потом целый день что-нибудь мастерить, — очередные хозяйственные дела стояли без всякого движения часто по целым неделям, несмотря на просьбы Кати.

Водосточные трубы засорились еще с весны и после каждого дождя вода лилась прямо в сени.

— А черт тебя занес куда! Подставь уж сюда кадку, что ли, — говорил Авенир. Непременно вычистить надо трубы.

И никак не могли собраться вычистить. Ту вдруг на всех напала такая лень, что, казалось, руки у всех деревенели и опускались.

— Николай, влезь, пожалуйста, почишь, — говорит отец старшему сыну.

— Павел, влезь, пожалуйста, а то я на реку иду, — говорил Николай брату.

— Пусть Петр лезет, я на покосе был, — говорил Павел.

— Ну, что же вы, отпустите меня или нет? — сказал один раз Андрей Христофорович.

— Да что тебе, не все равно, что нынче, что завтра? — сказал Авенир.

И еще раз убеждался Андрей Христофорович, что эти люди абсолютно не могли жить в каких-нибудь определенных, строго ограниченных сроках. Все определенное, заключенное в какие-нибудь рамки, не укладывалось в их натуре, не было даже им понятно. Если Андрей Христофорович говорил, что ему нужно к 15 числу явиться, Авенир возражал на это:

— Не все ли равно тебе к 16-му. Эка важность — один день.

Если он говорил, что ему чего-нибудь нельзя есть, Катя всегда говорила неизменно:

— А вы немножечко.

За три дня до отъезда у Андрея Христофоровича открылись вдруг сильные схватки в желудке, потом колющие боли.

"Что такое? Жирного, кажется, я ничего не ел", — думал Андрей Христофорович. И с тревогой ждал новых ужасных схваток. Ночь прошла тревожно, мучительно. Не было прислуги, которую можно было бы позвать и сказать поставить согреть воды для желудка. Все спали, как мертвые. И Андрей Христофорович сам искал воды и спиртовку. Боли были такие, что хотелось кричать о помощи.

Но, когда он утром сказал Авениру про пережитую ночь, испуг и боли, на того это не произвело никакого впечатления. Андрей Христофорович ждал тревожных распросов. Вместо этого, Авенир сказал:

— Ерунда, брат, живот. Водки с квасом пол-на-пол хватил стакан, вот тебе и дело с концом.

— Я не могу понять, отчего, — сказал Андрей Христофорович.

— Ну, что там понимать! Да ни отчего. Природа, голубчик, требует. Вот мы, на что уж простую жизнь

ведем, а тоже иной раз так закрутит, что света не взвидишь.

А потом оказалось, что это не природа, а Катя все две недели вместо молока давала ему сливки, несмотря на предупреждение Андрея Христофоровича относительно сливок.

— Ну, зачем же вы это делали? — сказал Андрей Христофорович, едва скрывая досаду. — Ведь сливки мне вредны.

— Да я думала, что немножко — ничего, — сказала Катя.

— Ты, Андрей, пожалуйста, не думай, что это от сливок. Это брат, чушь, твои фантазии. Мы часто сливки пьем и у нас никогда ничего не бывает. Да от них и быть ничего не может.

И Андрей Христофорович почувствовал, как не убедительны для них его страхи. И как для них мало убедительна необходимость его режима, благодаря которому, он только и поддерживал свои силы при той напряженной, полной труда жизни, какую он вел. Здесь не было этого труда, не было и необходимости заботиться об исправности организма.

Если этому Петру или смешливой Кате сказать, что у них язва желудка, то они даже не повернутся и так же будут пить квас. И если умрут, то умрут без ужаса перед смертью, без жалоб. А, может быть, с легким удивлением, отчего это могло случиться.

Авенир же наверное сказал бы:

— Двум смертям не бывать — одной не миновать.

Здесь даже как будто не были резки границы между жизнью и смертью. И смерти здесь не боялись точно считали ее одним из эпизодов жизни. И по поводу чьей-нибудь смерти всегда говорили какую-нибудь половицу, разрешавшую этот вопрос просто и безболезненно.

Здесь было и страшно за себя от сознания беспомощности, но в то же время даже у разморенного и уравновешенного Андрея Христофоровича, из каких-то неведомых глубин его души выплывало такое настроение, что хотелось сказать себе:

— Э, жизнь — копейка, будь, что будет!

Против воли вливалась какая-то бодрость и сме-

лость, как будто чувствовал себя не в одиночку, а в веселой, смелой компании.

Накануне отъезда, когда все сидели за ужином и ели квас и таранку, кто-то стукнул в окно. Авенир вышел в сени и через минуту вернулся с запечатанным конвертом.

— От Николая, — сказал он.

Распечатали письмо. Там было короткое извещение: "Липа умерла. Отчего — не известно. Пришла с пасеки, съела две тарелки крошки из кваса с ледника, а к вечеру и померла".

Все удивились. Катя перекрестилась и долго утирала глаза. И все вспоминали, какая была хорошая старушка — Липа.

— Теперь без нее плохо будет Николаю, — сказал Авенир, заболит кто или что другое... лучше ее никто не знал, как помочь.

— И отчего умерла, — сказала Катя, — хоть бы болезнь какая... а то и этого не было.

— Ну, да смерть — окладное дело, — сказал Авенир, — а жаль: сколько одних заговоров знала. Ты не смейся, Андрей, я сам, пока не испытал, тоже не верил.

А потом заговорили о другом и через полчаса уже забыли про Липу.

— Ну, вот, хорошо, брат, что побывал у нас, — говорил Авенир брату, когда рыдван, обитый внутри полосатым ситцем, стоял у крыльца.

— Ты пиши, кто в театрах будет играть в следующем сезоне. Я, брат, всем интересуюсь, — говорил Авенир, когда выходили в сени. — Про Малый театр пиши... Так как, бишь: Ермолова — драматическая, Садовская — трагическая.

— Комическая.

— Да, комическая. Помню, помню, ты скала: комическая.

— А Рыбаков Чацкого.

— Да какого — Чацкого! Рыбаков — старик!

— Тьфу, старик, ну, конечно, старик. Я это запишу. Пиши о событиях... что — немцы? До нас не дойдут. Кланяйся, брат, Москве, скажи ей, что за нею стоит сила. Вот она. — И он с размаху ударил по плечу Петра, который даже не пошатнулся. — Скажи,

мол, если немцы придут к Москве, то у нас вот есть живая сила, без всякой механики, но... уж она себя покажет. А? Петух?

Петр повернул свою огромную, на толстой шее голову и вдруг, не удержавшись, усмехнулся так, что Андрею Христофоровичу стало страшно. Такая усмешка появлялась у него, когда Павел рассказывал про него, как он с одним своим Белым травил десяток деревенских собак.

— Ну, с Богом!

Андрей Христофорович простился с Авениром, который заключил его в свои объятия и троекратно поцеловал. Потом пожал руку Кате, огромные кисти племянников и сел в рыдван.

Лошади тронули. Его сейчас же толкнуло в затылок потом подбросило вверх и пошло встряхивать и перебрасывать с боку на бок.

— Заваливайся и спи! — крикнул ему Авенир, стоя без шапки по середине дороги. — Дай Бог!

Андрей Христофорович, точно в лодке в бурю, держась обеими руками за края экипажа, думал о том, пройдет ли ему даром эта дорога и это время, проведенное здесь.

Листая старые страницы

Константин Бальмонт

"Русское богатство" больше славилось своей прозой и публицистикой, чем поэзией. Редко печатались стихи в журнале. Наверное, по своему складу характера и Н. Михайловский, и В. Короленко были скорее рациональны, чем эмоциональны; они больше внимания уделяли прозе жизни. Они видели, какая это жизнь. Им хотелось изменить ее к лучшему. И не только в материальном, но и в духовном смысле. Тем более интересно, что из больших поэтов редакторы "Русского богатства" охотнее и чаще печатали Константина Бальмонта. Мы решили предложить вам два стихотворения поэта, увидевшие свет в "Русском богатстве".





КОНСТАНТИНЪ БАЛЬМОНТЫ

Свеча горит и меркнет, и вновь горит сильней.²
Но меркнет безвозвратно сиянье юных дней.
Гори же, разгорайся, пока еще ты юн,
Сильней, полней касайся сердечных звонких струн,
Чтоб было что припомнить на склоне трудных лет,
Чтоб старости холодной светил нетленный свет —
Мечтаний благородных, порывов молодых,
Безумных, но прекрасных, безумных и святых.

* * *

Символ смерти, символ жизни, бьет полночный час:
Чтобы новый день зажегся, старый день угас.

Содрогнулась ночь в зачатьи новых бодрых сил,
И заплаканные тени вышли из могил.

Лишь на краткие мгновенья мраку власть дана,
Чтоб созрела возрожденья новая волна.

Каждый день поныне видим чудо из чудес:
Всходит солнце, светит миру, гонит мрак с небес.

Мир исполнен восхищенья миллионы лет,
Видя тайну превращенья тьмы в лучистый свет.

¹ Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт-символист, переводчик. Сборники "Горящие здания", "Будем как солнце", "Только любовь. Семицветник", "Зарево зорь" и др. В 1920 г. эмигрировал из России.

² "Русское богатство", 1895.

Листая старые страницы

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Читайте классиков — и вы не ошибетесь. Мамин-Сибиряк как бы классик второго экрана, но вот перед нами вполне петербургская проза начала XX века. Мамин-Сибиряк похож на себя — и в то же время предстает в новом качестве психолога-реалиста.

Одна проблема — где можно прочесть рассказ "Душевный глад"? Только в "Русском богатстве" (за 1901 год). Ни в одном собрании сочинений Мамина-Сибиряка вы этого не найдете.

С удовольствием предоставляем нашим читателям возможность насладиться прекрасной прозой. В наше смутное время такие подарки не часто встречаются.





ДМИТРИЙ МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ¹

Медовыя рѣки

Душевный гладъ

I

Даже у прокуроров бывают скверные дни, как, например, было сегодня у Матвея Матвеича Ельшина. Во-первых, он проснулся позднее обыкновенного (вчера заигрался в клубе в карты и, вдобавок, проигрался), а потом — сегодня ему нужно было ехать в острог, что его каждый раз волновало. За чаем он молчал, стараясь не глядеть на жену, которая в такие дни ему казалась и растрепанной, и грязной, и, вообще, безобразной. Прасковья Ивановна была на четыре года старше мужа и, действительно, не блистала особенной красотой. Высокая, брюзглая, с веснушчатым лицом и всегда мокрым ртом, она точно создана была специально для того, чтобы омрачать существование прокурора загорского окружного суда. Сидевший рядом с Прасковьей Ивановной пухлый и головастый мальчик лет пяти напоминал мать.

— Какой-то рахитик... — думал Ельшин, наблюдая, как сын набивал рот булкой. — Идиот, совсем идиот... Да и что другое может быть от такой прелестной мамашы.

По своей прокурорской привычке, Матвей Матвеич у всех своих знакомых находил удивительно ярко выраженные признаки врожденной преступности (морелевские уши, гутчинсоновские зубы, седлообразное небо и т.д.), а у себя дома, когда был не в духе, мыслен-

¹ Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912), писатель. Романы "Приваловские миллионы", "Горное гнездо", "Золото", в которых бытоописуются нравы уральского и сибирского купечества.

но даже переодевал жену в арестантский халат и находил, что она служила бы типичным экземпляром преступности. Еще сильнее проявлялась эта преступность в сыне: надбровные дуги, как у шимпанзе, нижняя челюсть "калошей", как выражаются французские анатомы, несоразмерно длинные руки, а главное — этот тупой, бессмысленный взгляд бесцветных глаз... В сущности, ничего подобного, конечно, не было, и маленький Коля ничем особенным не выделялся среди других интеллигентных детей. Просто, тихий и склонный к мечтам, ребенок, который любил больше всего свое детское уединенное житье.

— Я убежден, что из этого отшельника со временем вырастет очень хороший преступник, — уверял жену Ельшин, когда хотел ее позлить. — Вообще, великолепный экземпляр из области судебной медицины...

Сегодня, под впечатлением вчерашнего проигрыша, Ельшину собственная семья казалась каким-то гнездом преступников, так, что он даже пошел в гостиную и посмотрел на самого себя в зеркало, как на человека, который до известной степени, прямо и косвенно, причастен к этому делу. Из зеркала на него смотрело худенькое нервное лицо с карими глазами и козлиной бородкой. На этом лице выделялся не по возрасту свежий рот, открывавший при разговоре два ряда чудных белых зубов, что придавало ему вид маленького хищника. Ельшин был немного меньше среднего роста и, может быть, поэтому казалось, что у него слишком много зубов.

— Да, есть что-то хищное в выражении лица, — определял самого себя Ельшин, глядя в зеркало. — Но признаков врожденной преступности никаких.

Успокоившись относительно последних, он, не торопясь (в остроге прокурора могут и подождать "господа преступники"), оделся, еще раз оглянул себя в зеркало и, не простившись с женой (он не мог ей простить своего вчерашнего проигрыша), вышел в переднюю, где его уже ждала очень милостивая горничная Груша. Надевая пальто, Ельшин успел подумать, что если бы вот эта простая девушка Груша была его женой, то он не спасался бы ежедневным бегством в клуб. Такая свеженькая, простая и хорошая девушка

эта Груша, и, наверно, она народит не рахитиков и будущих преступников. В Груше не было ни одного признака преступности.

Выходя из дому, Ельшин принимал внушительный, деловой вид, как это делают все мужчины небольшого роста. Дома он был просто Матвей Матвевич, а за пределами этого дома — настоящим прокурором. Но это специальное настроение было нарушено глупой сценой на самом подъезде. Когда Груша отворила дверь и Ельшин уже занес ногу через порог, справа кинулась прямо ему под ноги какая-то масса.

— Голубчик, господин прокурор, ваше превосходительство... — заголосила эта неопределенная масса "истощенным" бабьим голосом. — Ох, пришла моя смертынька...

— Что вам нужно от меня?!

— Ох, смертынька... ваше высокое превосходительство...

— Во-первых, я никакое превосходительство, — обиженно заметил Ельшин, надевая перчатки. — А во-вторых...

— Барин, это жена Буканова, который в остроге, — шепотом объяснила Груша. — Таисьей звать...

— А... Ну что вам угодно от меня, госпожа Буканова?

Да встаньте, пожалуйста... Это неприлично — валяться на полу.

Госпожа Буканова, благодаря своей тучности и возрасту, поднялась с большим трудом на ноги и запричитала.

— Все из-за Ивана Митрича... Родной племянник и пустил на старости лет по миру... Федор-то Евсеич за што в острог засажен?

— Какой Федор Евсеич?

— А, значит мой муж... Он самый. Одного страму не износить...

— Ах, да, Буканов, который будет судиться за подлог... Ну, матушка, тут я ничего не могу поделать.

Горничной Груше нравилось, что у ее барина в ногах валяется толстомордая купчиха. И ростом не вышел барин, и капиталу никакого, а тут купчиха Буканова, у которой и собственный дом, и собственный капитал, и собственная лавка со скобяным товаром.

— Да, ведь, не причем тут мой-то Федор Евсеич... Все племянничек Иван Митрич нахороводил, он еще двух племянниц разорил и родную жену обокрал... Все он, змей подколодный!..

— Вероятно, он много натворил, ваш Иван Митрич, и все это выяснится в свое время на суде, но от этого вашему мужу не будет легче. Ваш муж будет судиться особо, по своему собственному делу, и, повторяю, я решительно ничего не могу для вас сделать, даже если бы и желал.

В ответ, Буканова опять повалилась в ноги и закричала что-то уж совсем бессмысленное. Ельшин рассердился. У подъезда уже начала собираться кучка любопытных.

— Да говорят же вам, встаньте!..

— Ох, смертынька...

Ельшина выручил извозчик, который "подал" в самый критический момент. Буканова поднялась и, провозжая глазами уезжавшее начальство, проговорила:

— Этакой маленький, а злости-то сколько в нем...

Это замечание обидело Грушу.

— И даже совсем наоборот... Матвей Матвеич даже совсем не злые, а такая уж ихняя строгая служба.

— Не ври, мать... Все от прокурора: кого захочет — того и посадит в острог. На што боек был Иван Митрич, а и того упоместил твой-то барин. Ох, смертынька!

II

В первый момент Ельшин рассердился на полоумную старуху, которая держала его квартиру в осаде, так что ему нос нельзя было показать на улицу. А с другой стороны, ему льстило, что клиенты считают его всесильным. Как хотите, глас народа — глас Божий... Сознание собственной силы — что может быть выше и лучше? А Загорск давно оценил Матвея Матвеича... Даже светила местной адвокатуры побаивались его. Не обладая каким-нибудь выдающимся ораторским талантом, Ельшин вел каждое дело с каким-то ожесточением и затаенной злостью. Особенно доставалось подсудимым во время допроса свидетелей на суде. Ельшин просто выматывал душу, как говорили про него адво-

каты. А между тем, по душе он совсем не был прокурором и считал себя не на своем месте.

— Какой-же я прокурор? — спрашивал он в минуту отчаяния. — Разве такие прокуроры бывают?

— Чем же вы, Матвей Матвеич, хотели бы быть?

— Я?..

Он задумывался, теребил свою козлиную бородку и с виноватой улыбкой признавался:

— Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что из меня вышел бы недурной акварелист...

Незнакомые люди удивлялись такому скромному желанию загорского прокурора, а знакомые соглашались с Матвеем Матвеичем, потому что своими глазами видели его акварельные рисунки и находили их очень хорошими и талантливыми. Но бывали моменты, когда Матвей Матвеич сомневался сам, что мог бы быть хорошим акварелистом, как это было сегодня. Тогда у него начиналась другая полоса мыслей, и он начинал думать на тему, что единственно хорошее в жизни — это добывать свой хлеб своими руками, как делали еще римские магнаты и неудавшиеся цезари, вроде пресловутого Цинцината. Да, быть свободным, быть самим собой... Матвею Матвеичу грезилось собственное именье, очень небольшое, но уютное, и он видел самого себя в рабочей блузе фермера. Даже Прасковья Ивановна и идиот Коля в этой обстановке утрачивали признаки врожденной преступности и делались нормальными. Разве тогда он стал бы проводить бессонные ночи в клубе за дурацким винтом? Кстати, он припомнил ужасный случай, который произошел с ним именно из-за карт. Как-то года три назад, после картежной ночи он из клуба отправился прямо в суд, где должен был участвовать в распорядительном заседании. Как назло, заседание вышло очень скучное. Ельшин задремал и на предложение председателя высказать свое мнение ответил:

— Я пас...

Это была одна из самых прискорбных минут в жизни Матвея Матвеича, и он каждый раз краснел, вспоминая о ней. Хуже всего в этом случае было то, что он где-то читал именно в таком роде дурацкий анекдот, а потом (*horribile ductil!*) сам проделал его. И сегодня, под впечатлением вчерашнего проигрыша,

Матвей Матвейч невольно припомнил свой роковой "пас" и в тысячу первый раз решил, что необходимо сделаться фермером, — да, фермером, а не помещиком. Ведь у каждого ненормального человека, т.е. человека с нарушенной волей, есть свой "пас", как у той же купчихи Таисьи Букановой, которая сейчас валялась у него в ногах. Высшая реализация этого "паса" был тот острог, в который он ехал сейчас, — там были собраны те человеческие минусы, которые являлись в общем течении жизни тем, что в математике называется отрицательными величинами. А высшая математика оперирует с "мнимыми величинами", создает теорию вероятностей и т.д. Не достает только теории "прокурорского паса", — ведь, существовало же в старинных арифметиках какое-то "девичье правило", отчего же не быть "теории прокурорского паса"?

Было уже одиннадцать часов утра. Уездный город Загорск по провинциальному просыпался очень рано, и сейчас трудовой городской день был в полном ходу, как заведенная машина. Ельшин ехал по знакомым улицам, мимо знакомых домов, и встречал знакомых людей, которые раскланивались с ним и говорили:

— Ну, наш Матвей Матвейч в острог покати́л разборку делать...

Загорск хотя и был провинциальным городом, но это не мешало ему иметь свои "сенсационные процессы", как сейчас злостное банкротство бывшего директора общественного банка Ивана Дмитрича Тишаева. Это дело было особенно неприятно Ельшину, потому что еще недавно он играл в карты вот с этим Тишаевым, встречался с ним у общих знакомых, а теперь не имеет права подать ему руку и предложить сесть. Тишаев по его же настоянию был заключен в острог, несмотря на поручителей, которые предлагали взять его на поруки и вносили залог. *Amicus Plato, sed veritas magis...* Когда Ельшин был назначен прокурором в Загорск, он не подозревал, с какими тонкими преступлениями ему придется иметь дело. Какой-нибудь уездный город и такая не по чину тонкая работа преступной мысли и преступной воли! О, сколько пришлось Матвею Матвейчу поработать над этим преступным материалом! Как хитрили его клиенты, притворялись, обманывали его на каждом шагу, старались сбить с

настоящих следов, запутать в противоречиях, вызвать его сожаление или участие и т.д., и т.д. Взять того же Тишаева, который обобрал общественный банк, ограбил двух племянниц, довел до острога родного дядю купца Буканова и натворил целый ряд правонарушений. А сколько всяких других преступлений по части всяческого насилия с истязаниями, членовредительством, убийством — и все это в маленьком провинциальном городишке, где и люди-то все наперечет.

И сейчас, конечно, деятельность преступной воли не прекращалось. По наружному виду все обстояло благополучно: сапожник тачал сапоги, слесарь ковал свое железо, купец торговал, учитель греческого языка изводил ребят греческой грамматикой, чиновник неусыпно блюл, с одной стороны, интересы обывателя, а с другой — охранял престиж власти, наконец, — городской стоял на своем посту, отдавая честь проезжавшему мимо прокурору Матвею Матвейчу, и в тоже время где-то неустанно и незримо работали преступная мысль и преступная воля, работали вот в этих улицах, под крышами вот этих домов, работали настойчиво и неугомонно, чтобы в свое время предстать пред недреманным прокурорским оком Матвея Матвейча.

— Ах, так вы вот какие, голубчики...

Почему-то всякое пресупление вызывает удивление публики, особенно удивление близких знакомых даже в тех случаях, когда все в один голос кричат об имярек таком-то, что ему острога мало. Рядом можно сопоставить только удивление пред смертью.

— Иван Петрович приказал долго жить... Кто бы мог этого ожидать?

И всем кажется, что покойный Иван Петрович оставил после себя какую-то особенно мучительную и безнадежную пустоту, а прошло каких-нибудь две недели, и Ивана Петровича точно не бывало. То же самое и с преступлениями... А между тем, по какой-то психической близорукости люди забывают основную формулу юридической этики: *percat mundus — fiat justicia*. Ельшин любил думать заученными в университете латинскими цитатами и верил глубоко, что со временем, благодаря деятельности неуклонно карающей руки правосудия, преступная воля будет доведена до того *minimum'a*, который допускается даже самыми

строгими математиками в применении на практике самых точных математических формул, когда нельзя не считаться с составом и свойствами материала, теплоемкостью, трением, и т.д. На Загорск и своих клиентов Матвей Матвееч смотрел именно с этой точки зрения и веровал в то светлое будущее, когда мечи перекуются на орала, и лев спокойно ляжет рядом с ягненком, и когда провинциальный глухой городишко Загорск проникнется основными идеями правды, добра и красоты.

III

К острогу Ельшин подъехал уже настоящим фермером. Да, нужно все бросить, что затемняет жизнь, и начать жить снова. Конечно, правосудие должно исправить со временем все человечество, но, с другой стороны, можно подумать и о себе, т.е. о собственной нормальной жизни. Все эти теоретические размышления нисколько не мешали тому, что Матвей Матвееч, слезая с извозчика, принял убийственно спокойный и безнадежно серьезный прокурорский вид. Он знал по давнему опыту, как одна фраза: "приехал прокурор" — всполошит весь острог. Ведь каждый строжный человек чего-нибудь ждет, а последние надежды особенно дороги.

Почему-то Матвей Матвееч каждый раз убеждался, что его ждут в остроге, хотя об этом никто не мог знать. Нынче было, как вчера. Около острожных железных ворот, как всегда, толпились самые простые люди из уезда — старики, женщины и дети, которые приходили и приезжали навестить попавшего в острог родного человека. Нужда, страх и свое домашнее неизносимое горе глядело этими напуганными простыми лицами, лохмотьями, "согбенными" деревенскими спинами — это был тот "отработанный пар", который не попадает в графы статистики. И они знали, что к острогу подъезжает прокурор, и эти лохмотья и заплатки начинали надеяться, что прокурор "все может". Но это строгое деревенское горе не причитало и не бросалось в ноги, как делала купеческая жена Таисия Буканова, а ждало своей участи с трогательным героизмом. Ведь нет ничего ужаснее именно ожидания... И прокурор Ельшин чувствовал себя тем, что фигурально называ-

ется руками правосудия. Да, он призван восстановить нарушенную волю — и больше ничего. И рядом с этими повышенными мыслями являлись соображения другого порядка: а, ведь, хорошо было бы нарисовать акварелью вон ту старуху, которая замотала себе голову какой-то рваной шалью... То, что в жизни являлось очень некрасивым, в акварели получало какую-то особенную, ноющую прелесть: лохмотья, старческие морщины, искривленные от старости деревья, заросшая плесенью вода, плачущее осенними слезами небо и т.д. Это были специально акварельные мысли. А тут уже выскакивает какой-то дежурный человек, другой дежурный человек распахивает железную калитку (а, ведь, хорошо было бы нарисовать такую острожную железную калитку акварелью!), и Матвей Матвеич переступает роковую грань с видом начальства. Нормальное человечество, хотя и находившееся в сильном подозрении, осталось там, позади, за роковой гранью этой железной решетки, а здесь, в ее пределах начиналась область преступной воли и всяческих правонарушений.

Матвей Матвеич прошел в приемную, где его встретил смотритель Гаврила Гаврилыч, седой, стриженный под гребенку старик, страдавший одышкой, благодаря излишней толщине, которая так не идет к военному мундиру.

— Ну, что хорошего, Гаврила Гаврилыч? — спросил Ельшин, сбрасывая верхнее пальто на руки оторопело старавшегося услужить начальству стражника.

— Ничего, все, слава Богу, благополучно, Матвей Матвеич... В четвертой камере вчера случилась драка, но мы ее прекратили домашними средствами... Из уезда привезли двух конокрадов, оказавших при поимке вооруженное сопротивление. Вообще, все, слава Богу, благополучно. В женское отделение сегодня препровождена одна детоубийца и одна отравительница.

Приемная делилась большой полутемной передней на два отделения: в одном помещалась собственно приемная, где заседал Гаврила Гаврилыч, а в другом — острожная канцелярия. В последней над письменным столом всегда виднелась согнутая спина белокурого молодого человека с интеллигентным лицом. Ельшину было всегда его жаль, — такой молодой, учившийся до

третьего класса гимназии и в качестве рецидивиста отбывавший за кражу второй год осторожной высибки. Он вставал, когда проходил в приемную Ельшин, и как-то конфузливо кланялся.

— Как бы вы, Гаврила Гаврилыч, того... — заметил Ельшин, нюхая воздух. — Проветривали бы, что ли...

— Уж, кажется, я стараюсь, Матвей Матвеич. Всякую дезинфекцию прыскаю и порошком посыпаю, а все воняет, потому что, какая у нас публика, ежели разобрать... Такого духу нанесут... Тоже и посещающие для свидания родственники не без аромата.

— А что Тишаев? — спросил Ельшин, не слушая эту старческую болтовню.

— Ничего, слава Богу. Все лежит и Рокамболя читает. Вообще, человек несообразный...

— Вы вот, смотрите, чтобы ему письма в Рокамболе не проносили...

— Помилуйте, Матвей Матвеич, да у меня комар носу не подточит... Человек, т.е. арестант еще не успел подумать, а я уж его наскрозь вижу... Прикажите его вызвать?

— Нет, пока не нужно...

У зрителя были свои любимые слова, как "вообще", "слава Богу", а потом он, точно безграмотный, говорил "опеть", "наскрозь" и т.д.

— Вчера был следователь?

— Точно так-с, наезжали и производили допрос Ефимова, который у нас числится в четырех душах, а тут выходит, что еще есть пятая-с... И даже очень просто все обозначалось.

— Вот бы такого подлеца акварелью нарисовать, — невольно подумал Ельшин. — Этакая, можно сказать, преступная рожа...

Вместо Тишаева, с которым Матвей Матвеич должен был вести сегодня довольно длинную беседу, он вспомнил о жене Буканова и велел вызвать последнего. Молодой белокурый человек нагнулся еще ниже над своим письменным столом и хихикнул, зажимая рот ладонью. Уж если прокурор вызовет Буканова, то начнется представление. Купец Буканов в остроге был на особенном положении, и даже сам Матвей Матвеич позволял ему многое, чего не допускал для других.

Улыбались и стражники, и тюремные надзиратели, и Гаврила Гаврилыч.

— Ну, что он у вас, как себя ведет? — спрашивал Ельшин смотрителя.

— Да ничего, слава Богу... Все правду ищет, и все арестанты его очень любят. Опять и так сказать, особенный человек, и в голове у него зайцы прыгают.

Матвей Матвеич шагал по приемной, заложив руки за спину. В пыльное окно падал яркий свет летнего солнца, рассыпаясь колебавшимися жирными пятнами по полу. Где-то жужжала муха. В такую погоду вся острожная обстановка казалась особенно неприветливой, а заделанные железными решетками окна походили на бельма.

— Буканов идет!.. — пронесся шепот с лестницы. — Буканов...

Послышалось тяжелое дыхание, удушливый кашель, и в коридор приемной с трудом вошел высокий, грузный старик в сером длинном пальто, подпоясанном пестрым гарусным шарфом. От натуги его широкое русское лицо с окладистой седой бородой совсем посинело. Близорукие серые глаза на выкате отыскивали в углу небольшой образок. Помолвившись, старик поклонился смотрителю и писарю.

— По какой такой причине растрёвожили старика? — спросил он.

Смотритель только показал головой на шагавшего в приемной Матвея Матвеича. Белокурый рецидивист еще раз прыснул, захватив рот всей горстью. Гаврила Гаврилыч погрозил ему за неуместную смешливость кулаком.

IV

Войдя в приемную, Буканов опять отыскивал образ, помолился, отвесил поклон шагавшему по комнате прокурору и, остановившись у печки, спокойно проговорил:

— Изволили спрашивать меня, ваше высокоблагородие?

— Да, да... Жена у вас бывает?

— Само собой...

— Когда вы ее увидите, Буканов, то предупредите,

чтобы она меня не беспокоила. Она мне проходу не даст. Сегодня поймала меня на подъезде, бросилась в ноги, начала причитать на всю улицу... Ведь вы знаете, что я решительно ничего не могу сделать для вас, и объясните это жене.

— Уж простите, ваше высокоблагородие. Конечно, женское малодушие одно, и притом очень она жалеет меня, потому как я без вины должен терпеть.

— Ну, это дело присяжных, которые будут вас судить.

— Присяжные тоже человеки и весьма могут ошибаться, ваше высокоблагородие. Все через Ивана Митрича вышло... Моей тут причины никакой нет.

— А кто подделал вексель?

— А кто меня в разор разорил, до тла? Родной племянничек мне приходится Иван Митрич и вот до тюрьмы меня довел...

— А зачем вы ставили его бланк на вексель?

— Да, ведь, он мне должен?

— Послушайте, Буканов, с вами невозможно говорить. Это какая-то сказка про белого бычка.

— Она самая и есть, ваше высокоблагородие, — совершенно спокойно согласился старик. — То есть в самый раз. И примерять не нужно...

Именно этот спокойный тон и раздражал Матвея Матвейча, а потом его интересовало, почему и откуда это спокойствие.

— Буканов, ведь, вы знали, что будет вам за подлог?

— Кто же этого не знает, ваше высокоблагородие? Известно, что за такие художества по головке не гладят, и очень даже просто... Вышлют с лишением некоторых прав на поселение в места не столь отдаленные — вот и вся музьяка!

— Вы знали это и все-таки устроили подлог?

Старик широко вздохнул и, сделав шаг вперед, заговорил, быстро роняя слова:

— Ах, ваше высокоблагородие... Вот вы всякий закон знаете, а того закона, которым все мы живем, не хотите знать: всякий человек хочет устроить себя как можно лучше. Вот у вас в остроге, например, около шести сотен народу сидит, и для вас это очень просто преступники. Да-с... Значит, худую траву из поля вон.

И я так же прежде думал, пока сам не попал в тюрьму.

Жалел, конечно, по человечеству и харчи посылал к праздникам; а, грешный человек, осуждал их всех, которые не умели себя соблюсти... да... А вот тут-то и была ошибочка... Есть, ваше высокоблагородие, глад телесный и есть глад душевный... да... Вот они для вас арестанты и преступники, вообще, бездельники и негодяи, а вы только-то подумайте, что ни один человек из них не думал попасть в острог. Каждый старается как можно лучше устроить свою жизнь... И не просто старался, как простые люди, а со всеусердием и прилежанием. Разве легко украсть, сделать подлог или убить живого человека? И даже очень это трудно, ваше высокоблагородие, а только он хотел устроить как можно получше. Конечно, грех и даже очень большой грех, а уж очень донимал вот этот самый глад душевный...

— Значит, и Иван Митрич, который, как вы говорите, довел вас до тюрьмы, тоже прав?

— Сердит я на него, ваше высокоблагородие, и ругаю, а иногда и раздумье возьмет... И так можно рассудить, и этак. Ведь и я не думал в тюрьме сидеть, а вот Господь привел на старости лет.

— Тоже был душевный глад?

— А то как же? И теперь каждый арестант вперед знает судьбу, что и как ему соответствует, и чем хуже ему выходит линия, тем он пуще, ваше высокоблагородие, надеется. Вот, мол, отбуду, примерно, столько-то лет каторги, а там выйду на поселенье и заживу уж по-настоящему. Взять хоть Ефимова — ему за четыре души бессрочная, а он говорит, что бесприменно попадет под милостивый манифест...

— И Ефимов, по вашему, тоже старался устроиться получше, когда убивал?

— Уж он-то больше всех старался, ваше высокоблагородие, потому как человек отчаянный вполне.

Ельшин шагал по приемной, заложив руки за спину, и внимательно слушал странную речь Буканова. Это был какой-то романтизм на осторожной подкладке. Буканов угадывал прокурорские мысли, продолжал думать вслух:

— Который ежели человек свободный, ваше высокоблагородие, так у него меньше мыслей, а свяжите человека по рукам и ногам — сколько у него этих самых мыслей объявится. Так и у нас в тюрьме. Каждый арестантик ваш как мечтает, мечтает даже о том, чего раньше и не замечал. Примерно взять меня... Конечно, был капиталишко, торговлишка, домишко — и все, например, очень просто прахом пошло. Ну, что делать, все это дело наживное. А вот я сижу в тюрьме и думаю... Была у меня собачка, "Идол" ее звали. Выйдешь это на двор, а она уж тут — в глаза смотрит, хвостиком виляет и только вот не скажет, как она для тебя все готова сделать. Пойдешь куда — проводит до угла, идешь домой — она уж ждет у ворот. Вот ее уж не воротить... Другую собаку заведешь, так она и будет другая собака. Тоже были у меня две коровы: "Колдунья" и "Именинница"... Ах какие коровы! А рысак "Барнак"?.. Разве другую такую лошадь найдете в Загорске?

В канцелярии слушали этот разговор смотритель и белокурый молодой человек. Оба они улыбались, качали головами и объяснялись знаками. Очень уж потешный этот Буканов, а прокурор его слушает.

— Все это хорошо, Буканов, — перебил Буканова Матвей Матвеич, останавливаясь. — А что же вы будете делать после суда?

Старик улыбнулся и, оглядевшись, не подслушивает ли кто, заговорил вполголоса:

— А у меня уж все вперед готово, ваше высокоблагородие. Всю слепоту, как рукой сняло. Скажите, пожалуйста, много ли человеку нужно? Ну, вышлют в Томскую губернию... А разве там не люди живут? И сейчас за работу по своей части, а главное, разведу хозяйство, чтобы все было свое до последней нитки. И всякий овощ, и яичко, и молочко...

— Да, да, вот именно, — соглашался Матвей Матвеич и в его голосе уже не слышалось прокурорских нот. — Главное, чтобы все было свое, и чтобы человек чувствовал себя свободным... Не правда ли?

— Совершенно верно, ваше высокоблагородие. Ведь коровушка-то окупит себя в одно лето, а тут еще телепочка принесет, как премию к еженедельному иллюстрированному журналу "Нива". А каждая курка долж-

на сто яичек дать в лето... У меня, ваше высокоблагородие, была одна курочка пестренькая, так она по три раза в лето на яйца садилась и по три раза цыплят выводила...

— Три раза?.. — удивлялся Матвей Матвеич.

— Точно так-с... А одного боровка держал, так он через два года восемь пудов сала дал, а тушка в счет не шла.

— Восемь пудов?!..

— Оно, ведь, спорое, значит, это свиное сало, ежели засолить впрок... Например, в сенокос, когда не до варева или в кашу рабочим, в щи, просто с картошкой.

Гаврила Гаврилыч сделался свидетелем необыкновенной сцены, именно, когда прокурор Матвей Матвеич совершенно забыл, что он прокурор, что купец Буканов арестант, и на прощанье протянул ему руку.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

— журнал одного автора —

1 9 9 1 год

№ 2

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

Средневозвышенная летопись — часть I
— роман, пролежавший в столе 25 лет

Стихи

Фельетоны

Рассказы

Размышления

Покупайте "Русское богатство" в киосках "Союзпечати"

Листая старые страницы

Зинаида Тулуб

Какими соображениями руководствовался редактор, печатая в своем журнале такие стихи? Ответ скорее очевиден, чем невозможен. Дамское рукоделие — самое мягкое, что можно сказать о таких стихах.

Но и редактор не так прост, как можно подумать. Он печатает в каждом номере только одно стихотворение Зинаиды Тулуб — и только в подборку, т.е. не тратит на эти стихи ни одного листка бумаги. Расход же на типографскую краску, видимо, невелик и оправдывает себя.

Кто такая Зинаида Тулуб? Как-никак автор толстого столичного журнала. И стихи выстроены в рифму. И гонорар за них полагается.

Стихи она печатала с 1910 года. Видимо, на "поэтическую тропу" молодую экзальтированную девушку поставил ее отец Павел Александрович Тулуб, поэт и юрист, автор "тонких стихов о природе", который сам печатался в крупнейших журналах своего времени. Впоследствии Зинаида Тулуб поняла, что ей больше удастся проза и, к тому же, на родном — украинском — языке. Да и жизнь Зинаиды Тулуб не располагала к стихам. В ее жизненной судьбе есть пробел, какая-то тайна. Во всяком случае нам не удалось выяснить, что и как у нее было в самые суровые для страны годы.

И еще одно попутное соображение: почему мы избрали для нашей "Антологии" именно этого автора? Ведь сколько замечательных имен пришлось пропустить!

В самом деле. Вот самый беглый список тех, кого мы не напечатали:

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ ГАРИН
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ
ВИКТОР ВЕРЕСАЕВ
АЛЕКСАНДР КУПРИН
КОНСТАНТИН СТАНЮКОВИЧ
АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

Но я могу привести и другой ряд имен. Не стану привередничать — извольте:

А. Погорелов, А. Шабельская, Л. Авилова, К. Баранцевич, Ю. Безродная, Н. Темный, А. Яблонская, Л. Мельшин, Е. Сомова...

А ведь это тоже авторы "Русского богатства", сошедшие с тех же страниц. На одного великого писателя приходится десятки, а то и сотни забытых имен — и с этим ничего не поделаешь. Подобно тому, как военную победу добывает наряду с великими полководцами и Неизвестный солдат, так и литература не может существовать без неизвестных писателей, оплодотворяющих бессмертье своих избранников. Все мы участвуем в одном литературном процессе. В конце концов, у каждого писателя есть свой читатель, если он не дошел до потомков, то остается его влияние на современников.

Забытых-то не может быть. Вот и Зинаида Тулуб вдруг раскрылась, после того, как мы полистали старые страницы.





ЗИНАИДА ТУЛУБЫ¹

Крымский чабан

Нежней лепечут листья... в полусне
Нежней поет усталая цикада.
В горах свежо. Серея при луне,
В кошаре сбилось дремлющее стадо.

Костер чуть светит. Пепельный туман
Лежит в долине. У корней маслины,
У огонька, заснул старик-чабан,
Под грязною, изодранной овчиной.

Яйла к луне возносит свой узор,
Сереют взгорья росною полынью,
Да сонный ветер тянет из-за гор
Душистую, соленую теплыню.

Увядание

Умирает зелень в золоте горячем,
В серебристых нитях легких паутин.
Теплый ветер бродит по пустынным дачам.
Льется по кораллам рдеющих рябин.

¹ Зинаида Павловна Тулуб (1890 — 1964) — украинская писательница. Ее повесть "На перепутье" опубликована в переводе на русский язык в 1966 году. Роман "В степи бескрайней за Уралом" вышел в 1964 году, а впоследствии был издан в библиотеке журнала "Дружба народов".

Пахнут чем-то грустным осенью букеты.
Тих и нежен шелест мертвого листа...
На парче каштанов горячи отцветы,
Сеть прозрачной тени призрачно чиста.

И в душе усталой — золотая осень:
Трепетны, хрустальны думы о былом,
Как в листе янтарной кружевная просинь,
Тающая нежным, серебристым сном.

1916 г.

Листая старые страницы

Фритъоф Нансен

Книга Ф. Нансена о походе к Северному полюсу печаталась в двенадцати номерах "Русского богатства", что само по себе свидетельствует об интересе читающей публики. Удивительно и другое — та оперативность, с которой откликнулась редакция журнала на данное событие. Судите сами: норвежская полярная экспедиция протекала в 1893 — 1896 годах. А уже в 1897 году журнал печатает книгу Ф.Нансена — надо полагать, переводили с листа и тут же посылали перевод в набор. Вот так оперативно умели тогда работать.

И еще одно хотелось бы отметить. Журнал-то называется "Русское богатство", при чем тут Фритъоф Нансен — и не только он?

Пожалуй, сейчас ни один из наших традиционных толстых журналов не печатает столько переводной литературы, сколько печатало "Русское богатство". В каждом номере — повесть, роман или рассказ. И какие авторы! Дж.Конрад, Б.Гарт, Э.Войнич, Г.Уэллс, Р.Киплинг, Э.Ожешко, Д.Дефо, Б.Бьернсон, Е.Белау, я уж не говорю о зарубежных публицистах, которые тоже мелькали на страницах журнала, включая и Фридриха Энгельса.

Мораль тут понятна: русское богатство включает в себя всякую иную национальную культуру. Современный тезис о приоритете общечеловеческих ценностей, оказывается, был известен и нашим прадедам.

Новое "Русское богатство" намерено следовать и этой традиции: в планах редакции записаны переводы произведений современных авторов.





ФРИТЬОФЪ НАНСЕНЪ¹

Среди ночи и льда

Норвежская полярная экспедиция 1893 — 1896 гг.

Новый год 1896

Среда, 1 января. 1896. — 41,5°. Итак, настал новый год — год радости и возвращения домой. 1895 год кончился при ярком лунном сиянии, и при лунном же сиянии настал 1896; но холод страшный, самый холодный из всех проведенных нами здесь. Я это почувствовал вчера, когда отморозил себе кончики пальцев.

Пятница, 3 января. Утро. На дворе все еще ясно и холодно; я слышу, как трещит лед глетчера. Он лежит там на вершине горы, словно могучий снежный великан, поглядывающий на нас в расселины. Он простирает свое гигантское тело и протягивает свои члены по всем направлениям к морю. Но как только делается холодно, холоднее, чем было до сих пор, он корчится в страшных судорогах, трещина за трещиной раскрываются на его огромном теле, и раздается страшный шум, колеблющий небо и землю.

Йогансен храпит так, что хижина дрожит. Я радуюсь, что его мать не может теперь его видеть. Наверное она бы пожалела своего мальчика, который сде-

¹ Нансен Фритъоф (1861 — 1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель. С 1898 года — почетный член Петербургской Академии наук. В 1893 году на судне "Фрам" начал дрейф от Норвегии к Северному полюсу. В 1895 году покинул "Фрам" и направился к полюсу. Перезимовал на о. Джексона, летом 1896 года на судне английской экспедиции вернулся в Норвегию. В 1914 — 1918 годах — верховный комиссар Лиги Наций по делам военнопленных, один из организаторов помощи голодающим Поволжья. Лауреат Нобелевской премии Мира (1922). Несколько лет подряд переводы его книг печатались в "Русском богатстве".

лался таким грязным и черным, весь в лохмотьях и с полосами сажи на лице. Но терпение, только терпение! Она его увидит здоровым и свежим.

Среда, 8 января. Вчера вечером ветер сдул со склона сани, к которым был привязан термометр. Буря свирепствует, яростный ветер стесняет дыхание, если высунешь голову на воздух. Мы лежим и стараемся заснуть, чтобы скоротать время. Но это не всегда удается. О, эти долгие бессонные ночи, когда перевертываешься с боку на бок, поджимаешь ноги, чтобы немного согреться и жаждешь только одного на свете — сна! Мысли уносятся на родину, но длинное, тяжелое тело лежит здесь, тщетно отыскивая сносное положение на неровных камнях. Однако время ползет дальше: сегодня рождение маленькой Лиф, сегодня ей три года, и она наверно уже большая девочка. Бедная крошка: пока ты еще не нуждаешься в отце, но следующий день твоего рождения я надеюсь провести с тобою. Какими мы будем друзьями! Ты будешь скакать у меня на коленях, и я буду рассказывать тебе о медведях, лисицах, моржах... — Нет, я не могу об этом думать!

Суббота, 1 февраля. Я лежу, измученный ревматизмом. На дворе с каждым днем становится светлее, небо над ледником краснеет все больше, и вот в один прекрасный день над краем гор поднимается солнце, и кончится наша последняя зимняя ночь. Весна наступает! Я часто думал, что в весне есть что-то грустное, потому ли, что она скоро проходит, или потому, что она возбуждает надежды, которых лето не выполняет. Но в этой весне нет грусти, ее обещания должны исполниться; было бы слишком жестко, если бы они не исполнились! Мы провели целую зиму, пролежав в хижине, под землею. Как тосковали мы о книгах! Какою чудесною казалась нам жизнь на "Fram", где мы имели в своем распоряжении целую библиотеку! Иогансен всегда со вздохом вспоминал о новеллах Гейзе; он не успел кончить последнюю из них, которую начал читать на судне. Единственным материалом для чтения у нас были навигационная таблица и корабельный журнал, который я так много читал, что выучил наизусть все, что касалось новержской королевской семьи, лиц мнимо умерших и самопомощи для рыбаков. Но для нас все-таки было утешением смотреть на эти кни-

ги: один вид печатных букв заставлял нас сознавать, что в нас осталось еще нечто, свойственное цивилизованному человеку. Все, о чем нам нужно было говорить, давно уже было переговорено, и у нас почти не осталось мыслей, представляющих какой-нибудь общий интерес, которыми бы мы уже не обменялись раньше. Нередко мы занимались расчетами, на какое расстояние унесло "Fram", и рассуждали о том, есть ли вероятность, что он достигнет Норвегии раньше нас. Что тогда подумают о нас наши друзья? Вероятно, все они потеряют надежду снова увидеть нас, даже наши товарищи на судне. Но где мы находимся теперь? И много ли нам нужно еще идти? Я много раз проверял вычисления, сделанные летом, осенью и весной, но все выходила какая-то путаница. Казалось ясно, что мы находимся где-то далеко на западе, может быть, на западном берегу земли Франца Иосифа, как я предполагал осенью. Но в таком случае, какую землю видели мы на севере? И на какой земле мы впервые высадились? От первой группы островов, которую мы называли "Белой землей", до того места, где мы теперь находимся, мы сделали около 7° долготы — это доказывали наши наблюдения самым неопровержимым образом. Но если мы теперь находимся на одной долготе с мысом Флигели, то эти острова должны лежать на меридиане настолько восточном, что он должен проходить между землей короля Оскара и землей Кронпринца Рудольфа; однако, мы побывали гораздо восточнее, а этих земель не видали. Как объяснить это? К тому же земля, виденная нами, исчезла к югу, а на востоке мы не видели никаких признаков земли. Нет, мы не могли быть поблизости ни одной из известных земель; мы, вероятно, находимся на каком-нибудь острове, лежащем дальше к западу между Землей Франца Иосифа и Шпицбергенем; можно предположить, пожалуй, что мы находимся на пока еще загадочной земле "Gillies". Но в таком случае нельзя понять, каким образом в такой сравнительно узкой полосе могла поместиться такая масса земли, причем ее совсем не видно с северо-восточного берега Шпицбергена. Все же прочие заключения казались нам еще более невероятными. Мы уже давно отказались от мысли, что часы наши идут хотя приблизительно верно; ибо в таком случае мы должны

были бы прямо пересечь Землю Пайера, Вильчека и ледник Дове, не заметив их. Потому и это предположение пришлось отбросить. Но меня сильно смущали другие вещи. Если мы находимся на земле вблизи Шпицбергена, то отчего же там совсем не встречаются розовые чайки, которых мы здесь встречали целыми стаями? К тому же компас показывал большие отклонения.

Когда весною дни стали длиннее, я сделал открытие, которое привело нас в еще большее замешательство. В двух местах на горизонте приблизительно на юго-западе и западе, мне показались неясные очертания земли. Но она должна была находиться на очень большом расстоянии от нас. Я думал, что до нее не менее 111 километров*. Могла ли это быть "Северо-Восточная Земля"? Но это казалось едва вероятным. Во всяком случае, если мы доберемся до увиденной нами земли, наш путь будет уже не очень длинен, и мы, быть может, найдем открытую воду на всем пути до того места, где корабль из Тромзэ возьмет нас, чтобы отвести на родину.

Мечты о всех хороших вещах, которые мы найдем на этом корабле, служили нам утешением, когда время тянулось невыносимо долго. И действительно, наша жизнь оставляла желать очень многого. Как нам хотелось какой-нибудь перемены в пище! Если бы только у нас было немного сахара и муки в придачу к мясу, мы бы жили, как принцы. Мы подолгу мечтали о больших пирогах, не говоря уже о хлебе и картофеле. Как вознаградим мы себя за все это время, когда будем в Тромзэ. Но будет ли там картофель и свежий хлеб? На худой конец, можно удовлетвориться и морскими сухарями, особенно, если их поджарить в масле и сахаре. Но еще лучше было бы для нас чистое платье и книги. Ах, наши платья имели самый ужасный вид! Мы наслаждались приятными мечтами о большом, светлом магазине, стены которого увешаны новыми, чистыми, мягкими, шерстяными платьями, и мы могли выбирать из них самые лучшие. Можно ли представить себе что-нибудь прелестнее рубашек, удоб-

* Потом оказалось, что это расстояние равнялось приблизительно 90 километрам.

ных курток, шерстяных чулок и теплых войлочных туфель. А баня! Завернувшись в спальный мешок, мы были способны целыми часами толковать об этих вещах. Теперь я только понял, какое великое изобретение мыло. Мы делали всевозможные попытки отмыть грязь, но все неудачно. Вода не оказывала никакого влияния, лучше было прибегать к моху или песку. Песок мы находили в стенах хижины, когда раскалывали лед. Лучших результатов мы достигали, намазывая наши руки теплой медвежьей кровью или рыбьим жиром и затем счищая их мхом. Тогда наши руки делались мягкими и белыми, как у самой изнеженной дамы, и нам почти не верилось, что эти руки члены нашего грязного тела. В крайнем случае, когда у нас не было никаких подобных принадлежностей туалета, лучшим средством было скоблить кожу ножом.

Но если трудно было содержать в чистоте наше тело, то относительно платья это было прямо невозможно. Мы мыли их эскимосским и собственным способом, но и то, и другое было одинаково бесполезно. Мы целыми часами кипятили наши рубахи в горшке, но вынимали их не менее пропитанными жиром. Пробовали выжимать из них жир, это было немного лучше, но единственное, что давало хоть какие-нибудь результаты, было варить их, а затем, пока они еще теплые, соскребать с них жир ножом. Выскобленный таким образом жир служил, конечно, прибавлением к нашему топливу. В течение всего этого времени наши бороды и волосы страшно отросли. Правда, у нас были ножницы, но одежда наша не отличалась изобилием, и мы думали, что будет теплее, если мы сохраним нашу прическу. В общем, однако, мы так привыкли к нашему внешнему виду, что не находили в нем ничего поразительного, и пока мы не встретились с другими людьми, которые не совсем разделяли наше мнение, мы не сознавали, что можно относиться критически к нашей наружности. Жили мы мирно и никогда не ссорились. По нашем возвращении, Йогансена раз спросили, как мы провели зиму, и происходили ли между нами раздоры, ибо, по общему мнению, очень трудно было двум мужчинам прожить вместе в таком уединении. "О, нет", — отвечал он, — "мы никогда не ссорились, одно только: я имел дурную привычку храпеть

во сне, и когда это беспокоило Нансена, то он меня толкал в спину". Я не могу отрицать правдивости его слов, так как не раз давал ему пинки, когда он слишком громко храпел, но, к счастью, он тогда только немного отодвигался от меня и продолжал спокойно спать.

Так проходило у нас время. Мы всячески старались его проспять, и иногда нам удавалось спать 20 ч. Если кто-нибудь придерживался еще старинного мнения, что цынга вызывается недостатком движения, то мы служим живым доказательством противного. Мы чувствовали себя превосходно. Когда вместе с весной возвратился и свет, — мы стали охотнее выходить из хижины. К тому же, теперь не всегда было холодно, и часы сна, благодаря всем этим обстоятельствам, сократились. Кроме того, приближалось время нашего отъезда, и у нас много времени уходило в приготовлениях к нему.

Вторник, 25 февраля. Сегодня прекрасная погода; весна начинается. Мы видели первых птиц; они явились с юга, перелетев очевидно через пролив, находящийся на юго-востоке, и исчезли за вершиной горы, к северо-западу от нас. Мы слышали их веселое щебетание. Спустя некоторое время, мы снова услышали их голоса, и тогда нам казалось, что они уселись на горе над нами. Это первое приветствие жизни. Милые птички, как нам приятно вас видеть! Так похоже было на весенний вечер дома. Красное солнце мало по малу исчезло, оставив на облаках золотой след, и взошла луна. Я ходил взад и вперед перед хижинкой и воображал себя в Норвегии в весенний вечер.

Пятница, 28 февраля. Я открыл, что из одного куса бичевки можно сделать 12 ниток, и теперь я счастлив, как король. Теперь у нас много ниток, и мы можем починить наши платья. Можно также распороть мешок и употребить его на нитки.

Суббота, 29 февраля. Сегодня солнце стоит высоко над ледником. Мы серьезно должны беречь ворвань, если хотим уехать отсюда, а то у нас ее не хватит для путешествия.

Вторник, 10-го марта. Третьего дня медведь появился как раз во время. Дела наши были плохи: мясо и жир были на исходе. В воскресенье утром я был за-

нят починкой панталон и башмаков, торопясь приготовить все это к появлению медведей. Иогансен, который эту неделю был поваром, чистил хижину, выметая из нее отбросы мяса и кости; он подошел уже к выходу, но как только приподнял шкуру, завешивавшую дверь, так тотчас же бросился назад со словами: "Против двери стоит медведь". Он схватил ружье, висевшее под крышей, и опять выставил голову в проход, но быстро отдернул ее, говоря: "Он стоит очень близко и, по-видимому, намеревается войти к нам". Затем Иогансен осторожно отвернул угол шкуры, прикрывавшей вход, и просунул в отверстие локоть, чтобы стрелять, но это оказалось не легко. Проход, вообще узкий, теперь был завален костями и кусками мяса. Я видел, как Иогансен поднял ружье на плечо, но потом опять опустил его, так как забыл взвести курок; медведь в это время отошел и Иогансену были видны только его морда и лапы. Но вдруг медведь стал опускать одну лапу в проход, словно желая войти. Иогансен, думая, что попадет медведю прямо в грудь, прицелился и выстрелил. Я услышал глухой рев и шум удаляющихся шагов. Иогансен снова зарядил ружье и, высунув голову, сказал, что он видит медведя, который не успел высоко подняться; вслед затем он выбежал за ним. В это время я лежал в мешке головой вперед и искал один носок, которого никак не мог найти. Наконец, найдя его, я последовал за Иогансеном, вооружившись, конечно, ружьем, патронами, ножом. Я пошел по следам вдоль берега и, спустя некоторое время, встретил Иогансена, — он догнал медведя и убил выстрелом в спину, недалеко отсюда. Пока Иогансен ходил за санями, я пошел туда, где лежал медведь, с целью содрать с него шкуру, но это удалось мне не скоро. Приблизившись к тому месту, где должен был лежать мертвый медведь, я увидел, что последний находится уже далеко и довольно быстро удирает вдоль берега. Время от времени он останавливался и оглядывался на меня. Я перешел на лед, думая опередить его и прогнать назад, чтобы потом не надо было далеко тащить его. Пробежав некоторое время, я достиг одинаковой высоты с ним, но вдруг он стал карабкаться на ледник. Я не рассчитывал, что "мертвый" медведь способен на это. Необходимо было остановить его, но как только я приблизился на рас-

стояние выстрела, он исчез за гребнем горы. Скоро я снова увидел его. Я старался поспеть за ним, но это было трудно, так как я проваливался в глубоком снегу по пояс. Наконец, я опять перешел на лед, покрывавший пролив. Спустя немного времени медведь показался из-за отвесного утеса и затем стал осторожно взбираться на вершину склона. Я решил выстрелить, чтобы попытаться заставить его скатиться вниз. Казалось, что наверху у него не было прочной опоры для ног. Под утесом дул страшный ветер, и я видел, что медведю приходилось лежать на брюхе и цепляться когтями за лед, когда налетали порывы ветра; к тому же передняя правая нога у него была переломлена. Я встал на большой камень у нижнего края склона и выстрелил. Пуля ударилась в снег под самым медведем и я не знал был ли он ранен; как бы то ни было, он хотел перескочить через сугроб, но поскользнулся и упал вниз, но снова принялся взбираться наверх. Я выстрелил еще раз. Медведь на минуту остановился и потом опять покатился по склону вниз. Присев на корточки, я поспешил вложить в ружье новый заряд. Теперь медведь докатился до подножия сугроба, увлекая за собой комки и куски снега. Наконец, он сделал один большой прыжок и ударился о камень. Что-то хрустнуло, и медведь растянулся рядом со мною в судорогах: через несколько минут все было кончено. Это был большой медведь с прекрасной шерстью, которую приятно было бы иметь дома, но лучше всего было то, что он был очень жирный.

Спустя некоторое время подошел Йогансен и, разрезав с его помощью зверя на куски, мы стащили его на лед и положили в сани. Отъехав немного, мы убедились, что будет тяжело тащить медведя против ветра. Поэтому половину мы сложили на лед и покрыли шкурой, намереваясь через два дня придти за мясом. Несмотря на значительное облегчение поклажи, нам все-таки было трудно бороться с ветром, и мы только поздно ночью вернулись домой. Давно уже мы не радовались так сильно возвращению домой и возможности спрятаться в мешок, поужинав свежим мясом и горячим супом. Этим медведем мы питались в течение шести недель.

Когда Йогансен вышел сегодня в 6 часов утра, ему показалось, что миллионы пингвинов перелетают че-

рез пролив; когда же мы вместе вышли из хижины в 2 часа, то увидели, как одна стая за другой летели к морю, и это продолжалось до вечера. Я видел также двух кайр, пролетевших над нашими головами: это были первые кайры, виденные нами.

Четверг, 2 апреля. Сегодня убит еще один медведь.

У нас накопилось достаточное количество мяса и жира для путешествия, и мы теперь деятельно занимались приготовлениями к нему.

А дела было еще очень много. Мы должны были сделать новые одежды из одеял, наше платье, защищающее от ветра, и обувь требовали починки, нужно было сшить носки и перчатки из медвежьей шкуры, а также легкий хороший мешок для спанья. Все это требовало времени; и с этих пор мы прилежно работали с утра до поздней ночи, хижина наша внезапно превратилась в мастерскую сапожника и портного. Сидя рядом в мешке на каменной лавке, мы неутомимо шили, думая о возвращении домой.

Разумеется, мы постоянно толковали о нашем путешествии и находили большое утешение в том, что на юго-западе виднелось темное небо, указывающее на присутствие открытой воды. В виду этого, я думал, что наши каяки будут нам очень полезны при путешествии на Шпицберген. Я уже несколько раз упоминал в своем дневнике об этой открытой воде. Напр., 12-го апреля я писал: "С мыса на юго-западе до севера видна открытая вода, насколько хватает глаз". Под этим я разумею, что над всем горизонтом в этом направлении был виден темный воздух, доказывающий присутствие открытой воды. Это не могло поразить нас: мы должны были быть готовы к этому, так как Найер в половине апреля видел открытую воду еще севернее, на западном берегу земли Кронпринца Рудольфа.

Второе обстоятельство, заставлявшее нас верить в близость моря, были ежедневные посещения белых чаек и буревестников. Первых белых чаек мы увидели 12-го марта; в апреле число их все увеличивалось. Все они летали вокруг нашей хижины и клевали остатки медвежьего мяса и костей.

Во время зимы постоянное глодание этих остатков лисицами забавляло нас и напоминало, что мы еще не совсем забыты живыми существами. Находясь в полудремоте, мы воображали, что мы у себя дома в наших

постелях слышим, как в погребѣ пируют мыши и крысы. Но с наступлением солнечного света лисицы исчезли. Теперь они питались маленькими пингвинами, которых они находили во множестве в ущельях гор, и им уже не нужно было нашего промерзшего медвежьего мяса. Но вместо лисиц шумели чайки. Они часто надоедали и мешали нам спать своим прыганьем по крыше, так что приходилось выходить и прогонять их, что впрочем успокаивало их только на несколько минут.

Воскресенье, 19-го апреля. Сегодня утром в 7 часов я был разбужен тяжелыми шагами медведя. Я разбудил Йогансена, который зажег свет, пока я надел сапоги, панталоны, и выполз из хижины с заряженным ружьем. За ночь, как всегда, нанесло очень много снега на шкуру, закрывавшую отверстие, так что трудно было выбраться из хижины. Наконец, толкнув шкуру изо всей силы, мне удалось стряхнуть с нее снег и высунуть голову наружу, где меня после мрака сразу ослепило солнце. Я ничего не видел, но знал, что медведь стоит тут за хижиной. Вскоре я услышал фыркание и пыхтенье и увидел медведя, мчавшегося неуклюжим галопом вверх по склону. Я колебался стрелять, так как мне не хотелось сдирать с медведя шкуру в такую неприятную погоду. В конце концов, я выстрелил на авось, но промахнулся и больше уже не стрелял. Медведь не был нам нужен, и мы хотели только, чтобы он оставил в покое наши вещи.

Воскресенье, 3 мая. Когда Йогансен сегодня утром вошел в хижину, то сказал, что видел на льду медведя, который шел по направлению к земле. Немного позднее Йогансен вышел посмотреть на него, но медведя уже не было; вероятно, он отправился к заливу, лежащему севернее. Но мы все-таки ждали его посещения. И действительно, когда позднее мы сидели и шли, то слышали тяжелые шаги близ хижины. Медведь ходил взад и вперед, потом что-то потащил, и все стихло. Йогансен осторожно пополз с ружьем. Когда он высунул голову, то его сначала ослепил яркий солнечный свет, но, приглядевшись, он увидел, что медведь стоит недалеко от него и гложет медвежьей шкуру. Пуля, пущенная ему в голову, убила его наповал. Это было тощее небольшое животное, но оно могло нам пригодиться для дороги.

Прошлою ночью нас посетили две медведя, но они повернули назад около саней, стоящих у морены к западу от нас, в качестве подставки для нашего термометра.

Во время завтрака 3-го мая, мы снова услышали шаги медведя, и боясь, чтобы он не съел нашу ворвань, должны были убить его. Теперь у нас было очень много мяса, и потому мы решили не тратить напрасно зарядов. Но что нас действительно огорчало, так это мысль, что нам придется бросить все наши великолепные медвежьи шкуры. Время нашего отъезда приближалось, и мы усердно готовимся к дороге. Наши платья уже готовы.

Когда в субботу, 16 мая, я делал наблюдения на вольном воздухе, то увидел на льду медведя с маленьким детенышем. Я только что был в том месте, и звери обнюхивали мои следы; впереди шла мать, она влезала на все холмы, где я побывал, поворачиваясь, сопела и глядела на следы, потом спускалась вниз и опять взбиралась на холмы. За ней следовал медвежонок, который в точности повторял все ее движения. Но, наконец, они, по-видимому, устали и направились к скале, за которой вскоре исчезли.

За последние недели у нас в хижине царила лихорадочная деятельность. Мы становились все нетерпеливее, нам хотелось поскорее двинуться в путь, но дела еще оставалось много. Мы сильно чувствовали теперь недостаток в запасах, которыми располагали на "Fram". Там, быть может, и не хватало кое-каких вещей, но тут у нас ничего не было. Чего бы мы не дали теперь за коробку собачьих сухарей для нас самих! Где нам найти все, что нам нужно. Для санной экспедиции надо запастись легкой и питательной пищей и притом в довольно большом разнообразии, а также легкою и теплою одеждой, прочными, практичными санями и т.д. Нам ведь известны эти азбучные правила арктических экспедиций. Предстоящее путешествие, положим, не могло быть особенно длинным; только бы добраться до Шпицбергена, чтобы там найти какое-нибудь судно! Когда мы стали осматривать припрятанные нами в начале зимы запасы провизии, то нашли лишь жалкие остатки. От сырости запасы совсем испортились, драгоценная мука никуда не годи-

лась, шоколад распустился, а пеммикан имел очень странный вид и, отведав его, мы должны были его выбросить. Оставалось только немного рыбной муки, ржаного хлеба, сырого и полузаплесневшего, и левро-наватовой муки. Мы все это тщательно сварили в ворани, частью чтобы высушить, частью же, чтобы сделать более съедобным. На наш вкус это было хорошо, и мы тщательно спрятали для торжественных случаев приготовленный таким образом хлеб, или чтобы питаться им, когда у нас не будет другой пищи.

Мы не могли высушить медвежье мясо, так как погода была дурная, и поэтому приходилось брать с собой насколько возможно большой запас сырого мяса и жира. Затем, мы наполнили ворвавью три жестяные сосуда, в которых прежде хранился керосин. Все наши надежды мы полагали на то, что встретим дичи вдоволь. Большое затруднение у нас было с санями, которые были слишком коротки, но удлинить их мы не имели возможности. Мы просто не могли себе представить, как мы будем тащить на них свои каяки по неровному льду, если не встретим открытую воду на всем пути до Шпицбергена. Мы рисковали разбить их на куски, протаскивая среди ледяных холмов и хребтов, образовавшихся вследствие напора. Нам самим также нелегко было снарядиться в путь. Мы сшили себе новые одежды, на что понадобилось много времени; когда мы, наконец, нарядились в новые одежды, то нам показалось даже, что мы имеем весьма представительный вид. Мы, однако, берегли новое платье, чтобы не извести его до отъезда. Жалкие остатки нашего нижнего белья были тщательно вымыты перед отъездом тем способом, как я описывал выше. Обувь тоже была не в блестящем положении. Мы сделали, однако, нечто вроде подошв для сапог, употребив для этого моржовую кожу, соскоблив предварительно половину ее толщины и высушив ее на лампе. Таким образом, одежда у нас была приведена в порядок, хотя и не отличалась особенно опрятностью. Затем мы приготовили спальный мешок из медвежьей шкуры, выбрав ту, которая была полегче. Но самую важную часть нашего снаряжения было наше огнестрельное оружие. Оно оказалось в хорошем виде и, осмотрев наши боевые запасы, мы увидели, к великому нашему удовольствию, что их хватило бы еще на несколько зим.

Листая старые страницы

О рубриках

В прежнем "Русском богатстве" журнальных рубрик и разделов в их теперешнем понимании не было, вернее, они существовали, но как бы в уме, ибо ничем не выделялись на журнальной полосе. Повторяясь из месяца в месяц, рубрики фиксировались лишь в содержании номера: "Хроника внутренней жизни", "Иностранная хроника", "Библиография" и так далее.

Такая практика велась не только в "Русском богатстве", но и в других отечественных журналах. Традиции лишь начинали отрабатываться.

Мы решили выделить названия рубрик отдельной строкой — так привычнее глазу современного читателя. Названия рубрик взяты из номеров "Русского богатства" за разные годы.

Теперь в нашем журнале может появиться новая рубрика: "Русское богатство" лет сто назад".





ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДРЪ ЧЕХОВЪ¹

Первый паспортъ Антонa Павловича Чехова²

”Если ты не наврал, что можешь достать мне паспорт, то хлопочи, ибо по университетскому диплому жить не позволяют. Нельзя ли что-нибудь по медицинскому департаменту, ибо я — лекарь”.

Так писал мне покойный брат мой Антон Павлович. В котором году и месяце это было — с полной точностью трудно сказать, потому что Ант.П. очень редко ставил в своих письмах даты. Письмо, из которого взята вышеприведенная выписка, помечено одним только словом ”четверг”. Нет ни места, откуда послано письмо, ни года, ни месяца, ни числа. Во всяком случае это происходило между октябрем 1892 г. и январем 1894 г.

Дело в том, что покойный писатель, окончив курс на медицинском факультете Московского университета, получил при выпуске диплом на звание лекаря, и этот диплом был единственным документом, удостоверяющим его личность. Но этот документ открывал только дорогу к поступлению на службу в какое-ни-

¹ Чехов Александр Павлович (1855 — 1913) — писатель и журналист, брат Антона Павловича Чехова. Окончил курс в Московском университете по двум отделениям физико-математического факультета. Еще студентом начал печататься (в ”Будильнике”, ”Осколках”, ”Стрекозе”, ”Новостях дня”). С 1886 года сотрудничал в ”Новом времени” (псевдоним — А.Седой). Был редактором специальных журналов ”Слепец”, ”Пожарный”.

² ”Русское богатство”, 1911, № 3 — 4.

будь ведомство, паспортом же служить не мог, и в участках его не прописывали.

Брат не имел ни малейшего желания поступать куда-либо на службу и предпочитал оставаться свободным человеком, тем более, что в это время он посвятил себя исключительно литературе и уже начинал приобретать имя, как писатель.

О своем паспортном горе Ант.П. писал брату Михаилу и мне. Я пообещал ему добыть паспорт и имел к тому основание. Приведенная выше выдержка из письма показывает, что Ант.П. согласился на мое предложение.

На этой страничке моих воспоминаний я хочу рассказать, как именно я добывал этот паспорт. Здесь интересны, конечно, не я и не мои хлопоты, а те высокопоставленные лица, которые принимали участие в создании для А.П. "вида на жительство".

Первым из этих лиц был покойный статс-секретарь Константин Карлович Грот. Он, как известно, патронировал слепых, сумел перевести в Александро-Мариинское попечительство о слепых из какого-то ведомства миллионный капитал, построил в Петербурге Александро-Мариинское училище слепых (на Аптекарском острове) и вообще держал все "слепцовское дело" всей России в своих руках.

В то время, к которому относится этот коротенький рассказ, я был официальным и фактическим редактором издававшегося попечительством журнала "Слепец" (выходит, кажется, и теперь) и потому часто встречался и был в очень хороших отношениях с К.К. Гротом. К нему-то я и обратился.

К.К. Грот пользовался огромным влиянием. Для того, чтобы иллюстрировать дальнейшее изложение, приведу следующий пример. Известно, как в то время было строго главное управление по делам печати. Редакторы повременных изданий утверждались не иначе, как после целого ряда формальностей, наведения негласных справок о благонадежности и т.п. Алчущим редакторства приходилось по целым неделям, а иногда и месяцам обивать пороги Главного управления, напоминать о себе и наводить справки о ходе своего дела. Я это знал. Когда я согласился на предложенное мне К.К. Гротом редактирование "Слепца", то был уверен,

что утверждают меня не скоро. Каково же было мое удивление, когда не далее, как на третий день после нашего разговора, ко мне на квартиру был доставлен пакет, в котором значилось, что я уже утвержден. На квартиру! Это что-нибудь да значило!

Ввиду этого, получив письмо от брата, я отправился к К.К. Гроту с некоторой уверенностью. Как теперь помню наш разговор в его гостиной, в доме на Б. Колюшениной. Гостиная, как и вся остальная квартира, была обставлена богато. Все в ней, начиная от стула и кончая каким-нибудь бюстом, стоило очень дорого, всюду была безукоризнейшая, доведенная до педантизма чистота, но все говорило, что среди этой богатой обстановки живет человек одинокий и что в доме нет женщины... От всего веяло высокопоставленностью и какой то грустью.

Выслушав историю с паспортом, К.К. Грот ответил мне своим бесстрастным, ровным, старческим голосом.

— Хорошо. Я постараюсь это сделать. Я вас уведомя.

Это было сказано таким тоном, что я возвратился домой почти с полной уверенностью в том, что у брата паспорт будет. И действительно, на другой или на третий день я получаю телеграмму: "Завтра в три часа поезжайте к Рагозину. Грот".

Лев Федорович Рагозин был директором Медицинского департамента. Это была милейшая, даровитая, развитая и добрейшая личность. Те, кому приходилось служить вместе с ним или под его начальством, относились и относятся до сих пор с теплым чувством к его памяти. (Он умер 30 марта 1908 г.) Впоследствии одно лето мне пришлось быть его ближайшим соседом по даче и я лично убедился в справедливости этих отзывов. До истории с паспортом я знал его только по имени да по адрес-календарю.

Само собой разумеется, что в назначенный час я был уже в департаменте. Лишь только я назвал свою фамилию — не помню кому: курьеру или дежурному чиновнику, — как обо мне было не только немедленно, но даже, как мне показалось, и торопливо доложено.

"Вот он, Грот!" — промелькнуло у меня в голове.

— Пожалуйте-с. Директор просят!

Передо мной в один миг распахнулись настежь двери директорского кабинета — двери, перед которыми многим и многим приходилось вероятно простаивать не без трепета по получасам, а иногда и по часам и перешагивать через порог еще с большим трепетом.

Л.Ф. Рагозин — высокий, статный мужчина с очень симпатичным и вовсе не чиновничьим лицом встретил меня очень радушно и, вероятно, вследствие привычки иметь дело постоянно с врачами, он протянул мне руку со словами.

— Очень рад познакомиться с вами, коллега.

Я поспешил ответить, что я — не врач, но что я явился во врачебный департамент хлопотать о своем брате — враче. На лице Л.Ф. ясно выразилось недоумение. Я понял, что К.К. Грот, прося его принять и выслушать меня и сделать то, о чем я буду просить, не сообщил ему, в чем именно будет состоять моя просьба (впоследствии это оправдалось). Поэтому приходилось начинать сказку сначала. В глазах директора департамента был ясно написан молчаливый вопрос:

— Кто же ты и чего тебе нужно, если ты не пришел просить какого-нибудь места по медицинской епархии?

Приходилось поневоле знакомить прежде всего со своею особой. Я сообщил ему, что представляю собою редактора журнала "Слепец" и явился...

— А! Так вот почему вы так дороги сердцу Константина Карловича! — перебил он меня. — Вот почему он принимает в вас такое участие! Давайте, сядем и потолкуем. В чем дело?

Л.Ф. сел за свой письменный стол, а мне указал на кресло, сбоку стола. Я начал с того, что брать мой — начинающий писать "А. Чехонте"...

— А. Чехонте!? — снова перебил меня Л.Ф. — Читал, читал... Прелестные вещицы!.. Так это он? Ваш брат?

— Да.

— Прилестные вещицы! Как он чудесно схватывает с натуры! Какие типы! И все живые люди!.. Он врач и практикует?

— Нет. Кажется он занимается одною только литературой. По крайней мере, в Москве, где он живет, у него на дверях вывески нет.

— И прекрасно делает, что не практикует. Средних и плохих врачей у нас много, а даровитых писателей очень и очень мало. Раз-два — и обчелся. Пусть лучше пишет. Ну-с?

Я рассказал уже известную историю о дипломе, который необходимо заменить "видом на жительство", признаваемым полицией.

Л.Ф. подумал немножко и сказал:

— Для такого писателя, как А. Чехонте, необходимо сделать все, что только возможно. Мы даже обязаны сделать все, чтобы облегчить ему жизнь и избавить его от волнений, вызываемых каким-нибудь глупым паспортом... Кто знает, может быть, из него выйдет большой писатель, который даст нам что-нибудь крупное... Вот что: хотите вы на неделю превратиться в вашего брата? Всего только на одну какую-нибудь неделю или дней на шесть?

— Я вас не понимаю, Л.Ф., — ответил я, широко раскрыв глаза.

Директор департамента добродушно улыбнулся.

— Я вам сейчас объясню, — сказал он. — Все можно обделать, нисколько не тревожа вашего брата и без него. Он, говорите вы, живет в Москве — так не тащить же его из-за какой-нибудь невинной комедии сюда, в Питер. Дело вот в чем. Пусть ваш брат подаст прошение в Медицинский департамент о том, чтобы его определили на какую-нибудь должность...

— Но он не желает служить. Он хочет быть свободным человеком.

— Погодите. Пусть он, как я уже сказал, подает прошение. Согласно этому прошению мы сделаем журнальное постановление, в силу которого он делается чиновником департамента и служит три или четыре дня. За эти дни служба надоедает ему хуже горькой редьки, и он подает новое прошение — об отставке. Мы тотчас же выдаем ему аттестат — и вот вам паспорт, самый настоящий паспорт, который будет признавать и прописывать полиция не только во всей России, но даже и на Новой Гвинее, если только она там есть.

— Превосходно — воскликнул я. — И быстро, и на законном основании!

— Да. И быстро, и на законном основании, и ко-

мар носа не подточит. Но для этого необходимо, чтобы вы на эту неделю сделались самозванцем и превратились бы из Александра Чехова в Антона Чехова — не для всего мира, а только для нашего департамента. Согласны? Ну, так садитесь и сейчас же пишете прошение от имени вашего брата.

— Но ведь это будет подлог, Л.Ф., — возразил я.

— Я уверен, что вы не пойдете к прокурору доносить, что я вас учу делать подлоги, — засмеялся директор департамента, а сам на себя я не донесу, тем более, что через три дня вы сделаете второй такой же подлог с прошением об отставке... Нас с вами и упекут в Сибирь...

Л.Ф. позвонил. Вошел длинный, сухощавый чиновник.

— Вот г.Чехов, Антон Павлович, желает поступить к нам в департамент младшим сверхштатным чиновником, — обратился к нему Л.Ф. Рагозин, — будьте добры, продиктуйте форму прошения.

— Пожалуйте-с, — пригласил меня длинный чиновник, направляясь к двери.

— Прощение подадите мне лично, — сказал директор вдогонку.

Длинный чиновник привел меня в большую комнату, в которой за тремя или четырьмя столами шла обычная канцелярская работа. У одного из окон стояли чиновник и типичный, серый труженик — земский врач. Врач что-то горячо и возбужденно доказывал чиновнику. До меня долетали отрывочные фразы: "скарлатина"... "дети мрут, как мухи"... "эпидемический характер"... "рук нет совсем"...

Длинный чиновник предложил мне сесть за один из столов — очевидно, за его стол — и стал громко диктовать прошение.

— Ну-с, теперь подписывайте ваше звание и имя: "лекарь Антон Чехов", — закончил он.

Я исполнил это.

— Теперь благоволите подать директору.

Но лишь только я поднялся с места и с листом бумаги в руке направился к двери, как слева послышалось умышленно громкое:

— Гм!..

Я оглянулся и едва не растерялся. За одним из сто-

лов сидел и глядел на меня улыбающимися глазами знакомый мне чиновник г.Р. (имени не называю, потому что он и ныне здравствует), с которым мне часто приходилось встречаться в театрах, на Невском и в ресторанах и который прекрасно знал, какой я Антон. Он ласково смотрел на меня и мне казалось, будто в глазах его было написано:

— Э, брат, да ты подлогами занимаешься! Я ведь знаю наверное, что ты — Александр...

Я подошел к нему. Раскланялись, как добрые знакомые, и немножко поболтали о пустяках.

— Прощение подаете? — спросил он под конец беседы.

— Да. От имени брата... по доверенности, — солгал я.

Он ничего не ответил и только засмеялся как-то беззвучно, в нос. Через минуту я был уже в кабинете директора и подал ему прошение.

— Вот и прекрасно, — сказал Л.Ф., пробежав написанное. — Теперь мы пустим эту бумажку в ход.

— Должен предупредить вас, Лев Федорович, — начал я, — что наш заговор открыт и мое самозванство разоблачено. В канцелярии я встретился с г.Р., с которым я хорошо знаком и который отлично знает, что я — не Антон.

— Пустое. Приходите через три или четыре дня подавать прошение об отставке.

Мы пожали друг другу руки, и я ушел. В тот же день я уведомил брата об успешности начатых хлопот.

Дня через два мне понадобилось по делам "Слепца" побывать у К.К. Грота. Окончив деловой разговор, К.К. как бы вскользь и мимоходом бросил:

— Ваш брат уже зачислен на службу... Меня Рагозин уведомил...

Само собою разумеется, что я возликовал и тотчас же написал брату.

Еще через два дня я снова был в Медицинском департаменте, и тот же длинный, сухощавый чиновник, за тем же столом диктовал мне прошение об отставке, — и я совершил второй подлог, подписавшись именем брата. Л.Ф. Рагозина я в этот раз не видел. Он был в каком-то важном заседании. Прощение принял от меня тот же длинный чиновник.

— Пожалуйста завтра в это же время, — сухо сказал он.

Опять послышалось слева многозначительное.

— Гм!..

Р. смотрел на меня смеющимися глазами. Пришлось подойти к его столу.

— Отслужили? Подаете в отставку?

— Да.

— Не долго же вы украшали наш департамент своим присутствием... под чужим именем. Сегодня в театре будете?

Он опять засмеялся беззвучно в нос, и я почувствовал, что проглотил пилюлю.

На следующий день меня провели прямо в кабинет директора.

— Ну, вот и сделано, — весело и почти дружески встретил меня Л.Ф. — Вашему брату теперь не о чем больше беспокоиться... Я вот сейчас по дороге в департамент прочел новенький рассказ А. Чехонте. Что за прелесть! Пусть пишет милый человек, а медицину пусть бросит. Бог с ней. От моего имени скажите ему: пусть пишет, а не лечит. Лечить и без него есть кому, а писать без него некому. Если ему нравится медицина, пусть занимается ею мимоходом, для своего удовольствия, но пусть не делает из нее профессии. Его сила не в скальпеле, а в пере.

Л.Ф. позвонил. Вошел чиновник.

— Принесите сюда, — коротко распорядился Л.Ф.

Чиновник поклонился и вышел.

— Его сила в пере, и я уверен, сердце мне подсказывает, что из него со временем выйдет величина — и я очень рад, что мог быть хоть немножко для него полезен.

Вошел чиновник и почтительно положил на стол перед директором раскрытую книгу, на одной странице которой лежал свеженький, чистенький и каллиграфически написанный аттестат с печатью.

— Распишитесь в получении, — сказал Л.Ф., подавая мне перо и указывая пальцем на клетку в книге.

— Это будет уже третий подлог, — улыбнулся я, подписываясь именем брата.

— И, как видите, в Сибирь нас с вами не послали, — улыбнулся в свою очередь Л.Ф. — Ну-с, извольте-с.

Директор взял аттестат, собственноручно свернул его вчетверо и подал мне. Чиновник взял книгу и мигом улетучился.

— Теперь вы можете быть опять самим собою, — пошутил Л.Ф.

Я принялся горячо благодарить его.

— Очень рад, очень рад, что мог хоть что-нибудь сделать, — отвечал он. — Впрочем это не я сделал, а Константин Карлович Грот... Так и напишите, что его сила не в медицине, а в пере. От моего имени напишите, — добавил он, провожая меня чуть не до двери.

Нечего и говорить, что, выйдя из департамента, я не шел, а летел для того, чтобы поскорее отослать брату заказным письмом драгоценный документ, и мое радостное волнение улеглось только тогда, когда я ощутил у себя в пальцах почтовую роспиську.

В тот же вечер мне случайно и совсем неожиданно пришлось встретиться с К.К. Гротом. Я стал благодарить его.

— И славу Богу, что так вышло, — ответил он своим старческим, монотонным голосом. — Только я тут не при чем и меня благодарить не за что. Это все — Рагозин.

Через два или три дня я получил от брата коротенькое и, по обыкновению, юмористическое письмо:

"Мерси. Теперь я — не лекарь, а гражданин, и полиция меня уважает и боится. А за подлоги я тебя сошлю на Сахалин. Отставной младший сверхштатный чиновник А.Ч."...

Такова история первого паспорта Ан.П. Чехова.

С тех пор прошло много лет. К.К. Грот умер; умер и брат; смерть его, как известно, произвела глубокое впечатление на всю Россию. Пошли новые веяния.

Как-то раз я шел по одной из боковых улиц, впадающих в Невский проспект. Меня кто-то окликнул с противоположного тротуара. Это был Л.Ф. Рагозин — единственный оставшийся в живых участник только что описанной паспортной эпопеи. Я поспешил перебежать через дорогу, и мы пожали друг другу руки, как добрые знакомые. Он сильно постарел и был чем-то недоволен. Недовольство оказалось административным: объявления о разных медицинских, патентованных и секретных средствах разрешено было печатать с меньшими стеснениями, чем прежде.

— Теперь мы махнули на все рукой, — сказал он. — *Laissez faire, laissez passer.*

Затем разговор незаметно перешел на другую тему. Вспомнили о покойном брате.

— Вот уж и нет Антона Павловича, — с глубоким вздохом произнес он. — Помните, я говорил вам тогда, когда вы хлопотали о паспорте, что из него выйдет величина? К моему удовольствию, я оказался пророком.

— Кстати, Лев Федорович, ответил я, — я собираюсь как-нибудь в свободную минуту написать эту эпопею с паспортом так, как она была в действительности. Вы в ней были главным действующим лицом. Позвольте писать начистоту и упомянуть ваше имя?

— Сделайте одолжение. Сколько угодно. Маленькая неприятность, которую я от этого получу, вполне уравнивается значением той маленькой услуги, которую я когда-то оказал вашему брату. Пишите. Я прочту с удовольствием.

Но прочесть ему не удалось. Я все собирался написать, а неумолимое время делало свое. В скором времени после этого разговора в траурной каемке на первой странице "Нового Времени" появилось имя Л.Ф. Рагозина.

Я не знаю, сохранился ли в семейном архиве паспорт, обменивавшийся несколько раз на заграничный, но он был подписан Л.Ф. Рагозиным.

Листая старые страницы

Вера Фигнер

Вера Фигнер прожила долгую и великую жизнь. Трагедия народовольцев была двойной, это и личная их трагедия, и наша общая трагедия, которую мы разделили вместе с ними, — судьба нашей родины. Жертвы Веры Фигнер и ее товарищей оказались бессмысленными — полученный сегодня результат самым трагическим образом не совпал с задуманным.

Но разве может быть виновной жертва?





ВѢРА ФИГНЕРЪ¹

Послѣ Шлиссельбурга²

В Архангельск

Через две недли после выхода из Шлиссельбурга меня отправили в Архангельскую губернию, которая по случаю Японской войны должна была заменить Сибирь.

Мы приехали в Архангельск 17 октября и, когда солнце всходило и я вспомнила, что этот день — воскресенье, то невольно подумала, не счастливое ли это предзнаменование и не начнется ли с этого дня мое воскресенье?

С вокзала мы сели на пароход "Москва" и переправились через Северную Двину, широкую и прекрасную. Недалеко от берега бросался в глаза собор с синими куполами, усеянными золотыми звездами, а город, в который мы въезжали, был украшен флагами по случаю события в Борках 17 октября 1888 года, но, при желании, я могла вообразить, что население чувствует мой приезд.

Когда мы подходили к канцелярии губернатора, двери были заперты и сторожа, протирая глаза, тащили флаги на площадь перед домом губернатора.

¹ Фигнер Вера Николаевна (1852 — 1942) — деятель российского революционного движения, писательница, член Исполкома "Народной воли". Участница подготовки покушений на императора Александра II. С 1882 года осталась единственным членом Исполкома "Народной воли" в России, пыталась восстановить разгромленную полицией организацию. В 1884 году приговорена к вечной каторге, замененной 20 годами пребывания в каземате Шлиссельбургской крепости. В последовавшие затем годы ссылки и эмиграции написала воспоминания, которые публиковались в нескольких номерах "Русского богатства".

² "Русское богатство", 1916 г., № 12.

Губернатор, правитель канцелярии и их подчиненные еще не вставали, и мы вошли в пустынные покои, где было много чернил, бумаги и расстроенные хрипящие часы. После 11-ти явился правитель канцелярии и стало выясняться положение дел. Полковник Дубровин, сопровождавший меня с двумя жандармами, подал ему запечатанный пакет, и по мере того, как чиновник читал бумагу департамента полиции, лицо его, прежде предупредительно-любезное, вытягивалось и становилось все серьезнее.

“Я должен тотчас же препроводить вас в тюремный замок”, — начал он, обращаясь ко мне. — “Затем, согласно распоряжению департамента полиции, вы будете отправлены в *отдаленнейшие места* Архангельской губернии. Там вы не должны иметь ни *одного товарища* из политических ссыльных. Два полицейских стражника будут сопровождать вас и останутся на месте назначения для постоянного наблюдения за вами”. Я стояла, ошеломленная. Я рассчитывала по приезде в Архангельск остаться на свободе с сестрой и быть отправленной в какой-нибудь уездный город или село, поблизости. Перед отъездом из Петербурга мой брат Петр был принят в департаменте полиции с большой любезностью. Кто-то из высших чинов, принимавших его, сказал: “Довольно она натерпелась: теперь — все будет по другому. Будьте покойны: ей будет хорошо”. Окрыленные надеждой, мы двинулись в путь. И, вот, каково оказалось это “*другое*”. Меня заключали в острог и разлучали с сестрой, которая сопровождала меня и надеялась поселиться со мной в гостинице, а теперь тщетно предлагала поставить стражу там, где мы остановимся, и взять на себя расходы по содержанию этой охраны. Вместо ближайшего места поселения, предо мной вставала перспектива отправиться за 2.400 верст от губернского города и жить в безлюдном крае, без одного друга и без кого-либо из родных, потому что, имея собственные семьи, они не только не могли оставаться со мной, но даже и проводить в такую даль. Отдаленнейшие места губернии — это сплошные тундры, по которым проезд возможен только зимой, когда болота замерзают, и туда-то департамент полиции отправлял меня. Можно себе представить, что это была бы за жизнь в сообществе двух полицейских, как это

было с Н.Г. Чернышевским, и после него в первый раз применялось ко мне, только что вышедшей из Шлиссельбурга!

Моя сестра Ольга, живая и энергичная, как львица, защищала меня, оспаривая один за другим все пункты инструкции, данной относительно меня. Напрасно правитель канцеляции уверял ее, что не в его власти изменить что-либо в предписаниях из Петербурга. Я молчала, сдерживая волнение. Потеряв, наконец, терпение от этих споров с бессильным чиновником, я проговорила: "Бесполезно говорить: поедемте".

Я обняла сестру, любящее сердце которой было неустанно в заботе обо мне; явившийся полицмейстер отвез меня на извозчике в тюрьму.

Опять тюрьма, опять стены, смотритель, надзирательница, обыск и камера, изолированная не только от политических, но и от уголовных. И тишина... опять тишина!

Каждый день сестра, бросившая на неопределенное время мужа и сына в Ярославле, навещала меня по вечерам и мы беседовали часа полтора-два, всегда в присутствии смотрителя, хотя губернатор Бюнтинг и обещал сестре свидания без посторонних ушей.

Уходя в Шлиссельбург, я оставляла сестру Ольгу девушкой, едва достигшей 21 года и только что кончившей Бестужевские курсы. В то время она смотрела на меня, как на свою учительницу, быть может, даже, как на идеал. Моя участь только обострила ее чувство преданности мне; с годами эта преданность не ослабевала и, когда я была освобождена, — в ее душе было ликование, которого во мне не было и следа. Каждое утро, по ее словам, первой ее мыслью было: *"она — свободна! она — свободна!"* и это в то время, когда чувство свободы еще ни разу не пробежало в моей душе.

Теперь, с чисто материнской нежностью, она, как птичка, вилась около меня, окружая попеченьем и заботливостью. Я очень нуждалась в этом; оторванная от шлиссельбургских товарищей, я теряла скрепу, которую дала тюрьма, и еще не приобрела новой — вне ее. Не говоря о посещениях ее, которые помогали мне сохранять бодрость духа и перетерпеть внутренний ужас перед одиночеством, которым угрожал мне департа-

мент полиции, — одиночеством, боле страшным, чем был бы теперь для меня Шлиссельбург, — она, со всем пылом горячей любви, боролась за меня с губернатором, с департаментом и готова была бороться со всем светом, лишь бы добиться отмены свирепых распоряжений, обрушившихся на меня.

Своей настойчивостью она совершенно терроризировала Бюнтинга, который доброжелательно находил полезным для меня остаться лишним месяц в тюремном заключении. Она довела его до того, что он стал скрываться от нее и она уж не могла добиться приема у него.

В Петербург посыпались телеграммы от нее: к брату Петру, брату Николаю, в департамент полиции. Сестра указывала на слабость моего здоровья, расстроенные нервы, на невозможность после 22 лет заключения перенести суровость отдаленнейшей ссылки в северные тундры, и настаивала на том, чтобы, хоть временно, я была поселена в более близкой местности. Внутренне она надеялась, что временное превратится в постоянное и что во всяком случае первое, самое трудное, время я не останусь одинокой и мою жизнь облегчит пребывание со мной кого-нибудь из родных.

Чутье любящего сердца подсказывало ей, какое смятение и горечь волновали меня. Первое свидание в Архангельской тюрьме не могло не показать ей, как я была поражена новым оборотом судьбы. Присутствие постороннего лица, зрителя, не позволяло облегчить душу: "язык прилипает к гортани" — писала я об этом свидании брату Петру — "и я не нахожу, что говорить". "И вообще (продолжала я в том же письме от 18 октября) с момента вступления в эту тюрьму я почувствовала, что все вы, мои родные, которые так приветили и обласкали меня, — отходите куда-то вдаль, словно отплываете на корабле, оставляя меня на берегу... На минуту наши пути скрестились и переплелись, а потом опять моя тропинка вышла из общего узла и убежала в сторону... И мне казалось, что как прежде, между нами встает каменная холодная твердыня".

В самом деле, я думала, что решение департамента полиции останется неизменным, и в таком случае я могла считать себя обреченной на гибель: я чувствова-

ла, что физических сил моих не хватит, чтоб преодолеть условия предполагаемой ссылки. Мое освобождение из крепости казалось мне ложью, лицемерием, вероломным средством уничтожить меня только иным способом. И вместе с тем надо было притворяться* в письмах к братьям, в разговорах с сестрой и уверять, что, подчиняясь неизбежному, я выдержу его и теперь, как выдержала в прошлом.

Я была в этом настроении, когда в один неприятный для меня день меня вызвали в канцелярию. Там я застала губернатора и еще трех мужчин. Общество незнакомых людей не только в первое время, но и во все первые годы, потрясало и выводило меня из равновесия, а тут я недоумевала, зачем привели меня: я не догадалась, что это была врачебная комиссия для удостоверения состояния моего здоровья. Смущенная и волнуемая, я села на стул и, когда один из врачей задал о моих нервах какие-то вопросы, я прерывающимся голосом дала неопределенный ответ. "Я сделаю опыт на рефлекс", — сказал он и, сложив ладонями свои руки, слегка стукнул ими по моему колену. Не подготовленная к этому приему, о котором я раньше никогда не слыхала, я громко вскрикнула, вскочила и расплакалась.

Итак опыт дал наглядное доказательство, что нервы у меня расстроены, напряжены; но мне было очень стыдно и досадно, что, ради избавления от далекой ссылки, сестра привела ко мне этих врачей. Она и сама не ожидала такой сцены и сокрушалась, что экспертиза сильно расстроила меня.

В результате однако департамент прислал телеграмму, предоставившую губернатору поселить меня, впредь до поправления здоровья, в каком-нибудь селении Архангельского уезда, но при прежнем условии изоляции от других ссыльных и нахождения при мне двух урядников.

Губернатор предоставил сестре самой выбрать мое местожительство и, по совету местных людей, она указала большой посад в 70 верстах от Архангельска — Неноксу, в которой можно было найти и квартиру, и предметы питания. На Неноксе губернатор и остановился, но объявил, что до зимнего пути я все же останусь в тюрьме.

В исполнение приказания департамента, чтоб я не имела товарищей-политиков, акушерка, жившая в административной ссылке в Неноксе, была переведена в Архангельск. Для нее это было улучшение, но, желая быть со мной, она отказывалась выехать. Однако, когда полиция пригрозила употребить силу, ей пришлось подчиниться.

Любопытно, что департамент предписывал полную изоляцию, акушерку из Неноксы выслали, но местные власти не вспомнили, что этот посад находится на этапном пути и по нему еженедельно идут партии политиков (и уголовных), ссылаемых на север и возвращаемых оттуда. Это дало мне потом возможность познакомиться со множеством лиц, от которых меня хотели уединить. Когда грозившая опасность была отклонена и упорная энергия Ольги увенчалась успехом, я, хотя и с великим трудом, все же уговорила ее на время оставить меня в одиночестве и до зимнего пути съездить в Ярославль повидаться с мужем и сыном. Горячо любя меня, она никак не соглашалась на это, но мысль о ее четырехлетнем мальчике не давала мне покоя и я бессовестно лгала ей, уверяя, что легко перенесу двухнедельную разлуку. На деле же новое одиночество и нестерпимая тюремная тишина оставили большие следы на моих нервах.

Смотритель тюрьмы казался порядочным человеком, иногда он заходил ко мне побеседовать о тюрьме и ее обитателях. Он рассказывал о жалком положении уголовных, о своих заботах и добром отношении к ним, о стремлении просветить, развлечь обучением грамоте, устройством чтений со световыми картинками и т.д. С сокрушением жаловался на плохое состояние тюремной библиотеки; бедной книгами, и с горечью упрекал молодых интеллигентов, проходивших через тюрьму, в полном равнодушии к участи уголовных, для которых во все время они решительно ничего не сделали.

Я не имела причин не доверять искренности этого человека. К тому же в этот первый период моей новой, второй жизни душа моя была размягчена и, кажется, никогда в жизни у меня не было более горячего желания быть нужной и полезной для окружающих. Я с радостью ухватилась за мысль улучшить тюремную

библиотеку и дать хорошее чтение для обездоленного населения тюрьмы. Тотчас принявшись за составление списка книг, подходящих к среднему уровню уголовной публики, я выписала из Петербурга целый ящик хорошей популярной литературы. К сожалению, я не уверена, попали ли все эти книги в тюремную библиотеку, потому что впоследствии я с огорчением узнала от одного уголовного, отбывшего свой срок и жившего в Неноксе, что все речи зрителя были притворством; мне характеризовали его, как человека жесткого, немилосердно притеснявшего обитателей тюрьмы, и говорил это крестьянин, в честности и правдивости которого я имела возможность убедиться. А предо мной зритель, жестокий в обращении с уголовными, всячески рассыпался, с интересом и сочувствием расспрашивал о Шлиссельбурге и раз, почти с негодованием, воскликнул: "Да неужели же никто никогда не делал попытки освободить вас оттуда?!". Он подразумевал, конечно, попытку революционную. Иногда приходила ко мне и надзирательница. От нее я в первый раз услышала термин: "*политики*", который заменил название "*радикалы*", каким в мое время обозначали *революционеров*. Разговаривая с ней о политических ссыльных, проходивших через Архангельскую тюрьму, которая могла вместить до 2 тысяч человек, я измерила количественное различие между числом лиц, втянутых в революционное движение в теперешнее время и в прежний период. Так, однажды, после студенческих волнений в Петербурге, в Архангельскую тюрьму, по ее словам, было прислано одновременно тысяча студентов. Прежде в таких случаях высылались десятки.

Ежедневно надзирательница сопровождала меня на прогулку. Тюремный двор ради меня превращался на полчаса в безлюдный пустырь. Не говоря о политиках, даже уголовным было в это время запрещено проходить по двору. Однако случалось изредка — одинокая фигура в сером халате появлялась откуда-нибудь из-за угла и каждый раз сердце у меня начинало биться сильнее, я ускоряла шаги и с разочарованием отвертывалась, убеждаясь, что это не Фроленко, не Новорусский или Антонов. Только раз, административно-ссылаемый дантист, бывший в аптеке, где он, быть может, дергал кому-нибудь зубы, внезапно вышел в со-

провождении надзирателя и столкнулся со мной лицом к лицу. Вероятно, он знал, *кто* — единственная узница в тюрьме, потому что тотчас назвал меня по имени и стал спрашивать о Карповиче, которого где-то, по видимому, встречал. Не смотря на сопротивление надзирателя, с одной стороны, надзирательницы — с другой, нам удалось перекинуться несколькими фразами. Давая адрес в Мезень, куда его отправляли, он просил написать ему все, что я могу сообщить о Карповиче. При первой возможности я сделала это, а потом была очень удивлена, что мое письмо целиком помещено в "Искре", без спроса о том, желаю я этого или нет.

От того же дантиста при встрече я узнала, что в тюрьме находится сопроцессник Гершуни — Качура. В свое время он вместе с Гершуни, Мельниковым и Сикорским был отвезен в Шлиссельбург и содержался в старой исторической тюрьме, вдали от нас, старых шлиссербуржцев, находившихся в тюрьме, открытой в 1884 г. На суде по отношению Гершуни Качура вел себя довольно двусмысленно, в шлиссельбургской тюрьме, не в пример прочим, он пользовался некоторыми льготами, работая в мастерской, чего не позволяли другим, и, наконец, до истечения срока был увезен из крепости для отсылки в Мезень. По словам рассказчика и зрителя, он был ненормален.

Ровно через месяц после моего выхода из Шлиссельбурга, 29 октября, после обычного обхода камер смотрителем, когда все затихло и никто уже не мог нарушить моего покоя, я, сидя в своей одиночке, вынула из столика, бывшего в камере, № "Революционной России", издававшейся за границей партией социалистов-революционеров.

Со смешанным чувством удивления и невольного удовлетворения я пробежала страницы этого подпольного органа, чудом залетевшего в мою камеру и после 22 лет отлученности приобщавшего меня к идеям, за которые боролась и погибла "Народная Воля". Я читала о народовольцах; стояли имена Ашенбреннера, мое и других товарищей. Поминали казненных, поминали погибших в Алексеевском Равелине и поминали нас, оставшихся в живых. Поминали горячим словом, с горячим чувством и громко признавали нас предтечами и своими родоначальниками.

Погребенные в Шлиссельбурге, мы, в нашей живой могиле, думали, что мы забыты и не оставили следа в последующем поколении. Никогда не помышляли мы ни об исторической роли, ни о памяти в потомстве.

Когда один из младших товарищей, Манучаров, желая воздать хвалу нам, говорил в одном стихотворении о славе, я в стихотворной форме остановила полет его мечтаний, указывая, что не мысль о славе должна поддерживать и одушевлять нас:

”В исполненном долге отраду искать
В своем заточеньи мы будем!” — говорила я.

И вот, через четверть столетия идея, которая не умирает, подняла новую, несравненно более высокую волну революционного движения, 25 лет тому назад не достигшего своих целей, и на вершину гребня вынесла имена прежних борцов за свободу.

Нас помнят, нас знают, нас признают. А мы, уходя с политической арены, со стесненным сердцем оглядывались назад и скорбели, что мы оставлены и одиноки, и нет рук, которые подхватили бы выпавшее из наших рук знамя.

Ненокса

18-го ноября, ровно через месяц по приезде в Архангельск, меня отвезли в посад Неноксу. Это было обставлено большой помпой. Предварительно становой пристав проехал сам, чтоб удостовериться, что путь вполне установлен: Северная Двина — встала и прибрежный лед Белого моря, по которому на несколько верст шел путь, — достаточно крепок.

Утром, часов в 9, у ворот тюрьмы уже находилась моя сестра Ольга и несколько ссыльных, непременно хотевших проводить меня. Пришли бы и все — их было более сотни в городе, — но мы отклонили демонстрацию, которой боялась полиция, как раньше, при моем приезде, отклонили проект молодежи устроить манифестацию около тюрьмы. Я не могла допустить возможности избиения этой молодежи казаками, когда я оставалась бы в бездействии за решеткой тюрьмы. Три экипажа уже ждали меня: в одной из кибиток поме-

стилась я с сестрой; в другой — исправник с урядником, а в санях сидели два стражника — моя будущая охрана в Неноксе. Кортеж вышел внушительный, и во всех селах по дороге, как и на станции, где меняли лошадей, производил сенсацию: жители думали, что едет начальник губернии или еще более высокая особа.

Из Архангельской тюрьмы я не раз писала княжне Марье Михайловне Дондуковой-Корсаковой, которая проникла в Шлиссельбург незадолго до моего выхода, а потом посетила меня в Петропавловской крепости перед отъездом в Архангельск. Адрес, на котором стояло: "Ее Сиятельству", создавал мне особенный престиж, распространившийся далеко за пределы тюрьмы, и наряду с торжественностью проезда послужил поводом к смешным толкам и целым легендам о моей особе. По всей округе прошел слух, что в Неноксу привезена придворная дама, попавшая временно в опалу; разрастаясь, легенда пошла дальше и меня наделили титулом княгини. Женщины, приходившие продавать яйца и куропаток, таинственным шопотом просили сестру "показать им княгинюшку". Я стала наконец, — великой княгиней Елизаветой Федоровной, приехавшей из Москвы узнать о положении народа. Устно и письменно, именуя меня княгиней и сиятельством, ко мне обращались впоследствии с просьбами о помощи, ссылаясь на "холод и голод", и с разными ходатайствами об облегчении участи.

Отвыкшая от путешествия на лошадях, после 70-ти верст почувствовала себя совершенно разбитой. Сестра поспешила уложить меня на диванчике почтовой станции, где мы нашли первый приют. Но, едва мы стали устраиваться, вошел стражник и заложив руки за спину, стал греться у печки. "Что вам тут надо?" спросила Ольга. — "Приказано быть при вас", — отвечал стражник.

Сестра вскипела и тотчас отправилась на въезжую, где остановился исправник.

После споров и перекогов — стражник был введен в исполнение своих обязанностей в должные границы.

Надо сказать, что вопрос о стражниках поднимался еще в Архангельске: исправник объявил сестре, что в Неноксе стражники будут по очереди дежурить в *моей квартире и день, и ночь.*

Этого сестра уж никак не могла допустить: пусть стражники днюют и ночуют у дверей дома, где я буду жить, но в *квартиру* к себе мы, их не пустим.

Она-таки отвоевала это, хотя исправник и взывал к нашему чувству гуманности, указывая на 35 — 40-градусные морозы Архангельской губернии, от которых при наружном наблюдении могли пострадать стражники.

На другой день, укутанные, как следует, мы отправились с сестрой искать квартиру, и было странно в первый раз идти без жандарма впереди и сзади. Впрочем, в почтительном отдалении, шел и теперь один из моих соглядатаев. Посад имел 2 тыс. жителей, и когда накануне наша кибитка въехала в улицы, я с любопытством смотрела на дома, большие, двухэтажные, со множеством окон, что особенно обращало внимание, в виду холодного климата губернии. "Да это лучше нашего уездного города Тетюш, как я его помню тридцать лет назад", сказала я сестре, и мы надеялись без труда найти подходящее помещение для нас.

Увы! квартиру подыскать было не легко.

Казенного леса в Архангельском уезде много и он отпускается крестьянам за самую незначительную плату. Благодаря этому, многие жители посада имеют не один, а два дома. Но, хорошие снаружи, они внутри находятся в разрушении: создается впечатление, что хозяева когда-то жили богаче, а теперь переживают кризис. Стены оклеены обоями, но они оборваны, висят клочьями и колышатся от ветра, залетающего в разбитые стекла рам; полы, некогда выкрашенные, — облезли и загажены. Сами хозяева, оставив просторные хоромы, ютятся где-нибудь в пристройках или в грязных избах.

Походив напрасно по улицам, мы набрали наконец на покосившийся двухэтажный домишко, в котором за 15 р. в месяц нам предлагали взять верхний этаж из 3-х комнат и кухни. Желая поскорей устроиться, мы сняли эту развалину, в которой потом ежедневно угарали и лежали недвижимы с головной болью с утра до вечера.

Вслед за нами, в тот же день, в этот дом переехали и стражники, занявшие нижний этаж его. Надзор за

мной был таким образом вполне обеспечен и, на зависть посадским мещанам, они зажили прекрасно. "И за что они 25 рублей в месяц жалованья получают?" — удивлялись жители. — "Живут, как коты: едят, пьют и на печи валяются".

Если квартира была отвратительна: холодная, угарная, с сильно покосившимися полами, то недостатка в предметах питания мы не испытывали. Край богат птицей, рыбой, зверем. Два охотника из местных жителей в зиму убили 11 лосей, прекрасных животных, величиной с быка. Шкуру с большими развесистыми рогами они продавали в Архангельске за 5 рублей, а мясо по 3 — 5 коп. за фунт сбывали в самой Неноксе. В изобилии были рябчики, куропатки, тетерки, которых ловят в сетки, расставленные на большом пространстве. Рыба из ближайших озер и весной из моря продавалась задешево. Недоставало хорошего молока: за скудостью в этой местности лугов коров кормят "исландским мохом". Богатый слизистыми веществами — он придает молоку тягучесть и неприятный вкус. Так как молока мало, жители бьют телят уже двухнедельными, лишь бы не тратить на них дорогой продукт. Главною пищей населения служит рыба, в особенности любимая треска. Мало просоленная, она представляет полуразложившуюся массу, издающую зловоние, но жители находят ее вкусной. В этих широтах рожь уже не сеют и мука привозится из Архангельска. Обыкновенно ее смешивают с ячменем, который в полях заменяет здесь рожь; но и он часто не вызревает. Ни капусты, ни каких-либо других овощей, не говоря уже об огурцах, воспитать здесь нельзя. Но картофель сажают. Летом, говорят, редко бывают три ясных дня подряд. Кроме земледелия, жители, общий облик которых походит на мещан, занимаются охотой, рыболовством, извозом, лесным промыслом и солеварением. Последнее ведется чуть ли не с Новгородских времен и организовано на артельный лад: соляными колодцами владеют на паях, которые передаются по наследству и могут продаваться. У одних посадских один пай, у других — 2 — 3 — 5. Варка соли происходит в здании, принадлежащем всем пайщикам. Сообща они нанимают и солевара, который, кроме жалованья, получает пищу от того лица, соль которого в

данный момент варится. В среднем, одна варка дает 100 — 110 пудов соли, которая поступает в общий склад в Архангельске, куда сплавляется сначала по реке Неноксе, а потом морем.

Если урядники зорко следили за местными жителями и всячески отпугивали их от меня, то тем бдительнее они были по отношению к людям приезжим. Из Архангельска нет-нет да кто-нибудь наведывался ко мне. Это были находившиеся в административной ссылке: присяжные поверенные Балевский и Переверзев; приват-доцент Петербургского университета химик Гольштейн; ярославский помощник Кладищев и некоторые другие. После каждого приезда, ко мне являлся урядник и спрашивал, кто был у меня. Мы не находили нужным скрывать и я называла своих гостей. Однажды, наскучив этими приставами, я ответила: был правитель канцелярии губертатора (Макринов) и его знакомые. Это произвело ошеломляющее впечатление, но на другой день полиция раскрыла мистификацию и была в большой претензии за эту проделку. Эти посещения из Архангельска вызывали со стороны губернатора постоянные угрозы выслать меня из Неноксы в места, более отдаленные, *"если я не перестану принимать посетителей из Архангельска"*. Я отписывалась, что не могу же запретить людям приезжать ко мне.

В самом деле, как могла я не принимать людей, которые первые приветствовали мое освобождение из Шлиссельбурга? Не говоря о том, что они хотели устроить в честь меня манифестацию перед Архангельской тюрьмой, они прислали мне в Неноксу два адреса с сотней подписей. Как тот, так и другой, почти в одних и тех же выражениях, приветствовали меня, как члена "Народной Воли", и в горячих выражениях высказывали пожелания и надежды на близость водворения в России свободы. Трогательно было то обстоятельство, что первую подписью под одним из этих адресов была подпись крестьянина села Вязьмина Петровского уезда Саратовской губернии, где в 78 — 79 г. я служила в земстве. Я лечила отца этого крестьянина, а он был еще мальчиком; быть может, ходил в ту неофициальную, закрытую полицией, школу, в которой жившая со мной сестра моя, Евгения, обучала вязьмин-

ских ребят грамоте. В то далекое время это село жило исключительно земледелием, не зная никаких отхожих промыслов. Но крестьяне сидели на даровом наделе, были бедны, и с тех пор нужда потянула молодежь в города, на фабрики и заводы. Молодой парень, подписавший адрес, работая в городе, примкнул к революционному движению, участвовал в стачках, был выслан в административном порядке, и теперь обращался ко мне, как революционер к революционеру — старшему товарищу своему.

В ответ на приветствие ссыльных я написала то письмо, которое Якубович назвал стихотворением в прозе и поместил в сборнике моих стихотворений, напечатанном в 1906 году.

Вот его текст:

"Дорогой товарищ! Я получила ваши приветствия и сердечно благодарю за них. Сказать вам, что я тронута ими — было бы сказать слишком мало: они пробуждают целую волну смешанных чувств, в которой звучит и радость, и печаль. Радостно видеть вашу бодрость и смелость, видеть ваше одушевление и многочисленность... Радостно слиться с вашими надеждами на лучшее будущее... Но грустно оглянуться на пережитое и на оставленных друзей... Если бы хоть маленькая струйка вашего сочувствия, хоть маленький приток вольного воздуха и свежих людей проникал к нам, — нам жилось бы легче! Но мы были оторваны всецело и безнадежно от всего дорогого и милого, и это было, пожалуй, тяжелей всего...

"Часто воображение рисовало мне картину Верещагина, в натуре никогда, впрочем, не виденную мною: на вершине утесов Шипки, в снеговую бурю, стоит недвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом... Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены... Но смена медлит... смена не приходит... и не придет никогда! А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой... И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.

"Так жили и мы, год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания и даже воспоминания, которые тускнели и стирались... Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых мо-

лодых сил... Но все было тщетно: мы старались, изжидали свою жизнь, — а смены все не было и не было!

"И мнилось, что все затихло, все замерло... и на свободе та же пустыня, что и в тюрьме...

"Но — нет! Мы были отторгнуты от жизни, но жизнь не прекратилась и шла другими многочисленными руслами... И то, что некогда было сравнительно небольшим течением, превращается ныне в бурный и неудержимый поток. Только стены были слишком непройцаемы и глухи, и мы лежали, как мертвый камень лежит на русле, временно покинутом или обойденном большой рекой"...

Настроение

Каково было мое настроение в Неноксе? С внешней стороны все было благополучно. После того, как первый приют, хоть и плохой, был найден и мое несложное хозяйство наладилось, благодаря девушке, Груше Рыбиной, которая раньше служила у Балавенских и оказалась очень преданной мне, — сестра Ольга уехала и ее заменила сначала сестра Лидия, приехавшая из Петербурга, а потом Евгения. Лиденка писала брату, что я бодра и весела. Иногда мы много говорили — так многое надо было рассказать друг другу! — по временам не мало было и смеху по поводу разных хозяйственных и житейских мелочей и неудач. Но внутренне я чувствовала себя нехорошо. Я потеряла равновесие, в котором находилась в крепости. "Я живу теперь не только на физическом, но и на моральном косогоре", — писала я племяннице, намекая на совершенно косою пол моей первой квартиры. "Это пройдет", — отвечала она. Но *это* не проходило. Еще в Петропавловской крепости я со страхом заметила, что память у меня совершенно исчезла. Еще там, сколько ни старалась, я не могла вспомнить, как называется столица Швеции и в какой стране находится Копенгаген. Все знание, приобретенное и годами накопленное в Шлиссельбурге, вылетело из моей головы. Мне было стыдно, больно; я хотела бы скрыться, спрятаться ото всех. Как! Двадцать лет провести в крепости и не обогатить ума?! Даже забыть то, что знала прежде, — в то время, как на свободе люди продолжали идти вперед. Не-

ужели же я даром занималась всем, чем только возможно было в наших условиях: химией, физикой, астрономией, геологией, ботаникой и зоологией, не говоря уже о том, что хватала на лету все. Было с кем говорить, когда была к тому охота, а нет — я уходила в свою комнату и занималась, не давая себе времени для размышлений. Я переводила с французского сочинение Фабра, его замечательные статьи по энтомологии; написала журнал "Cosmopolis" и перевела с немецкого воспоминания Фонтана о революции 48 года в Берлине, — вещи, которая нигде потом не были напечатаны; рисовала и раскрашивала карты континентов в различные геологические эпохи; немного гуляла. Морозы стояли трескучие — дух занимало, когда, бывало, выйдешь на улицу, и с удивлением видишь, что местные женщины проходят, накинув на себя только шаль. У них, оказывается, вовсе и шуб нет; одни мужчины ходят в полушубках и тулупах.

Кроме присутствия кого-нибудь из сестер, первый месяц пребывания в Неноксе очень скрашивали мимолетные посетители. По случаю рождения наследника многие административно-ссылные были амнистированы и возвращались из Александровска, Кеми, Колы и других северных захолустий губернии. Вся ссылка знала, что я живу в Неноксе, и никто не проходил и не проезжал, не побывав у меня. Тут были: крестьяне и техники, рабочие и учителя, студенты и статистики со всех концов России. Молодые, бодрые, готовые тотчас же снова броситься в деятельность, — они производили самое приятное впечатление. Ссылка не охладила их стремлений к свободе; для иных она была школой, которая закалила характер, а люди мало культурные развились и умственно окрепли в ней. Особенно понравился мне своей наивностью и простодушием один крестьянин из Калужской губернии. "Сторона наша темная, — рассказывал он. — Я и грамоте-то не был обучен; только в ссылке свет увидел. Да жаль, скоро воротили: еще бы годик либо два побыть — совсем бы просветился". Этот крестьянин жил на одной квартире с пятью другими ссылными. Они обучили его грамоте, занимались с ним арифметикой, географией, развили разговоры и чтением вслух. Все у них было общее и такая совместная жизнь не могла не повлиять

на психологию человека, никогда раньше не бывавшего в постоянном общении с интеллигентами.

Другим ссыльным, понравившимся мне, был серьезный, задумчивый волостной старшина Чебоксарского или Царевококшайского уезда, красивый брюнет лет 35. Он попал в ссылку за какую-то историю с местными властями, историю, в которой он защищал интересы крестьян своей волости. Хороши были и московские рабочие, люди развитые, вдумчивые, не отличавшиеся по своему развитию от студентов. Многие из этих посетителей были слишком легко одеты; статистик из Тамбова возвращался в пальто и калошах, хотя на дворе было —35°. Я очень беспокоилась, что он замерзнет, не доехав до железной дороги в Архангельск. Некоторым я предлагала деньги, но невозможно было уговорить даже самых нуждающихся принять от меня золотую монету. А между тем как раз в это время вышел циркуляр, лишавший ссыльных права дарового проезда на лошадях. Приходилось несколько человекам складываться, чтобы нанять подводу, и они ехали в розвальнях на одной лошади в снежную вьюгу и в лютый мороз, совершая дальний путь до Архангельска. А иные — шли пешком.

За месяц я перевидала несколько десятков этой молодежи. Они приходили; сестра поила их чаем и угощала тем, что случалось под рукой; они рассказывали, за что попали в ссылку, о своей жизни в ней, и, побеседовав часа полтора, спешили продолжать путь; мы тепло расставались, чтоб уж никогда не встретиться — так далеко они должны были рассыпаться по лицу земли русской.

Таким образом этот первый месяц, от 18 ноября до 20 декабря, я имела не одну минуту удовольствия от встреч с новыми молодыми товарищами, приносившими мне привет и ласку. Их молодость и бодрость радовали и заражали верой в будущее нашей родины.

Теперь было не то. Поток ссыльных прекратился, сестры уехали, и я осталась одна в шести верстах от Белого моря. Одних неистовых ветров с моря было достаточно, чтобы расстроить нервы. Они свирепствовали, главным образом, по ночам и порой совершенно не давали спать. Если в первой квартире ветер шелестел в обоях, которые отстали от стен, то маленький домик со множеством окон он пронизывал насквозь; он колы-

хал занавески, подвешенные вместо дверей, и казалось, готов был сорвать домик с земли и умчаться в море. К одной из наружных стен был прикреплен высокий шест, на котором весной хотели поставить скворешницу; этот шест, при каждом порыве бури, скрипел, как мачта на судне. И мне мерещились волны, оборванные паруса, море, готовое поглотить меня.

Холод в моем домике при ветре был нестерпимый. Случались дни, когда, одевшись поутру и не будучи в состоянии переносить стужу, я укладывалась на кровать, покрывалась шубой и Груша, моя прислуга, приносила самовар, который должен был весь день кипеть, чтоб, стоя на табурете подле кровати играть роль грелки. Было так холодно, что я не могла держать в руке книгу, да я и не могла что-либо воспринять из нее: казалось, самая мысль цепенела и застывала от ледянящей стужи окружающего воздуха, и я лежала по целым дням неподвижная окоченелая, с одним сознанием бесцельности и нелепости подобного существования. К тому же я хворала: у меня была ангина, которой я заболела каждые 10 — 14 дней, так, с непривычки мне было трудно переносить климат этих широт.

Мне не к кому было пойти: ни одного товарища, ни одного — равного мне! Нечем было развлечься, кроме разговора с маленьким нищим, которого мать посылала для прокормления собирать милостыню. Каждое утро этот пятилетний крошка стучался в мою дверь и я угощала его чаем с булкой. С достоинством говорил он, что "кормит свою мать", и однажды поразил меня ответом на вопрос: зачем ему мать? Задавая этот вопрос, я соблазняла мальчика, уговаривая остаться у меня навсегда. "Разве тебе нравится ходить по миру и собирать куски Христа ради?" — спрашивала я. Нет — ему не нравится. "Ну, вот, будешь жить у меня, так не придется просить милостыню: у тебя все будет. Я сошью тебе красную рубашку и куплю сапожки". — А как же мама? — спрашивал ребенок. "Мама будет работать и работа прокормит ее. Ты подумай только: вместо того, чтоб с сумой ходить, ты будешь жить в тепле, я буду учить тебя, потом отдам в школу. Оставайся-ка!" — А как же мама? — повторял Ваня. "Ну, что же мама! Зачем тебе мама?!" — сказала я.

Ребенок молчал, потом поднял голову и с улыбкой привел неотразимый аргумент:

— *Зачем?! А мы вечером обнимемся, да и спим!* — сказал он.

Этот милый ответ бил прямо в центр. *У него было кого обнять; и у его матери был он, которого она могла обнять; была привязанность, любовь, ласка. У меня ничего этого не было. Мне не с кем было даже поговорить и все, что было мрачного и горького в моей судьбе, вставало в памяти и заслоняло весь горизонт. Казалось, будущего у меня нет и быть не может. Если бы мое одиночество продолжилось неопределенное время, если б Александра Ивановна не приехала разделить мою жизнь в этих условиях и я была бы предоставлена самой себе в этой безбрежной снеговой пустыне, в этом холодном безлюдье, — разве смогла бы я победить себя, победить непреодолимое стремление погрузиться в Нирвану?*

Вскоре после моего приезда в Неноксу, в один несчастливый для меня день и час, в сумерки, перед тем, как зажигают огни, сестра Ольга открыла мне то, что до тех пор скрывала. Она сказала: "Верочка! Твой товарищ Янович в Якутске застрелился: он не мог жить!" Как подкошенная, я грохнулась во весь рост на пол, с рыданьем. Склонясь надо мной, сестра, чтоб исчерпать сразу весь ужас известий, сказала: "И Мартынов, твой товарищ по Шлиссельбургу, тоже застрелился в Якутске". И потом в третий раз сестра сказала: "И третий товарищ твой, Поливанов, тоже застрелился — за границей".

А я лежала на полу и все рыдала, и все повторяла одно и тоже слово: *Зачем?!"*

Теперь, когда я была одна, я опять испила всю горечь и отчаяние по поводу этих самоубийств после Шлиссельбурга, самоубийств "на свободе" тех, кто изжил в заточении все свои силы. В эти 7 — 10 дней, когда я была так нестерпимо одинока, я осознала причину этих самоубийств, я поняла всем существом своим то "зачем", о котором спрашивала, рыдая на полу.

А я? Разве я не изжила всех своих сил?

"Воронец". Елецкого уезда.

VII.1916.

Листая старые страницы

Страна вечных проблем

Раздел публицистики всегда был традиционно сильным в "Русском богатстве", как, впрочем, и в других литературных журналах. Но "Русское богатство" имело к тому и свои особые причины: многие годы журналом руководили писатели, которые сами были активными общественными деятелями и, к тому же, прекрасно владели публицистическим пером. Я имею в виду Ник. Михайловского и Вл. Короленко. Личности этих людей и определяли публицистическую направленность журнала.

Россия — страна вечных проблем. Еще пятьсот лет назад самодержец всея Руси Иван Грозный издал государев указ о борьбе с пьянством — вот с тех пор и боремся.

Один из известных в свое время публицистов Николай Загоскин провел на страницах "Русского богатства" добросовестное историческое исследование вопроса и сумел изложить его в живой манере, вполне соответствующей современным критериям. Остается дополнить это художественное исследование данными за последние три четверти нашего века и перед нами окажется законченный труд, актуальность которого выше всяких похвал. Читатель сам может убедиться в этом.

А темы являлись сами собой — из жизни. Сто лет назад Россию волновали те же проблемы, что и сейчас. Иначе и быть не могло: мы были и остались тем же народом, живущим на той же земле, с теми же стремлениями и надеждами. Так что не стоит удивляться актуальности той далекой публицистики. Русская публицистика не скоро устареет.





ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ЗАГОСКИНЪ¹

Пьянство и борьба съ нимъ въ старинной Россіи²

(Исторические очерки)

”Руси веселие есть пити — не можем без того быти”...

Кому из мало-мальски грамотных русских людей неизвестны эти слова, которые летописец приписывает великому князю Владимиру Святославовичу в качестве мотива, в силу которого просветитель Руси отказался от принятия мусульманского закона, будто бы навязываемого ему миссионерами из далекой Волжской Булгарии? Эти пресловутые слова сделались положительно шаблонными, и их привыкли цитировать и кстати, и не кстати, каждый раз, когда речь заходит о пьянстве русского народа, как в его прошедшем, так и в настоящем.

Хотя представляется более нежели вероятным, что таких слов князь Владимир никогда не высказывал, что эти слова, как и все повествования о выборе им религии, являются одним из легендарных измышлений, которыми так богата наша начальная летопись, — тем не менее, уже тот факт, что древний летописец киев-

¹ Загоскин Николай Павлович (1851 — 1912) — историк русского права, публицист. Не путать с однофамильцем-писателем. Николай Павлович был профессором Казанского университета, редактором-издателем “Волжского вестника”, ученым секретарем общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

² “Русское богатство”, 1883, № 4.

ский влагает такие слова в уста просветителя России, представляется характерным в деле суждения об истинной приверженности наших предков к крепким напиткам.

Действительно, много пили в старинной России и сильно злоупотребляли наши предки страстью к хмельному. Если в наши дни пьянство русского народа, ставшее на уровень серьезного социального и государственного вопроса, не без основания почитается одною из болезненных язв его общественного организма и вызывает борьбу с собою и государства, и самого общества, то простое требование исторической истины заставляет нас констатировать, что и в старинной Руси злоупотребление крепкими напитками составляло один из крупнейших пороков всех без исключения слоев общества. И в старинной Руси, как и в новой России, пьянство вызывало борьбу с собою и со стороны государства, и со стороны церкви, и со стороны общества. О повальном пристрастии наших предков к хмельному свидетельствуют нам и отечественные, и иноземные источники. Иностранцы, посещавшие Россию, все без исключения поражались, как мы увидим это ниже, русским народным пьянством; они почти в один голос утверждали, что н и о д и н н а р о д в м и р е не предан этому пороку в такой мере, в какой предан ему наш народ.

Русское народное пьянство имеет за собой, таким образом, целую историю, которая не может не представляться интересною хотя бы с точки зрения современной нам борьбы с этим злом. А борьба эта представляется задачею весьма сложною, — настолько же сложною, сколько сложным представляется и самое явление пьянства, которое может и должно быть обсуждаемо и с точки зрения социальной, и с точки зрения политической, и с точки зрения патологической, и с точки зрения психической, и, наконец, с точки зрения исторической. Много говорится и пишется у нас по поводу пьянства, но, к сожалению, в огромном большинстве случаев наши моралисты дальше нравственных сентенций и ламентаций в этом направлении не идут, а не идут они дальше этого именно потому, что самый вопрос о народном пьянстве и о средствах борьбы с ним далеко не разработан еще у нас со всех своих сторон.

Намериваясь затронуть в настоящих очерках вопрос о русском пьянстве — мы далеки от мысли всестороннего обсуждения этого сложного явления: мы берем на себя лишь историческое освещение его, да и то в определенных пределах, ограничивая эти последние до-Петровскими временами русской исторической жизни. Для новой, после-Петровской эпохи соответствующий исторический материал представляется более или менее сконцентрированным, выясненным; для древних эпох этот материал представляется, напротив, разбросанным по источникам самого разнообразного характера и содержания, и до сих пор, насколько нам известно, еще не было сделано попыток более или менее полного выяснения всех относящихся сюда данных. Эту последнюю задачу мы и решаемся принять на себя в том объеме и в том виде, в каком позволяют сделать это размеры и характер журнальной статьи.

Времена доисторические. Свидетельства арабских писателей. — Языческая эпоха русской жизни. — Что пили в старинной Руси. — Пошкочо заморских и русских напитков. — Введение христианства и влияние этого события. — Древнейшая церковная проповедь о пьянстве и воздержании. — Церковь и светское общество в древней Руси.

Мы имеем свидетельство, что крепкие одуряющие напитки были известны нашим предкам еще во времена доисторические, как были они известны всем народам и на всех ступенях их культурного развития. Арабский писатель И б н - Ф а д л а н рассказывает, что у славян существовал особый крепкий напиток из меда, который они называли "саджу" ("сычевка" — по толкованию Сенковского). Приготавливался ими охмеляющий напиток и из сока какого-то неизвестного Ибн-Фадлану дерева, — очевидно, березы. "Они приходят к известному месту ствола этого дерева, — пишет этот автор, — пробуравливают его и подставляют сосуд, в который течет из отверстия жидкость, превосходящая вкусом своим мед; если человек пьет ее много, то пьянеет, как от вина". Не отличались наши предки воздержностью в питии. "Они сильно преданы вину, — продолжает арабский писатель, — пьют его и днем, и ночью, так что иногда умирают с кружкой в руке"...

Ибн-Фадлан, в бытность свою в Булгаре, имел случай видеть обряд погребального сожжения умершего

русса и подробно описывает его. И здесь крепкие напитки играют выдающуюся роль. По словам нашего автора, третья часть имущества умершего русса определяется на покупку "горячего напитка", который и распивается в день печального обряда; этот "горячий напиток", вместе с явствами, ставится на костер для сожжения вместе с покойником; им же напаивают девушку, которая, по обычаю, должна сжигаться вместе со своим господином. Для будущей загробной жизни умершего гарантируется, таким образом, не только подруга, но и возможность возлияния, как необходимого атрибута повседневного быта древнего русса. Аналогичные этому свидетельства оставил нам и другой писатель, И б н - Д а с т а. Он пишет, что, при обряде сожжения своих покойников, руссы предаются шумному веселью, упиваясь особым напитком, приготовляемым ими из меда, а в годовщину этого погребального обряда берут кувшинов 20 меда, который и распивается ими на могильном кургане умершего*.

Мы без труда узнаем в этих свидетельствах указание на наши древние языческие т р и з н ы, о которых говорят и русские летописи и которые надолго пережили самое падение язычества; остатки этих тризн сохранились и до наших дней в виде "родительских суббот" и других дней поминания умерших, ознаменовывающихся, как известно, обильными попойками. Христианская церковь всегда упорно протестовала против этих переживаний язычества, при которых, как обличает это Стоглав, — "вино топчат и вино переливают, и гласования и вопль великий творят неразумные, еллинского бога Диониса, пьянству учителя, призывают, и вкус услаждают, и пьянство величают"... Хмельные напитки были необходимою принадлежностью языческой тризны. Начальная летопись, — рассказывает предание, — будто великая княгиня Ольга, отомстив древлянам за смерть своего мужа, велит им "ставить меды многи зело" для тризны, на том самом месте, на котором умерщвлен был Игорь; на этой тризне опоенные древляне были предательски изрублены княжескими дружинниками.

* Гаркави: "Сказанія мусульманскихъ писателей о славянахъ и русскихъ" Спб. 1870, с. 87, 91, 265.

Но не одни тризны вызывали в наших отдаленных предках склонность к хмельному. Вино (в широком понятии этого слова, конечно) всегда было любо сердцу их, — не даром влагает летописец в уста Владимира сентенцию о том, что "Руси веселые есть пити, не можем без того жити". Во время похода своего на Византию Олег, вступив с греками в мирные переговоры и выговаривая для прибывающих в Царьград руссов разного рода льготы, — от беспошлинного торга и получения за счет греческого правительства провианта до права мытья в константинопольских банях включительно, — требует и снабжения своих соотечественников в византийской столице даровым в и н о м. Осажденные греки, желая задобрить Олега, предавшего огню и мечу окрестности Царьграда, высылают ему в дар "брашно и в и н о", от которых русский вещей князь отказывается только потому, что подозревает в них отраву. В и н о фигурирует и в перечне военной добычи, вывезенной руссами из Византии.

А гомерические пиры "ласкового князя" Владимира Красного Солнышка? Кому неизвестны они из былин нашего героического эпоса? Здесь пьяный разгул являлся неразрывно связанным с богатырскою молодецкою удалью. Здесь княжеские гости напиваются, а напившись — "похваляются" и дают широкий простор своим богатырским силам. Это пиры, на которых, по словам одной из былин —

Чашу пьешь — другую пить душа горит,
Другую пьешь — третья с уме нейдет...

В былинах этого цикла фигурирует и удалой Илья Муромец, требующий от князя, чтобы в Киеве на три дня открыты были для народа кабаки и пивоварни, в которых он с утра до ночи и пьянствует с буйною "голью кабацкою". Трудно найти другой цикл произведений народного творчества, в которых так идеализировался бы пьяный разгул и ставился бы в такую тесную связь с проявлением стихийной силы, как это бросается в глаза в былинах нашего героического эпоса, да и во многих других произведениях русской народной словесности. А кто станет в наши дни спорить о том, что эти последние являются непосредственным от-

ражением тех идеалов, того круга мировоззрения, которыми проникнута была жизнь народа в те или другие эпохи его исторического бытия?

Помимо потребления его, в качестве предмета наслаждения, вино издревле известно было и в качестве средства для врачевания. Знаменитый врач древности, Асклепиад, впервые введший вино в область терапии, выразился несколько сильно, что "едва ли могущество богов равняется пользе, приносимой вином". Вино, в качестве средства врачевания, было известно и в старинной России. По сказанию былин, будущий славный богатырь Илья Муромец, 30 лет сиднем сидевший в родном селе Карачарове и лишенный владения конечностями, излечивается "чарочкою питьица медвянаго", которую подносят ему калеки перехожие. Эта чарочка возымела чудодейственное последствие:

Как выпил Илья чару питьица медвяного —
Богатырское его сердце разгорелось,
Его бело тело распотелось —

и почувал в себе карачаровский калека "силушку великую"... В Московской Руси лечебные свойства вина получают официальное признание. Всевозможные виды "водок", т.е. настоев и декоктов на хлебном вине, играют видную роль в фармакопее московских царских аптек, а при Аптекарском Приказе находилась особая "пивоварня", в которой гнали и заготавливали эти целебные "водки". Известно, что и в наши дни разного рода настои на простом вине пользуются большим распространением в области народной медицины.

Впрочем, хлебное вино стало известным нашим предкам относительно поздно — и, конечно, только потому, что самое изобретение винокурения относится лишь к концу XIII века. Является, во всяком случае, несомненным, что как хлебное вино, так и винокурение существовали на Руси уже в XV столетии; есть основание думать, что искусство курить вино было заимствовано нами от генуэзцев, имевших колонии по северному побережью Черного моря. Чем же удовлетворяли наши предки своему "веселию пити" до появления у них хлебного вина? М е д составлял древнейший и чистославянский вид крепких напитков, в пригото-

лении которого предки наши отличались необыкновенным искусством, отчасти и до наших дней сохранившимся еще в отдельных местностях коренной России; добрая чара старого русского меда была способна свалить с ног человека даже крепкой и привычной комплекции. Умели предки наши варить и особый хмельной квас, который даже в XVI — XVII веках еще упоминается в числе предметов корчемной продажи, а также брагу, — напиток, очевидно, столь же древний, как древни и родственные ему слова: "бражник", "бражничать". Сношения с скандинавами познакомили русских с местным пивом "ол", которое не замедлило переименоваться у нас в "олуй"*.

Рано возникает у наших предков знакомство и с виноградным вином, которое первоначально шло к нам из Греции. Руссы берут с греков военную контрибуцию, между прочим, и вино. Святослав, мотивируя свое намерение поселиться в Переявлавце на Дунае, заявляет, что сюда стекаются из окрестных стран "вся благая", а в том числе из Греции — золото, дорогие ткани и вина. Позже, когда северо-западные русские города завязали деятельные торговые сношения с Ганзейским союзом, тогда в лице Новгорода, Пскова и Смоленска открылись рынки, через которые шло на Русь иноземное виноградное вино и пиво; в начале XIV века новгородцы уже жалуются, что немецкие купцы привозят к ним эти напитки слишком низкого качества. Со второй половины XVI века открываются у нас торговые сношения с Западной Европою (Англией) через Архангельский порт. В числе предметов ввоза упоминаются здесь и иноземные вина, которые ежегодно в значительном количестве скупались у Архангельска, как казной, так и частными лицами. Эти ввозные иностранные вина вызывали великое негодование нашего известного экономиста-самоучки, Ивана Посошкова, стоявшего за покровительство русским крепким питьям: "Лучше в воду деньги метать, — пишет Посошков, — нежели за море за питье их отдавать. Нам от заморских пятий, кроме тщеты и богатству нашему российскому препятия и здравию повреж-

* Погодинъ: "Исследования, замѣчания и лекціи о русск. исторіи" (М., 1846), т. III, с. 441.

дения, иного нет ничего. А нас, россиян, благословил Бог всяких питий довольством: водок у нас такое довольство, что и числа им нет; пива у нас предорогие и меды у нас преславные, вареные, самые чистые, что ничем не хуже рейнского, а плохого рейнского и гораздо лучше. Есть же у нас и красные пития — каразин, и меды красные ж — вишневые, малиновые, смородинные, костяничные и яблочные”...

Во второй половине XVII века возникает у нас, в Астрахани, и свое собственное виноделие, которое было здесь делом “царским”; несмотря, однако же, на хлопоты местных воевод и на выписку из чужих краев улучшенных пород лоз и знающих виноделов, дело это долго оставалось здесь в зачаточном состоянии, туго развивалось, и астраханского красного виноградного вина едва хватало на церковные потребности государева двора.

В конце X века произошло событие, которому суждено было оказать глубокое влияние на условия последующей культурной жизни русского народа: христианство, семена которого уже раньше брошены были в Приднепровьи, объявляется господствующей и государственной в русской земле религией. Легендарное летописное повествование гласит, будто несколько религий предлагалось великому князю Владимиру, — в том числе и магометанская, проповедниками которой явились к нему волжские булгары. “Какова ваша вера?” — спросил их киевский князь. — “Веруем Богу, — отвечали булгарские миссионеры, — а Магомет нас учит: свинины не есть, вина не пить, а в загробной жизни каждый правоверный получит красавицу, краса которой будет составлена из красоты семидесяти прелестнейших гурий”. Сладко внимал русский князь этим обещаниям, — добавляет летопись, — но нелюбо было ему требование “о неядении мяс свиных и о питии отнюдь”, — и будто бы тут же изрек Владимир по этому поводу пресловутый афоризм: “Руси веселие есть пити, не можем без того быти”.

С этим афоризмом, в его не в меру широком приложении к действительной жизни, неминуемо довелось

считаться и молодой русской церкви, как до наших дней доводится считаться с ним русскому самосознанию. С самого введения на Руси христианства не переставал раздаваться у нас пастырский голос против пьянства, хотя русская церковь никогда не предъявляла в этом направлении таких категорических императивов, какие предъявляет в этом вопросе закон Магомета. Учение христианской церкви, всегда горячо протестовало лишь против злоупотребления этим продуктом, всегда ополчалось лишь против п ь я н с т в а. В одном из древнерусских поучений против пьянства высказывается мысль, что "питие на веселие дано, а не на пьянство", причем приводятся слова св. апостола Павла о том, что "святые отцы не возбранили нам пити и ясти в подобное время, но отrekli объядения и пьянства". Точно также и один из столпов подвижничества первоначальной эпохи жизни русской церкви, преп. Феодосий Печерский, учит в своем известном "Слове о пьянстве", что — "пить можно, но в закон, во время и славу Божию". Известно, далее, что православная церковь допускает во время постов, в установленные дни, разрешение "от вина и елея", а Кормчая книга прямо объявляет, что "не грех пить вино" и вкушать масло даже в великие черверток и пятницу, если на эти дни выпадает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы. Весьма характерно и то, что церковные уставы первых христианских русских князей, вооружаясь против пороков современного общества, ничего не говорят о пьянстве мирян, — и только Церковный устав, приписываемый великому князю Ярославу, определяет взыскание с попа или чернца, который "упьется б е з в р е м е н и". Следовательно, и в данном случае, даже в применении к лицам белого и черного духовенства, речь идет лишь о з л о у п о т р е б л е н и и крепкими напитками.

Христианское духовенство, — первоначально греческое, а затем и воспитанное в его воззрениях и традициях русское, — с самого начала столкнулось на Руси с целым рядом явлений и в жизни государственной, и в жизни правовой, и в жизни общественной, которые стояли в противоречии с духом и основами учения новой религии. Вполне естественно, что в интересах самого успеха христианской проповеди духовенство не

могло обойтись без некоторых компромиссов, без некоторых уступок в пользу общества, всецело проникнутого еще остатками языческого мировоззрения. Приходилось делать такие уступки и в области афоризма, возвещавшего, что "Руси веселее есть пити"... Да и могло ли наше духовенство, хотя и проповедывавшее византийские традиции сурового аскетизма и подвижничества, поступать в этом отношении иначе, когда многие князья русские сами подавали пример невоздержанности в практическом применении этого афоризма? Просматривая летописи, мы находим в них бесконечный ряд указаний на попойки князей, как между собою, так и с дружинниками. Грандиозные пиры в. к. Владимира, на три дня отворяющего кабаки и пивоварни для "голи кабацкой", достаточно увековечены былинами и летописями. Святополк, перед решительною битвою своею с Ярославом, всю ночь проводит в пьянстве с дружиною. Князь Ростислав погибает в Тмутаракани от яда, подсыпанного ему в вино во время попойки его с дружиною. Великий князь Изяслав Новгородский устраивает у себя "пир на весь мир", причем бирючи ходили по улицам и скликали на княжий двор всех встречных — "от мала и до велика". В 1217 г. были коварно избиты князем Глебом, во время веселого разгула пира, 6 родственных ему князей, вместе с своими боярами и слугами. Иногда летописные повествования о невоздержности князей принимают совершенно своеобразный и наивно-откровенный характер. Приезжает, например, один князь к другому в монастырь: "Куме, напьемся!" — добродушно предлагает он хозяину. — "Напьемся!" — соглашается хозяин — "и начаша пити". Воздержание было, по-видимому, качеством настолько редким в русских князьях удельного периода, что летописец, характеризуя личность отошедшего в вечность князя, никогда не упускает случая, если представлялась к тому возможность, отметить склонность его к трезвому житию, а в одном месте летописец патетически восклицает по адресу князя, отличавшегося невоздержанностью по отношению к хмельному: "Люто граду тому, в нем же князь юн, любя вино пити с гуслиями и молодыми советники!"...

И держали же древние русские князья и дружини-

ки их, в своих "медушах" и погребах, изрядные запасы крепких питий! В гридницу в. к. Владимира без зова приходили пить и дружиники, и старцы городские — "при князе и без князя". В XII веке, при разграблении в Путивле Святославлева княжнего двора, в погребах этого последнего было найдено 500 берковцев меда и 80 корчаг вина. При разграблении в 1229 г. князем Даниилом Судиславлева двора, в погребах его оказалось столько вина, что, по выражению летописца, даже "пристраньно были видети"...

II

XIII — XV века в отношении к нравственному состоянию русского общества. — Падение нравов к XVI веку и причины его. — Пьянство на Руси в XVI и XVII веках. — Свидетельства иностранных писателей. — Свидетельства русских источников. — Пьянство в высших слоях общества. — Пьянство духовенства.

Во второй четверти XIII века стряслась над удельною Русью злая невзгода, оставившая глубокие следы на последующем историческом развитии русской жизни. Этою невзгодой явилось татарское покорение, более двух веков тяготевшее над Русью и нанесшее непоправимый удар ее удельно-вечевым устоям. Вслед за татарским погромом совершается в течение двух же столетий знаменательный исторический процесс, известный под наименованием *м о с к о в с к о й ц е н т р а л и з а ц и и*. Москва, еще по второй половине XIII века бедный и незначительный удельный городок, в силу стечения исторических условий, распространяться о которых мы в настоящее время не можем, начинает быстро возвышаться и обогащаться, приобретает значение великого княжения, начинает концентрировать вокруг себя другие русские княжения и автономные области, свергает в исходе XV века татарское иго и к половине XVI столетия выливается в форму единодержавного и самодержавного Московского царства.

Нельзя сказать, чтобы XIII, XIV и XV века были благоприятными для подъема нравственных сил русского общества. Падение, под ударом татарского покорения, исконной вечевой организации, принижение, наряду с этим, земских устоев жизни, сменившихся

грубою властью азиатской орды, взаимные распри князей, народное раззорение, чувство беспомощности и гнет безысходной нужды, обиды и насильства, хаотическое состояние администрации, достигшие своего апогея в пору печальной памяти боярского правления в малолетство Иоанна IV, когда, по выражению летописца, великокняжеские наместники свирепствовали "аки львы", раззоряя и разгоняя по лесам целые общины; наконец, многие явления, которыми сопроваждался самый процесс московской централизации — все эти условия не могли, конечно, способствовать поднятию нравственного уровня общества и его духовному развитию, которое за эти три века сильно попиралось, выразившись, между прочим, во всеобщем упадке в народе грамотности. Падение нравов достигло на Руси, к половине XVI века, крайней степени и один из историков внутренней жизни нашего народа имел полное основание высказать, что "XVI веке в истории нравственно-религиозной жизни русского народа является мрачным и неприглядным"*.

Это падение общественных нравов было в половине XVI века открыто констатировано и с высоты престола. Пылкий и экспансивный царь Иван IV Васильевич уже в первые годы после совершившейся в нем известной нравственной реакции, т.е. в лучшую пору своего бурного царствования, прекрасно сознавал неприглядную картину, какую представляла собою внутренняя жизнь современного общества. "Многие обычаи поистшаталися, и самовластие учинилось, и прежние законы порушились" — заявляет молодой царь на Стоглавом соборе, созванном им в 1551 году для обсуждения мер к улучшению нравственно-религиозной жизни народа. На этом соборе царь предложил 69 вопросов, в которых набрасывает картину настроений современного общества, как духовного, так и светского, усердно прося собор сделать по всем этим вопросам постановления, "рассудя по правилам святых апостолов и святых отцов". Эти-то вопросы царя, вместе с ответами на них собора, образовали сборник церковного права, пользовавшийся у нас практическим применением в течение

* И. Преображенский: "Нравственное состояние русского общества въ XVI вѣкѣ" и пр. (М., 1881 г.), с. 211.

целого столетия (до 1666 г.) и известной под названием Стоглава. Неприглядную картину нравственного состояния общества начертывает нам этот сборник. В жизни духовенства констатируются здесь лицемерие и фарисейство, прикрывающие собою грубое служение благам мира сего, господство самых гнусных страстей и пороков; пали прежние начала строгой монастырской жизни, а монастыри переполнились тунеядцами и сластолюбцами, предающимися самым необузданным чувственным инстинктам; в ряды служителей алтаря становятся, посредством симонии, люди непристойные, нередко безграмотные, от чего терпит ущерб церковное благоустройство и благочиние... "Поисшаталась" и жизнь светского общества. "Бесстрашие вошло в люди!" — восклицает Иоанн, указывая на упадок в обществе благочестия и уважения к религии. Жизнь народа исполнена переживаний древнего язычества, суеверий, бесовских игр и празднеств и "еллинских прелестей". Клятвопреступление и лжеприсяга не вменяются ни во что. Народ верит в волхов и чародеев, ходит за лживыми пророками и пророчицами, держится разного рода "составов и кобей бесовских", пьянствует со скоморохами, сопровождает нечестными обрядами и игрищами церковные требы и праздники; в общество проник разврат и исчезло стыдение между полами; в массах уменьшилась грамотность; всякие люди и бражники пропиваются, играют в зернь, ничем не промышляют и "от них всякое зло чинится, крадут и разбивают, и души губят" и т.п.

Если в представленной Иоанном картине недостатков современного ему русского общества мы и допустим некоторые преувеличения, объясняемые аскетическим складом ума молодого царя, явившимся реакцией предшествовавшей нравственной распущенности его — тем не менее приходится согласиться с тем, что очень невысок был в ту пору уровень нравственного быта русского народа. Это подтверждается и другими, дошедшими до нас от той же эпохи, источниками — и Домостроем, и посланиями русских иерархов, и церковными поучениями, и нравственно-религиозными сказаниями, и актами, и, наконец, свидетельствами современников.

Среди нравственных недостатков русского общества

XVI — XVII веков, о которых так много говорят нам и отечественные и иностранные источники, пьянство являлось народным пороком, который едва ли не более всех других бросался в глаза. Руси всегда "веселее было пить". Но теперь та же Русь пьет уже не "веселья ради" и не "во славу Божию", — против чего не составляли и самые суровые аскеты древней русской церкви, — но теперь она начинает пить хронически, начинает пить эпидемически, возводя пьянство до степени крупного народного недостатка. Она топит теперь в вине и свое горе, она заливает теперь вином и свои радости. Вино сопровождает русского человека от купели до могилы; оно является неизбежным спутником всех сколько-нибудь выдающихся событий его жизни, оно делается необходимым фактором, необходимою стихией его и праздничной, и будничной жизни. Вино заменяло русскому человеку недоступные ему виды увеселений, восполняло отсутствие идеалов, стремлений и интересов более духовного характера. Пили все в ту пору: пили от знатного боярина до худого гулящего человечиска, пили от монастырских келий до убогого сельского погоста, пили от стен московского кремля до затерявшегося в глуши сибирской тайги починка...

Иностранцы, посещавшие Московское государство, всегда поражались повальным пьянством русского народа. Послушаем, что порасскажут они нам в этом отношении.

М а р ж е р е т, французский капитан русской службы при Борисе Годунове и первом самозванце, пишет, что "все русские без различия, и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки, заражены пороком пьянства самого неумеренного; духовенство не уступает мирянам, если еще не превосходит их; как только есть у них хмельное, русские пьют день и ночь, пока всего не осушат".

Другой иностранец, К о н т а р и н и, заявляет, что "главнейший недостаток русских — это пьянство, которым они еще хвалятся и презирают тех, кто не следует в этом отношении их примеру — Московитяне, — продолжает он, — с утра до обеда толкаются по рынкам и площадям, а день свой заключают в питейных домах: глазают, шумят, а дела не делают".

”Несчастливые работники и ремесленники, — свидетельствует английский посол Д. Флетчер, — часто истрачивают в кабаках все то, что должны были бы принести своим женам и детям, часто можно видеть, как они пропивают даже одежду и остаются совершенно голыми”...

Не менее только что цитированных писателей поражен был картиною русского пьянственного жития и Ад. Оларий, саксонский ученый, посетивший Россию в 30-х годах XVII века, в свите голштинского посольства, и основательно изучивший русскую жизнь и русские нравы. ”Русские преданы пьянству более всякого другого народа в мире”, — пишет Оларий. — Когда они не в меру напьются, то, как необузданные звери, неистово предаются всему, к чему побуждают их страстные желанья... Порок пьянства, — продолжает автор наш, — одинаково распространен в русском народе во всех сословиях, между мужчинами и женщинами, старыми и малыми, духовными и светскими, высшими и низшими, до такой степени, что вид валяющегося в грязи пьяного человека — здесь явление самое обыкновенное”. В бытность свою в Новгороде, Оларий видел, как пропившиеся молодцы выходили из кабака — кто без шапки, кто без сапог, а кто и в одной рубашке, если только не буквально голым... От мужчин не отставали в деле пьянства и женщины. В г. Нарве автор наш случайно видел пирушку русских, на которой женщины тянули водку, нисколько не уступая в этом отношении мужчинам. Когда мужья вдоволь напились и хотели идти по домам, тогда жены энергично запротестовали против этого и, не смотря на полученные оплеухи, удержали за собою позицию. Когда же мужья окончательно спились и попадали на пол, жены преспокойно уселись на их спины и продолжали тянуть водку до тех пор, пока и сами не свалились в совершенно бесчувственном состоянии. Оларий констатирует страшное развитие пьянства и в среде духовенства, как белого, так и черного, и дает нам такую неприглядную картину этого пьянства, что мы предпочитаем набросить на нее завесу, отсылая интересующихся этим вопросом к самому сочинению цитируемого автора.

Англичанин С. Коллинс, находившийся в рус-

ской службе во второй половине XVII века, пишет, что у русских "пьянство почитается самым сильным выражением радости на праздниках, и чем торжественнее день, тем сильнее неумеренность. Мужчины и женщины не считают за стыд шататься, идя по улице. После большого угощения, называемого у них подчиваньем (p o s t i v a t), — даже между женщинами высшего сословия, — принято, что хозяйка посылает осведомиться о здоровья своих гостей, — узнать, благополучно ли доехали они домой и хорошо ли почивали, на что гостя обыкновенно отвечает: "Благодарю за угощение, я была так весела, что не знаю, как и домой доехала"... Особенно усиленно пили во время масленицы: "На масленице, — свидетельствует Коллинс, — русские предаются всякого рода увеселениям с необузданностью и пьют так много в последний день, как будто им суждено пить в последний раз на своем веку. Некоторые пьют водку, четыре раза перегнанную, до тех пор, пока рот у них разгорится и пламя выходит из горла, как из жерла ада (b o s s a d i i n f e r n o), и если им тогда не дадут выпить молока, то они умирают на месте... Некоторые, возвращаясь домой пьяными, падают сонными на снег, и если нет с ними трезвого товарища, замерзают на этой холодной постели; если кому-нибудь из знакомых случится идти мимо и увидеть пьяного приятеля на краю погребели, то он не подаст ему помощи, опасаясь, чтобы он не умер на его руках и боясь подвергнуться беспокоейству расследований, потому что земский приказ* умеет взять налог со всякого мертвого тела, поступающего в его ведомство".

До сих пор мы приводили свидетельства иностранцев, относительно беспристрастности взгляда которых на русскую жизнь в некоторых читателях легко может возникнуть сомнение. Приведем же теперь и отечественное свидетельство, которое лишь подтвердит, в общих чертах, взгляд на пьянство русского народа только что цитированных нами иноземных авторов. Послушаем, что говорит по этому вопросу хорват Ю р и й К р и ж а н и ч (вызванный в 1658г. в Москву царем Алексеем Михайловичем), свидетельства которого, в

* Полицейское установление, находившееся в Москве.

виду склада мировоззрения и личных симпатий этого автора, мы должны считать отечественными: "Недостаток красноречия, лень, пьянство, расточительность составляют наши природные свойства, — пишет Крижанич в своем трактате о русском государстве в половине XVII века. Преимущественно же перед всеми народами свойственно нам пьянство. Что сказать о нашем пьянстве? — продолжает автор наш. — Можно обойти весь свет и нигде не найти такого мерзкого, гнусного и страшного пьянства, как здесь, на Руси... Хозяин дома, — повествует Крижанич, — ни о чем так не заботится, как о том, чтобы скорее спить своих гостей и обратить их из людей в свиней; 3 — 4 часа стоят они за пустым столом, без хлеба и яств, но с одною лишь круговою чашею, а сам хозяин ходит вокруг стола и не дает гостям передышки в питии"*.

Было бы большим заблуждением думать, что пороком пьянства были заражены в XVI — XVII веках одни только низшие и средние классы русского общества. Не менее их преданы были этому пороку и высшие слои современного общества.

Вот какими чертами описывает, например, Котошихин боярские пиры половины XVII столетия. Перед тем, как садиться за стол, хозяин дома велит жене выйти к гостям и ударить им челом; в ответ на это гости в свою очередь кланяются ей в землю, после чего гости целуют хозяйку дома, а та подносит им по чарке вина двойного или тройного, — "а бывает те чарки величиною в четвертую часть квартиры и больше"; кто не пьет простого вина, тому подносят романи или рейнского. Ели старинные русские вельможи феноменально: яств за столом бывало по 50 и даже по 100. Не менее феноменально и пили они при этом. "Таким же обычаем, — рассказывает Котошихин, — и в обеде за всякою явствою пьют вина по чарке и романи, и рейнское, пива, и меда". Возлияния не прекращались и по окончании стола: "А как стол отойдет, и по обеде господин и гости потому ж веселятся и пьют". В то же самое время и совершенно таким же порядком угощались на женской половине хором, и хозяйка дома со своими гостями.

* Ю. Крижанича: "Русское государство в половинѣ XVII вѣка" (М., 1859).

Публично напиваться до-пьяна не стыдились даже государственные люди. "Не только простой народ, — говорит уже известный нам Олеарий, — но даже знатные бояре, даже царские послы, обязанные строго поддерживать в чужих краях достоинство своего государя, и те не знают меры в употреблении предлагаемых им крепких напитков и льют их в себя, как воду, так что теряют человеческий смысл". Олеарий рассказывает следующий случай, имевший место с одним "великим" русским послом, отправленным в 1608 году к шведскому королю Карлу IX. Не взирая на сделанные ему предостережения о том, что водки, которыми его угощали, чрезвычайно крепки, русский дипломат опился ими до такой степени, что на следующее утро, когда ему надлежало отправиться в королевский дворец на аудиенцию — его нашли в постели мертвым. Конечно, только подобным образом действий русских послов за границу объясняется тот факт, что московское правительство неоднократно внушало своим дипломатическим агентам, чтобы они, находясь при иностранных дворах — не п и л и, не дрались и не срамили своим ззорным поведением земли русской*.

Злоупотребляя традиционными русскими законами гостеприимства, московские дипломаты и чины Посольского Приказа усердно старались, и со своей стороны, спаивать иностранных послов, прибывавших в Москву. Барон Герберштейн, посол австрийского императора, рассказывает, что лица, назначаемые состоять при иноземных послах, устраивают в честь их настоящие попойки, на которых и стараются напоить их до-пьяна. "Они большие мастера заставлять пить, — говорит Герберштейн, — и когда уже истощены все поводы к продолжению попойки, тогда они начинают пить за здоровье государя, его брата, наконец, за здоровье лиц, находящихся в почете, думая, что при их именах никто не должен и не может отказаться от чаши". Положение злосчастных иноземных дипломатов становилось в подобных случаях довольно щекотливым, тем более, что не представлялось даже возможности прибегнуть к вполне извинительной в таком положении

* Преображенский: "Нравственное состояніе русскаго общества", с. 132.

симуляции, ибо пили, как говорится — начистоту: "Тот, кто начинает пить, — повествует наш автор, — берет чашу и выступает на середину комнаты и, стоя с непокрытою головою, излагает в речи, за чье здоровье он пьет и чего ему желает, а затем, опорожнив и перевернув чашу вверх дном, касается ею макушки, чтобы все видели, что чаша вся выпита; и таким образом, каждый из присутствующих должен выходить на середину комнаты и возвращаться на свое место, опорожнив чашу". Было только одно средство спастись от этого варварского гостеприимства: нужно было или притвориться пьяным, или заснувшим, — ибо "за хороший прием и угощение считается у москвитян только то, когда гости будут напоены допьяна".

Далеко не чуждо было пьянственному житию и наше старинное духовенство, как белое, так и черное. Общее падение к половине XVI века уровня нравственно-религиозного быта русского народа не замедлило отразиться и в жизни духовенства, и это последнее в XVI — XVII веках не отставало от светского общества в своей приверженности к хмельным напиткам. Стоглав энергично ополчается против пьянства черного духовенства и думает парализовать его, разрешая держать в монастырях только квасы и фряжские вина, но отнюдь не хмельные пития, а тем менее "горячее вино", ибо, говорит этот памятник — "пьянство начало и конец всем злым делам". Подобного рода запрещения практиковались и в последующие времена. Так, в 1649 г. состоялось, в качестве общей меры, запрещение держать в монастырях какое бы то ни было "пьянственное питие, опрочь кваса", за исключением царских и праздничных дней, когда дозволялось ставить медвяные сыты: это запрещение мотивируется тем, что "в монастырях умножилось хмельного пития, и от того хмельного пьяного пития монастыри оскудели, и общежительство, и монастырский чин разрушается", а также терпят ущерб богослужения и церковное благолепие*. Запрещается также по монастырям варка пива и сытение медов, вообще. В рассматриваемую нами эпоху картина монастырской жизни представляется, действительно, крайне неприглядной. В 1682 г., на-

* Акты Археогр. Эксп., IV, с. 57, 485.

пример, возникает целое дело о неблаговидных деяниях наместника Брянского Свенского монастыря, который "у себя в келье пьет и ест со своими советниками и с челядники и с молодыми ребятами", а также "питье хмельное держит у себя доброе, и безвременно у себя пьет и прохлаждается не только сам, но и последний челядник его в прохладе"; в дополнение к своему пьяному житию, этот наместник обобрал драгоценные украшения с икон, расхищал монастырскую казну, бил братию и изнурял ее непосильными работами, — правая же рука наместника, некий дьякон Никон, монастырские деньги "с женками и черницами пропивает, и женки, и черницы у него, дьякона, по многие ночи ночуют в келье". В том же году возникло дело и о соборном старце Саввы-Сторожевского монастыря, Леонтии, который отнимал у окрестного населения, для блудного дела, жен и дочерей, растлевал девочек, а в случае противодействия его похотливым инстинктам, бил непокорных кнутом "на смерть, а не на живот, для блудного же воровства"; в довершение всего, старец этот открыл у себя целую винокурню, производя сидку вина в пять кубов.

Страшно пала к половине XVI века прежняя строгая, аскетическая монастырская жизнь. Хорошо известны те суровые обличения, которые делал по этому поводу Грозный царь Иван Васильевич. Чем же объясняется это понижение нравственного уровня русского монашества XVI — XVII веков? Объясняется оно тем, что в священные обители стали уходить из мира не ради утolenия плоти, воздержания и спасения души, не во имя идеала подвижничества, но ради жажды покоя, ради стремления жить "в отраде, славе и всяком покое", — как обличал это направление еще Максим Грек. Бичуя пороки духовенства, Максим Грек указывал, что многие представители его "светло и обильно напиваются по вся дни и пребывают в смесех и пьянстве, и всяческих играниях", благодаря чему становятся "наставницы всякого безчиния и соблазн верным". Резко восставал против упадка нравственной жизни духовенства и митрополит Даниил; укоряя духовных пастырей в нерадении к пасомым, этот иерарх обличает духовенство в том, что оно устремилось только "на славу, честь и упокоение, и чтобы есть и пить сладкое,

дорогое и лучшее, и на тщеславие и презорство, и на восприятие мзды, а душеполезного учения и врачевания не сотворяет овцам". Существовал и другой стимул, который гнал мирян за стены монастырских обителей. Сюда охотно уходили представители протестующих элементов общества, люди, имевшие повод быть недовольными условиями современной жизни, — сюда уходили искать убежища от жизненных невзгод таким же точно образом, как уходили искать его в привольные волжские низовья, на "тихий" Дон, как позже уходили искать его по раскольничьим скитам и пустыням. Русский здравый народный смысл хорошо сознал это явление и это сознание вылилось у него в известной поговорке: "Не всяк монах, на ком клобук".

Не чуждо было порочной жизни и белое духовенство. Недаром поставлено было на Стоглавом соборе учредить особый институт "поповских старост", через посредство которых епархиальному начальству могло бы становиться известным о таких попах, которые "учнут жити в слабости и пьянстве и в прочих неподобных делах, или учнут глумиться мирскими кощунами и ходить на мирские позорища, или в корчмы ходить, а о церкви Божьей небрежи"; священникам предписывается тем же собором доносить на протоиереев, которые "учнут пренебрегать церковными правилами, упиваться и бесчинствовать". Ревнуя об исправлении "поисшатавшихся" обычаев и о поднятии уровня нравственно-религиозной жизни, царь Иоанн IV решился прибегнуть, с целью обуздания бесчинных представителей духовенства, даже к содействию светских властей. В этих видах состоялся царский указ, врученный, для исполнения по нем, светским лицам, — Берсеневу и Тютину, — в силу которого лицам этим повелевается хватать и подвергать взысканию ("заповедь брат"), — "по земскому обычаю, как простых людей бражников", — так и людей священнического и иноческого чина, которые "станут по корчмам ходить, упиваться, по дворам и улицам скитаться пьяные, сквернословить, непристойными словами браниться, драться" (Акты Ист. I, с. 252). Меры более или менее общего характера, направленные к искоренению пьянства среди белого духовенства, принимались и в XVII веке. Так, в 1604 г. состоялся патриарший приговор о цер-

ковном благочинии, в котором предписывается попам не упиваться и не бесчинствовать; в 1636 г. принимаются меры к искоренению пьянства в духовенстве московских церквей; в 1690 г. новгородский митрополит предписывает забирать в приказ и облагать пенею духовных лиц, которые окажутся на кружечных дворах или найдены будут пьяными на улицах и т.п. Ратовал против пьянства духовенства и Посошков: "пьянство велик порок пресвитеру наносит", — говорит наш доморощенный экономист. Он рекомендует карать штрафом, монастырскими работами и даже лишением сана священников, которые, "напившиеся допьяна, по улицам ходя или где сидя", станут "кричать нелепостно и бранно, и сквернословити, или драться с кем, или песни петь". Если же священнику доведется напиться — то "шел бы в утишное место и выпался, а народу бы себя не открывал, что он пьян". Особенно восстает Посошков против пьянства монашествующих: "чернец — мертвец", и от пьянственного питья подобает им весьма удалаться".

III

Вопрос о времени возникновения "царского" питейного дела, в смысле казенной регалии. — Значение эпохи Бориса Годунова. — Организация кабацкого дела. — Царевы кабаки, кружечные дворы и их фискальное и моральное значение. — Корчемство и борьба с ним. — Меры борьбы с пьянством и законодательство против пьянства. — Попытки упорядочения кабацкого дела с полицейской точки зрения. — Посошков о царевых кабаках. — Пьянство с точки зрения права

Один из историков русского финансового права, покойный раф Д.А. Толстой, высказывает в своей, — замечательной для времени появления этой книги, — "Истории финансовых учреждений России" предположение, что выделка и продажа вина (хлебного) была издревле исключительным правом князей*.

К какой эпохе ни отнесли бы мы, впрочем, возникновение казенной монополии в области винного и питейного дела, придется согласиться, что, до исхода XVI века, вряд ли строго проводилась в действительной жизни эта монополия казны, хотя и раньше уже наблюдается борьба правительства с корчемством, как

* "Исторія финансовыхъ учрежденийъ Россіи" (Спб., 1848).

покушением на одно из существенных прав фиска. Как бы то ни было, но питейное дело получает на Руси значение казенной р е г а л и и, с устранением в этой области частной предприимчивости, никак не ранее царствования Бориса Годунова, хотя и до этого царствования существование в значительных размерах казенного заготовления и продажи вина не подлежит никакому сомнению. Существуют указания, что уже в царствование Феодора Ивановича по городам находились большие казенные питейные дома, — кабаки, — в которых продавались крепкие напитки и, в числе их, хлебное вино*. Но в ту пору, наряду с этими "царевыми кабаками", были и частные питейные дома, которые, если и не имели, быть может, легальной основы для своего существования, то, во всяком случае, т е р п е л и с ь администрацию, хотя бы только потому, что казенное питейное дело не получило еще правильной организации. Такую правильную организацию казенное питейное дело получает у нас лишь в царствование Бориса Годунова, который, изыскивая усиленные источники государственных доходов, ввел повсеместную монопольную казенную заготовку вина и его продажу исключительно в "царевых кабаках", строго воспретив всякую конкуренцию в этом отношении со стороны частных лиц.

С этой поры винно-питейное дело становится "царским делом", получает значение казенной р е г а л и и в истинном смысле этого слова. Вместе с тем получает оно определенную, более или менее твердую, организацию. Во главе всего управления этим делом становится приказ Н о в о й Ч е т и, впервые встречающийся в источниках под 1597 годом; здесь ведается винное и кабацкое дело, хотя, как увидим ниже, ведание этого дела отчасти принадлежит и некоторым другим приказам. В царствование Феодора Алексеевича, ведание питейным делом было сосредоточено в Приказе Большой Казны, в начале царствования Петра I — в Бурмистерской Палате, а еще позже, с учреждением коллегий — в Камер-Коллегии. В областях питейное дело было вверено ближайшему надзору воевод, причем самое пользование винною регалиею бывало двойное: оно

* Карамзинъ: "История государства Россійскаго", т. XI, с. 84-85 и прим., с. 122-124.

или отдавалось на откуп частным лицам, или же организовывалось в виде управления на вере, через посредство выборных от земщины кабацких голов и целовальников (т.е. присяжных); этот последний способ пользования винною регалиею являлся в Московском государстве наиболее распространенным. Равным образом и самое заготовление вина производилось двойным способом; оно или выкуривалось на казенных винокурнях, или же выкурка его отдавалась на подряд частным лицам, носившим наименование "уговорщиков".

С 1653 года царевы кабаки упраздняются и, взамен их, возникают новые винные учреждения — к р у ж е ч н ы е д в о р ы. Это учреждения уже несравненно более организованные и даже грандиозные, сравнительно с прежними кабаками. Кружечный двор — это целое обширное заведение: здесь имеются и винокурня, и пивоварня, и ледники, и склады, и даже торговые бани, а для приема потребителей напитков, — "питухов", как их называли в то время, — приспособлялась особая изба. Прежние кабаки не были сколько-нибудь правильно распределены на протяжении данного района, не были они ограничены и в самом числе своем; кабаки открывались в неограниченном количестве и в городах, и в селениях, и по ярмаркам, и по торжкам. Напротив, кружечные дворы носят уже характер учреждений центральных: они открываются только в городах и в больших селениях с числом душ не менее 500, — и то не более, как в количестве одного; отсюда заведующие этими дворами кабацкие головы посылают подведомственных им целовальников по окрестным ярмаркам и торжкам, для продажи напитков из временных выставок. При этом установлено было также ограничение, в силу которого никто не вправе был покупать напитки вне того кружечного двора, к району которого приписано было место постоянного жительства покупателя.

Доход от питейной регалии составлял одну из существеннейших статей финансового бюджета Московского государства, чем и объясняются постоянные пожелания правительства о возможно более прибыльной постановке кабацкого дела. По свидетельству Котошихина, в эпоху царя Алексея Михайловича (в первые годы его царствования) общая сумма всех государст-

венных доходов достигала цифры 1.311,00 рублей — за исключением расходов управления, которые покрывались текущими расходами отдельных приказов, по принадлежности. В этом общем итоге доход от Приказа Новой Чети, в котором ведалось питейное дело, составлял сумму до 100 тысяч рублей. Но эта последняя цифра должна быть признана много более низкою сравнительно с действительностью, потому что, по-первых, — она представляет собою лишь чистый доход названного приказа, за вычетом расходов управления, а, во-вторых, — питейные сборы ведались и в некоторых других приказах, именно: в Сибирском — для всей Сибири и Приуралья, Казанского Дворца — для территорий бывших царств Казанского и Астраханского, Новгородской Четверти — для северного края, Устюжской, Галицкой и Костромской Четях — для целого круга центральных уездов, а также в приказах Большого Дворца и Хлебном. Оказывается, таким образом, что в приказе Новой Чети, хотя он и был специальным центральным установлением для ведения питейного дела, в сущности сосредоточивалась лишь сравнительно небольшая часть всех доходов от царского кабацкого дела. Мы должны, поэтому, вполне принять высказанное Посошковым положение, что "питейная прибыль — самый древний (и, конечно, самый главный) интерес Царского Величества", почему наш экономист и рекомендует обратить особое внимание на надлежащую постановку этого дела. Любопытно, что вином и другими крепкими напитками пользовалась у нас в старину даже для целей миссионерских. Так, в грамоте, данной в 1555 г. царем Иоанном IV казанскому архиепископу Гурию, рекомендуется этому последнему стараться ласкою и приветом склонять иноверцев к христианству и, в числе других мер расположения их к себе, угощать их квасом и медом, — но этот последний напиток, как хмельной, держать в загородном архиерейском доме. В 1597 г. пустозерскому воеводе повелено отпустить 300 ведер вина специально для обращения в православие самоедов, как это без всяких околичностей выражено в относящемся сюда царском указе. С подобными же целями отпускались винные запасы и воеводам других отдаленных областей, населенных иноверцами.

Фискальное значение кабака — с одной стороны, и несомненное деморализующее влияние его — с другой стороны, нередко ставили московское правительство в довольно таки затруднительное и щекотливое положение. Кабаки, несомненно, развращали народ, пьянство принимало колоссальные размеры. Правительство ясно сознавало необходимость бороться с этим злом, подтачивавшим и материальные, и нравственные силы народа, а для этого приходилось налагать руку на один из важнейших источников государственного дохода. При ограниченности финансовых источников того времени и примитивности всех ветвей внутреннего управления вообще и государственного хозяйства в частности — эта роковая дилемма могла казаться, действительно, неразрешимой. При всем добром желании и при полном, быть может, сознании серьезности зла, волею-неволею доводилось становиться на почву компромиссов, полумер и паллиативных начинаний. Неоднократно жаловались в Москву областные воеводы на то, что кабаки раззоряют народ, — а в ответ получали внушения, что они "пишут не делом, и плохо радеют о государственной прибыли". Приходилось московскому правительству сталкиваться с вопросом о "царевом кабаке" и по поводу других вопросов внутреннего управления, — уже более общего характера. В 1660 г. в Москве сделалась непомерная дороговизна хлеба. По этому поводу происходило, по указу государя, совещание бояр с сведущими людьми из среды торгового класса, причем, в ряду других вопросов, на обсуждение сведущих людей был поставлен и вопрос следующего рода: не вызывается ли хлебная дороговизна усилившимся за последнее время казенным винокурением и пивоварением, и не последует ли понижение цен на хлеба в том случае, если великий государь повелит прекратить продажу на кружечных дворах хлебного вина? Вопрос был поставлен довольно радикальным образом. Представители высших разрядов торговых людей ответили, что дороговизна хлеба воспоследовала, между прочими причинами, и от усиленного винокурения и пивоварения и высказались за упразднение кружечных дворов и пивоварень. Представители низших разрядов торговых людей от прямого ответа на поставленный им вопрос уклонились: "А что на кружечных дворах вин-

ную продажу отставить, и от того хлеба дешевле будет ли, и они того не ведают, — ответили они, — потому хлеб в Божией воле”. Как бы то ни было, но отмены винной продажи на кружечных дворах в результате этого совещания не последовало; хотя, с другой стороны, последовало, в виду хлебной дороговизны, возвышение цены на вино.

Невзирая на свое щекотливое положение в вопросе о народном пьянстве, московское правительство не могло оставаться в области этого вопроса индифферентным и не вести борьбы с этим злом. Борьба, которую вело оно в этом направлении, представляется двойкою: с одной стороны — она выражалась в виде б о р ь б ы с к о р ч е м с т в о м, с другой стороны — в виде мер к о г р а н и ч е н и ю п ь я н с т в а и, в связи с этим, к п о л и ц е й с к о й р е г л а м е н т а ц и и п и т е й н о г о д е л а.

Что касается б о р ь б ы московского правительства с к о р ч е м с т в о м, то она прежде всего преследовала, конечно, интересы фиска; нравственные интересы общества отступают здесь на второй план и затрагиваются только косвенно, стороною. Упорная борьба с корчемством наполняет собою всю вторую половину XVI и весь XVII век. Строгие предписания об искоренении его находим мы во всех воеводских наказах, а также и в целом ряде грамот, издававшихся специально для этой цели, причем корчемников, а равно и захваченных у них ”питухов”, повелевается привлекать к ответственности, а найденные пития отписывать на местные кабаки и кружечные дворы. Но ни усиленная деятельность воевод и кабацких голов, ни суровые кары, угрожавшие за корчемство (см. Уложение 1649 г., гл. XXV, с. 1 — 9), не в силах были искоренить корчем, тем более, что нередко само население покрывало их; бывали даже случаи насилия по отношению к царским кабакам и кабацким головам: так, в 1653 г. солдаты разнесли коломенский кружечный двор. Дело доходило до того, что давались предписания об искоренении корчемства под страхом смертной казни, как это было, например, в 1669 г. на Вологде. Строго запрещающая частным лицам курить вино и варить крепкие пития, правительство допускало из этого общего правила только некоторые исключения. Так, правом вы-

дельвать хлебные напитки, не выключая и вина, пользовались вотчинники и помещики, т.е. служилые люди, но только для домашнего обихода, а не на продажу, и притом в клейменных кубах и сосудах. На этой почве возникали, однако, как свидетельствует нам о том Посошков, весьма частые злоупотребления, так как вотчинники и помещики преспокойнейшим образом торговали изготовляемыми ими питиями и даже содержали кабаки под видом квасных лавочек и выставок, вследствие чего Посошков и советует отметить для служилых людей эту льготу. Затем право держать у себя для домашнего обихода крепкие напитки предоставлялось гостям, т.е. высшему разряду торговых людей, дворцовым служителям, а иногда, в виде награды, и лицам, раньше служившим у кабацкого дела; так, встречаем случай предоставления этой льготы посадскому человеку, бывшему до того в кабацких головах. Безусловно воспрещалось курение вина монастырям, духовным властям, священно и церковно-служителям и инородцам (татарам, мордве, черемисе). В Сибири частное винокурение совершенно не допускалось, ни для кого и ни по каким основаниям; такое же ограничение установлено было, почему-то, и для Московского уезда. Наконец, всем обывателям дозволялось варить крепкие напитки, но с явкою их властям, а иногда и с уплатою за то особой пошлины ("насадок") для общинных пиров, — так называемых "братчин", устраивавшихся в храмовые праздники, — а также в праздничные "кануны". Эти "кануны" строго определялись в законодательстве. Так, по Устюжской уставной грамоте 1614 г. населению дозволялось варить и держать в домах крепкие пития на четыре праздника: Велик день (Пасха), Дмитриевскую субботу, Николин день осенний и на масляницу, — в течение недели на каждый из этих праздников, а в Пермской уставной грамоте 1553 г. эта льгота названа даже "старинною"; иногда определялось, что льгота эта распространяется лишь на "лучших людей" данной местности, — "что б порухи меж них и убойства не было".

Переходим теперь к тем формам борьбы правительства с пьянством, которые зиждились на стремлении о г р а н и ч и т ь э т о т п о р о к и, в связи с этим,

урегулировать, в целях нравственно-полицейских, самую постановку кабацкого дела.

Неумеренное злоупотребление крепкими напитками в старинной России не могло не останавливать на себе внимания представителей верховной власти. Если летописи и эпические сказания и рисуют нам в.к. Владимира Святославича князем, который давал полную свободу страстям своим, то, с другой стороны, летописные сказания дают нам и примеры князей, которые были убежденными противниками пьянства и оргий. "Лжи блюдитесь и пьянства — в том бо душа погибает и тело", — внушает в.к. Владимир Мономах детям своим. Давая характеристики князей, летописец никогда не упускает случая, как мы это уже видели, отметить склонность их к трезвости и отвращение от пьянства. Так, посвящая несколько слов памяти князя Михаила Ярославовича, летопись ставит ему в заслугу то, что этот князь "пьянства не любяше", а князю Михаилу Александровичу Тверскому воздает хвалу за то, что в его княжестве "корчемники истребишася".

Источники свидетельствуют, что царь Иоанн IV Васильевич не терпел пьянства и пьяных. Об этом говорят иностранцы, посещавшие Россию — Флетчер, Одерборн и Олеарий. Они утверждают, что при Иоанне народу дозволялось пить вино только в некоторые дни, а Карамзин, основываясь на Пермской уставной грамоте 1553 г., выводит заключение, что в это царствование варить и п и т ь крепкие напитки народу дозволялось только на Святой неделе и на Рождество. Этот вывод является, однако, плодом лишь простого недоразумения: соответствующее место Пермской уставной грамоты касается лишь вопроса о праве населения варить хлебные пития в праздничные кануны, о чем только что упомянуто было нами выше. Как бы то ни было, но пьянство преследовалось в царствование Грозного: со всякого лица, будь то светского или духовного состояния, если только станет "упиваться" и будет уличено в "бражничестве, бесчинстве и сквернословии", повелевается взимать "заповедь", т.е. пеню — по "земскому обычаю". Можно думать, что после смерти Грозного строгости против пьянства были ослаблены; мы уже знаем, что Борис Годунов, ставший в ту пору у кормила правления, а вслед затем добившийся

и престола, придавал питейному делу важное финансовое значение, сделал делом "царским", придал ему правильную организацию, — а при таком направлении своей политики он вряд ли мог принимать слишком категорические меры против широкого потребления народом вина, хотя, с другой стороны и в силу тех же причин, он должен был явиться ярким гонителем корчемства. Так оно, на самом деле, и было. Об этом свидетельствует нам современник Годунова, московский пастор Мартин Бер, который пишет, что Борис "запретил пьянство и содержание питейных домов, объявив, что скорее помилует вора или убийцу, нежели того, кто, вопреки указу, осмелится открывать кружечный двор. Пусть д о м а, — высказывал Годунов, — к а ж д ы й е с т и п ь е т, с к о л ь к о х о ч е т, может и гостей пригласить, но никто да не дерзнет продавать вино москвитянам. Если же содержавшие питейные дома не имеют иных средств к пропитанию — пусть попадут просьбы: они получают земли и поместья". При всей симпатии к Борису, как царю, проявлявшему во многих отношениях хорошие государственные задатки, становится, тем не менее, очевидным, что в только что цитированном нами отрывке из Бера идет речь лишь о монополизировании в руках казны питейного дела и о борьбе с корчемством — но не более. Впрочем, в царствование Феодора Ивановича еще допускались отдельные, и даже не вполне благовидные, исключения из общего течения питейной политики, направленного к монополизированию этого дела в руках казны, как это усматривается из следующего характерного примера. В 1591 г. бил государю челом из Великого Новгорода протопоп местной Знаменской церкви, о. Евтропий, чтобы государь его пожаловал, велел "освободити ему про себя и про гостей питье держать и пьяных у него имати не велети", мотивируя свою просьбу тем, что к нему, протопопу Евтропию, приходят многие дети его духовные, за молитвою, и "ему де без того быти нельзя". Челобитье Евтропия было уважено в силу того соображения, что "он живет у великого чудотворного места"; новгородским воеводам предписано, тем не менее, строго досматривать, чтобы протопоп Евтропий не держал у себя вина для корчемной продажи.

Развивающееся в народе пьянство вызывало в различные годы XVII века более или менее общего характера меры к уменьшению злоупотребления крепкими напитками, которое нередко угрожало общественному спокойствию и безопасности. Так, например, в 1602 г. белозерским кабацким целовальникам запрещается приезжать для винного торга к Кириллову монастырю, так как от этого бывают де "бесчинье и смута всякая, и брань, и бои, а иных людей и до смерти побивают". В начале XVII века чинам Московского Земского Двора вменялось в обязанность "где посадского человека увидят пьяным, извилев, посадить в тюрьму", а равным образом заботиться и об искоренении в столице корчемства. Но особенно интересны меры, предпринятые в 1649 г. к ограничению пьянства и к поднятию нравственности, вообще, по отношению к Сибири: "Ведомо государю учинилось, — говорится в циркулярном наказе к сибирским местным управителям, — что в сибирских городах и уездах мирские всяких чинов люди, и жены их, и дети, к церквам Божиим не ходят, и умножилось в людях во всяких пьянство и всякое тяжезное бесовское действо, глумление и скоморошество", в силу чего местным властям предписывается увещевать жителей, чтобы они отстали от пороков, суеверий и "бесовских действий", а также "от безмерного пьяного жития уклонились и были в трезвости". В наказных статьях, данных в 1696 г. Нерчинским воеводам, этим последним также вменяется в обязанность пещись об искоренении пьянства. Встречались случаи запрещения целым категориям лиц ходить в кабаки и пить в них; такое распоряжение состоялось, например, в 1626 г. применительно к Чебоксарским стрельцам. Запрещалось вовсе отпускать из кабаков вино духовенству. Бывали примеры взысканий за пьянство и с единичных личностей; так, в 1696г. бить батогами подьячий Власов за то, что пропил на кружечном дворе свой шейный крест.

Переходим к мерам, предпринимавшимся в целях упорядочения самой постановки кабацкого дела. Укажем, прежде всего, что существовали дни, в которые совершенно запрещалось открытие кабаков и кружечных дворов. Так, в 1653 г. состоялось запрещение, под страхом ссылки в Сибирь, продавать из кабаков хмель-

ное в течение всего Великого поста и Свстлой недели, а равно в среды и пятки постов Успенского, Рождественского и Петрова; в воскресные дни торговля в кабаках возбранена в течение всего года. В 1687 г. в сибирских городах запрещено открывать кружечные дворы во все Господские и царские дни. В 1664 г. в Холмогорах запрещается открывать кружечный двор в воскресные дни, в среду и пятницу постов Великого и Успенского и в первую и последнюю недели четырехдесятницы; эти дни названы "указными". Иногда, в виду каких-либо исключительных обстоятельств, делались распоряжения о повсеместном временном закрытии кабаков, как это имело место в 1647 г., когда, по случаю моления о выздоровлении царя Алексея Михайловича, кабаки были заперты на 5 дней, с запрещением пить во все это время хмельное. Но и в пределах дней, в которые допускалась в питейных заведениях торговля, эта последняя ограничивалась определенными часами; в летнее время она допускалась с 3-го часа, после обедни, а прекращалась за час до вечера; зимою начиналась в то же время, а оканчивалась в отдачу дневных часов.

К числу мер обеспечения на кружечных дворах благочиния, можно отнести и постановления продавцам пива относительно того, как поступать с напившимися, а также и установление с них взысканий за смерть питухов. Если, — читаем в одном из относящихся сюда актов, — кто-либо из питухов напьется "пьянством безобразным" и станет пропивать деньги, платье или товары — целовальникам вменяется в обязанность унимать такого безобразника, отобрать у него все вещи и уложить спать в особый чулан, а когда проспится — пожурить его словами, а то так и батожьем посечь, возвратив в неприкосновенности все отобранное у него; если недосмотром головы или целовальников, кто-либо опьется на кружечном дворе до смерти — виновным в том угрожается жестоким наказанием кнутом, со взысканием пени в 20 р. в пользу семьи опившегося, а если семьи после него не останется — в пользу богадельни, убогих или нищих, для поминовения души умершего.

Нам оставалось бы, в заключение настоящего очерка, сказать еще пару слов по вопросу о наказаниях за

пьянство в старинной России, но дело в том, что специфических кар за него не существовало. Если и предпринимались по отношению к пьяницам те или другие репрессивные меры, то они носили характер лишь мер полицейско-предупредительных, но не характер наказаний уголовных.

Только при Петре Великом появляется в нашем законодательстве установление специфических наказаний за пьянство, да и то первоначально лишь применительно к лицам военного состояния (Воинский и Морской уставы). Впоследствии строгие наказания за пьянство устанавливаются у нас Уставом Благочиния 1782 года.

IV

Древнейшая проповедь подвижничества и воздержания. — Первые проповедники против пьянства. Лука Жидята, Феодосий Печерский и др. — Нравственно-назидательные сочинения. — Стоглав и Домострой. — Поучения XVII века. — Духовенство и светская власть в вопросе о народной нравственности. — Борьба духовенства с пьянством на землях монастырских

Мы уже имели случай отметить то выдающееся влияние, которое оказало введение на Руси христианства. Церковь сразу приобрела у нас могущественную силу и заняла выдающееся государственное значение, тем более, что на ее долю выпала борьба с жизненными условиями, всецело проникнутыми еще остатками прежнего язычества, которое было отринуто официально, но крепко переживало еще в быту народа.

Условия жизни и мировоззрения русского народа не могли удовлетворять духовенство; ему предстояло противопоставить им суровые идеалы аскетизма и подвижничества. Наше старое духовенство так и поступает. Оно беспощадно вооружается против всего, что только отпечатлено в жизни народа воспоминанием о язычестве. Народные обычаи и обряды, празднества, игры, самое веселие — объявляются "бесовским", языческим, несогласным с требованиями новой веры. В противовес широкому разгулу старо-славянской жизни, духовенство проповедует воздержание, стремление к подвижничеству, отречение от соблазнов мира сего.

Среди недостатков, наблюдавшихся им в жизни русского народа, старинное духовенство наше не могло

не остановиться на п ь я н с т в е, с которым, уже с первых времен появления своего на Руси, оно и предпринимает упорную борьбу. Осуждение пьянства еще в XI веке высказывал Л у к а Ж и д я т а: "Не пей без года (т.е. без времени), — говорит Лука в своем Слове к новгородской пастве, — но здоволь (понемногу), а не до пьянства". Порок этот резко осуждали в своих словах и поучениях и Даниил Заточник, и св. Феодосий Печерский, и Серапион Владимирский, и митрополит Кирилл II, и мн. другие, так что уже с самых ранних времен в духовно-нравственной литературе нашей является целый ряд поучительных произведений, затрагивающих вопрос о пьянстве. Особою популярностью пользовались у наших предков направленные против пьянства поучения св. Ф е о д о с и я П е ч е р с к о г о (XI век). "О горе пребывающим в пьянстве! — восклицает этот столп древнего русского аскетизма. — Пьянством ангела-хранителя отгоняем от себя, а злого беса привлекаем, ибо бесы радуются нашему пьянству". "Дьявол послал бесов своих на землю, — поучает Феодосий, — сказав им: Идите и учите христиан на пьянство! Святые же ангелы явились к святым отцам и, поведав им это, велели отучить христиан не от вина, а от п ь я н с т в а: ибо одно дело — злое пьянство, а другое дело — питье в меру, в закон, в подобное время и в славу Божию". В расчете глубже подействовать на умы современного общества, преп. Феодосий рисует перед ними отвратительную картину пьянства: "Кто много напьется, — говорит он, — тот начинает ползать на коленях, бессильный держаться на ногах, а иной валяется, блюя, в ругани, давая себя на посмешище всем людям, а хранители души своей, ангела Господня, отгоняя"... "Пьяный, когда ум погубит, подобен бешеному, — учит преп. Феодосий в другом месте. — Подобно бесному, он не ведает, что говорит и творит, но кличет и глаголет бесчинно, очи кривляет и пену точит, и лает, как пес, и срамословия из уст кидает, и обнажает тело, не стыдясь, и родителей не почитает — ибо им владеет, Божьим попущением, бес нечистый". Из одержимого бесом можно изгнать этого последнего — учит Феодосий, — а над пьяным если бы сошлись сотворить молитву попы всего мира — то и они не в силах оказа-

лись бы изгнать из него беса пьянства. Пьянство приносит людям тройкий вред, учит он же: "первое — телеси недуг, второе — от человека укор и смех, третье — души падение и ума иступление". Весьма характерно поучение св. Феодосия о "трех тропарях", т.е. величаниях, за которыми можно пить вино; он рекомендует христианам пить не более трех тропарей: первый — во славу Христа, второй — во славу Пресв. Девы Марии, третий — во славу государя.

Обращались у наших предков и назидательные рассказы, направленные к отчуждению пьянства. Таков например, рассказ "о пьянице, продавшем душу свою дьяволу" — из рукописи, хранящейся в библиотеке Казанской духовной академии. Фабула рассказа не сложна. Сидели в корчме пьяницы и толковали о загробной жизни, утверждая, что это — измышление попов. Один из них предложил даже продать душу свою незнакомцу, который как раз в это время вошел в корчму; а этот незнакомец и оказался — бесом, который, с наступлением ночи, и отнес душу пьяного грешника, вместе с телом, в геену огненную. К кругу таких же повествований относятся рассказы "об авве Исаии", путем пьянства пришедшем от благословения к сквернословию, "об отце Пимене", брат которого вследствие пьянства свалился с моста и т.п.*.

Против пьянства ополчаются и два замечательных памятника внутренней жизни русского общества XVI века — Стоглав и Домострой. Протестуя против пьянства, С т о г л а в поясняет, что пить вино подобает "не во пьянство, но в веселие", а равно людям, находящимся в печалях, скорбях или болезненных недугах — "тем пити на здравие суще", причем памятник этот ссылается на право шестого вселенского собора: "Праздность, и пьянство, и игранье — всему злу начало есть и погубление". "Есть и пить надо во славу Божию, а не объедаться и не напиваться, — поучает Д о м о с т р о й. — Не реку: не пити, — продолжает этот памятник; — сего не буди; но реку: не упиваться в пьянство злое. Аз дара Божия (т.е. вина) не похуляю, но похуляю, но похуляю тех, иже пьют без воз-

* Православный Собесѣдникъ, издав. Казанск. дух. акад., 1862, № 1, с. 268—269.

держания". Вслед затем, подобно св. Феодосию, автор Домостроя рисует отталкивающую картину пьяного человека.

Поучения, направленные против пьянства, в обилии появлялись и в течение XVII столетия. В этом столетии в южной Руси зародилась, как известно, духовная наука, которая произвела усиленное движение мысли: теперь перестали удовлетворяться древними образцами поучений и стали делать попытки вносить в них оригинальность. Можно, в виде образца, привести "Слово о пьянстве" **А н т о н и я П о д о л ь с к о г о**, рукопись которого хранится в библиотеке Казанской духовной академии. Здесь автор задается вопросом: Что есть пьянство? — и дает на него длинный и сложный ответ, заключающийся в целом ряде сентенций: "Пьянство, — говорит автор этот, — есть забвение смерти, бесстрашие будущего суда, невнятиение преступлению, лености наставление, бесстыдию опора, болезнь телу, всегдашняя тьма, мыслям расточение, зрению ослепление, неблагообразие лицу, сердечный червь, безвременная смерть, скотское пребывание, мудрости поглощение, дому разорение, богатству тать, вождь к будущему пламени... Пьяный, — делает Антоний окончательный вывод из ряда своих сентенций, — воистину есть скверна передо Богом, смрад ангелам, игрище бесов, друг лжи, любви ножь" и пр., и пр. "С кем сравню тебя, пьяница? — в конце концов восклицает автор наш. — Со скотом? Но ты хуже скота: скот от Бога существо бессловесное, а ты одарен словом, а словесный дар свой омрачаешь"...

"Пьянство не только душе вредить, но и телу великия болезни родить, — пишет другой автор той же эпохи **Г а в р и и л Д о м е ц к и й**: — подагры и иные болезни ножные, к тому главные бесчисленные и внутренние болезни, кашли, огневицы, падучия и сухотные, повреждения ума и иные бесчисленные. И сие известно, — выводит автор довольно оригинальное заключение, — яко более людей от пьянства погибают, нежели от меча"*.

В XVIII веке стали появляться и рифмованные сти-

* Правосл. Собесѣдникъ, 1862, N 1, с. 284—285.

хи о пьянстве, рассчитанные на легкое усвоение их памятью. Вот, для образца, ивлечение из произведения подобного рода, озаглавленного: "О омраченном пьянстве":

Пьяница рано ставает,
 Церковь Божию минует,
 К кабаку спешить —
 Хочет и последние порты пропить.
 Изо рта у него воняет,
 А рук умыть не знает.
 Полон рот вина наполняет
 Едва и чарки не преглощает.
 Сожрал бы соленого и кислого
 Хотя бы и из судна нечистого
 Печален пребывает,
 Паки в кабак утекает.

и т.д.

В другом рифмованном обличении против пьянства, носящем название: "Рассуждение в меру вина пити, а чрез меру себя губити", читаем:

Мудрый, испив, идет спати
 И тщится, поспав, рано встати;
 Безумный идет чужая красти,
 Назирает на чужу келью власти.
 Мудрый рано восставет,
 Ко церкви на словословье утекает;
 Безумный поздно встает,
 Во скляницу поглядает...

и т.д.* .

Впрочем, нехитростные вирши это рода, носящие на себе отпечаток не столько учительного, сколько юмористического направления, более приближаются уже к произведениям светской словесности.

Но помимо церковной проповеди, поучений и произведений духовно-литературного характера, рассчитанных на воздействие их на массы, представители русской иерархии оказывали и более непосредственное

* Правосл. Собесѣдникъ, 1862, N 1, с. 279—280.

влияние в области стремления поднять народную нравственность, пользуясь для этого своим авторитетом и государственным значением. Так, в 1408 — 1413 гг. Кирилл, игумен Белозерского монастыря, обращается к Можайскому князю Андрею Дмитриевичу с пространним посланием, в котором начертывает ему целую программу мероприятий к улучшению внутреннего состояния княжества его. Здесь трактуется и о правосудии, и о мздоимстве, и о разбоях, и о татьбах, и о народной нравственности, вообще; здесь затрагивается и вопрос о злоупотреблении крепкими напитками: "Внимай себе, господине, — пишет Кирилл, — чтобы корчмы в твоей вотчине не было, занеже, господине, то велика пагуба душам: крестьяне ся, господине, пропивают, а души гибнут". При этом Белозерский игумен не оставляет случая посоветовать и самому князю "униматься от упивания". Неоднократно и впоследствии обращали русские иерархии свое духовное оружие, в виде пастырских посланий, к отвращению населения от поступков, несогласных, с их точки зрения, с духом христианства. В 1505 г., например, игумен Елизарова монастыря Панфил отправляет к псковскому наместнику и другим властям в высшей степени характерное и любопытное послание о прекращении народных игрищ в день Рождества Св. Иоанна Предтечи, в котором рисуется подробная картина разгула, происходящего в этот день; в 1534 г. новгородский архиепископ Макарий, а в 1548 г. новгородский же архиепископ Феодосий обращаются к населению Вотской пятины, — где еще сильны были остатки язычества, — с пастырскими посланиями, в которых увещивают его отречься от языческих требищ и обрядов. Затем, с увещиванием об уничтожении корчемства обращается в 1547 — 1551 гг. к царю Иоанну IV тот же новгородский владыка Феодосий: "Потщися и помысли о своей отчине, о Великом Новгороде, — пишет он царю, — что ся ныне в ней чинить: в корчмах беспрестани души погибают, без покаяния и без причастия".

С конца XVI века сетования русских церковных иерархов на корчемство и пьянство народа уже не проявляются в такой открытой и категорической форме: с этого времени питейное дело окончательно становится, как мы это уже знаем, государственною регалиею и

всецело берется в ведение казны. Но зато теперь представители высшего русского духовенства обращают усиленное внимание свое на искоренение пьянства как в среде самого духовенства, так и в подведомственных монастырских слободах и посадах. Ряд грамот их в этом направлении проходит через весь XVII век. Так, в 1668 г. подобного рода меры принимаются, например, архимандритом Тихвинского монастыря и мотивируются тем, что в монастырском посаде "от вина многие люди оскудели, и драки, и вражды чинятся беспестанные".

V

Община, в качестве основного фактора в деле обеспечения внутреннего благоустройства жизни общества. — Меры общин в деле борьбы с пьянством. — Поручения по крестьянам, посадским людям, при наймах и выборах. — Протесты общества против кабака. — Посошков о пьянстве. — Пьянство в сознании и в действительной жизни русского народа. — Заключение.

Третий фактор в деле борьбы с пьянством в старинной России, борьба с ним самого светского общества — стоит в непосредственной связи с началами общинного строя, которыми всегда проникнута была жизнь русского народа. Община составляла исконную форму этой жизни. Земский человек старинной Руси, — если он не числился в рядах служилых людей государства или не был представителем класса духовенства, — непременно должен был принадлежать к той или другой общине, будь это община посадская, городская (сотня), или община уездная (волость). Община была необходима для старинного земского человека: только в недрах общины, как член ее, получал он возможность заявить свою личность, только община давала ему гражданские и политические права.

Известно, что старинная русская община пользовалась широкою самостоятельностью в деле устройства своей внутренней жизни — и государство всегда охотно предоставляло ей в этом отношении значительную автономию, нередко категорически предписывая своим местным приказным органам избегать непосредственного вмешательства в эту сферу внутренней жизни общины.

Община имела орган выражения своей мысли и воли в лице общинного схода мира, избравшего выборных общинных начальников, которые, вместе с миром, ведали все общинные распоряжки, совершали переделы общинных земель и распределение тяглых владений, принимали меры к обеспечению в общине безопасности и благосостояния.

На почве этой-то попечительной деятельности общины на пользу обеспечения своего правильного внутреннего развития — и должны мы искать следов борьбы с пороком пьянства. Мы уже видели, что община, принимая в свою среду нового сочлена, всегда требовала за него поручительства; это поручительство, которое давалось несколькими членами той же общины, облекалось в форму особого письменного акта, носившего название "поручной записи", образцы которого дошли до наших дней. Просматривая перечисляемые здесь предметы поручительства, мы, в ряду других условий, обыкновенно находим здесь условие "корчем не держать", "не пьянствовать", "по кабакам не ходить" и т.п. Берем, для примера, поручную запись, данную в 1684 г. 22-мя крестьянами Тагильской слободы по крестьянине Садкове, принимаемом в их общину: "А будучи ему, Григорию Садкову, в пашне, — читаем здесь, — никаким воровством не воровать, зернью и карты не играть, не пить и не бражничать"... "И живучи ему, Ивану, за нашу порукою, — читаем в другой записи, — никаким воровством не воровать, зернью не играть, корчмы не держать"... А вот образцы поручных записей по лицам, принимаемым в посадские, т.е. городские общины, относящиеся к 1638 и 1641 годам. В первом случае четверо посадских людей ручаются за какую-то вдову Кузьмину с сыном в том, что ей, вдове с сыном, "живучи на посаде за нашу порукою, вином и пивом не кучити, зерни и б...и и табаку у себя не держати, и никаким воровством не воровати". Во втором случае десять посадских людей ручаются по вновь принимаемом в посаде сочлене, что ему, живучи здесь за их порукою, "с матерью своей не бранитися и не биться, и жены своей не безвечить напрасно, и головщины (т.е. убийства) не сделати, и ночью ходячи вина, и пива, и табаку не покупати и не пити и самому тем не промышляти, и с воровскими

людьми не зняться; и зерни не держаться, а жити ему, как и прочие посадские добрые люди живут с матерью и с женами своими, безо всякого воровства, и смиряти жена своя по вине и по-людски, а не безвечьем”.

Путем такой-то регламентации стремилась старинная русская община водворить в недрах своих благоустройство и, в числе других предметов его, ограничивать пьянство, разгул и преступления.

Мы убеждаемся, таким образом, в несомненном стремлении старинного русского общества к искоренению или, по крайней мере, к уменьшению в его среде пьянства, в связи с поднятием уровня нравственности вообще. Много или мало достигнуто было этим путем в действительной жизни — это вопрос другой, но мы, во всяком случае, имеем на лицо активный протест старинного русского общества против пьянства, — этого исторического порока нашего народа.

Иногда этот протест принимал и более широкие размеры, облекался и в более активные формы. Случалось, что само население открыто протестовало против царского кабака и било правительству челом об его упразднении. Так, в 1598 г. население Великого Новгорода било челом царю Борису Федоровичу об упразднении в этом городе двух, имевшихся там, кабаков, мотивируя свое челобитье тем, что от этих кабаков “новгородцам, гостям, и лучшим, и середним, и всяким торговым посадским людям нужна, и теснота, и убытки и оскуднение учинилось”; это ходатайство было уважено и оба кабака упразднены. Точно также в 1686 г. все семь Лопских погостов били государю челом о запрещении возить к ним с Олонецкого и других окрестных кружечных дворов на продажу вино, пиво и мед, ввиду того, что от этого чинятся крестьянам названных погостов “убытки и раззоренья”; и это ходатайство было также удовлетворено.

Не безынтересными представляются сентенции о пьянстве и вреде его Ив. Посошкова, — этого доморощенного русского мыслителя начала XVIII века, стоящего на самом рубеже старой и новой России. Посошков выражает убежденную уверенность в том, что процветание народного богатства требует воздержания от пьянственного жития: “Напрасно, — пишет он, — многие стараются о том, чтобы пития были дешевле и

чтобы народ пил больше; а того не рассуждают, что у трезвых людей во всех делах исправления больше, а у промышленных людей и промыслы их будут больше. А у пьяных людей и у приказных все не споро, а про мастеровых людей и говорить нечего. Таким образом, от питья люди в великое оскудение приходят, а царскому интересу от того ущерб чинится". Рассуждает Посошков и на тему о том, сколько позволительно выпить нормальному человеку: "Я не знаю, — говорит наш экономист, — что добра в том, чтобы пить много и спаивать людей допьяна? По моему мнению, ради здоровья телесного довольно человеку пить в день чарки по 3 или 4, — тогда он будет и благодушен, и здоров; а если веселья ради, то можно выпить и еще столько". Легко представить себе, сколько и как пили в эпоху Посошкова, если дозу вина в 4 — 8 чарок он считает еще питьем умеренным! Автор наш безусловно осуждает чрезмерное употребление крепких напитков: "А безмерное питье, — заявляет он, — ничего доброго не приносит, но токмо приносит ума порушение и здоровья повреждение, пожитков лишение и безвременную смерть. Кто будет пить безвоздержанно — тот всего себя погубит, а того ради всячески надобно потщиться, как бы пьянства из народа поубавить"*.

Как бы пьянство из народа поубавить...

Это пожелание смышленного русского крестьянина первой четверти XVIII века более полутора ста лет повторяется нашими моралистами, но до сих пор еще не сумело найти себе практического осуществления. Нет сомнения, что наш народ и теперь, на рубеже XX столетия, пьет так же и столько же, как пил и сколько пил он на рубеже XVIII века, ознаменованного великими реформами Петра.

И замечательное явление: наш народ прекрасно знает вред пьянства, относится к нему отрицательно, порицает его, — а сам пьет искони своих веков, пьет до самозабвения, до раззора, ставя ребром, ради вина, последнюю копейку, снося в кабак последнее достояние, пуская по миру жен и детей.

* Посошковъ "О скудости и богатствѣ" (М., 1842), с. 242—245.

Эта двойственность резко поражает наблюдателя русской народной жизни. Обратитесь к произведениям нашей народной словесности — и вы встретите здесь суровое осуждение пьянства:

Кто в вечерке пляшет-скачет?

Пьяница.

Кто в воскресный день до обедни беседу беседует?

Пьяница.

Кто обожрался, облевался?

Пьяница.

Кто в грязи валяется?

Пьяница.

Кто сквернится, бранится?

Пьяница.

Кто в бою, в драке пребывает?

Пьяница.

Кто ложно божится, ложным свидетелем ставится?

Пьяница...

Пьяница, по народному воззрению, способен на все: он не остановится ни перед каким злом, ни перед каким преступлением. Пьяница — "смертоубивец", "кровопивец", "жидопродавец", "средролюбец"...*. "В пьяном бес волен", — говорит народ, который хранит легенду, что самое изобретение вина — дело дьявола. Сатана задумал погубить исправного крестьянина и поручил это дело одному из подвластных ему бесов. Бес не нашел ничего более подходящего, как поступив к крестьянину в батраки, научить его курить вино; таким путем создал бес "первого винокура", который и погубил свою душу.

Обратитесь к пословицам русского народа — вы и в них встретите протест против злоупотребления крепкими напитками: "Иван пьет, а черт со стороны челом бьет", "вина напиться — бесу предаться"; "пить до дна, не видать добра"; "пить добро, а не пить лучше того" и пр. Перелистайте лубочные картины русского народа — и здесь вы увидите резкое осуждение пьянства, с наглядным изображением бед и всяческих стра-

* Поповъ А. "Влияние церковного учения и проч. на мирозерцание русск. народа" (Каз., 1883), с. 307 и след.

даний, ожидающих пьяницу и в этой жизни, и в загробной. Самое народное представление об адских муках, ожидающих пьяницу в загробной жизни, исполнено всевозможных ужасов: для него приготовлены здесь и "смола горячая", и "червь лютый", и "река огненная", и "смад горький" наравне с грешниками, несущими вечные муки за самые тяжкие преступления. Не легко и замаливается невоздержание в вине, как это высказывается в народном стихе о Василии Кесарийском. 25 лет подвизался Василий в посте и молитве — но не выдержал искушения, испил чару питья хмельного... Явилась к нему Богородица и велела пять лет замаливать этот грех:

Молился ты, Василий,
Двадцать и пять лет;
И молись, Василий, еще пять лет —
Так и будет тридцать лет.
Пуцай из уст твоих
Хмельный дух поизыдет.

Вполне сознавая греховность и вред пьянства в идее, русский народ искони привык легко относиться к этому недостатку в действительной жизни. Считая великим грехом съест в постный день кусок мясного и строго воздерживаясь от этого искушения, он считал возможным упиваться в эти же дни вином и другими хмельными напитками. Против такой двойственности убеждения и дела резко восставал еще Максим Грек: "Не достойно ли есть слез, — возмущается этот духовный писатель XVI века, — что некоторые дают зарок не принимать в постный день мясного, будто бы ради вящего спасения душ, — а сами сидят целый день на винопитии, и упиваются допьяна, и бесчинствуют всяким бесчинием"... Иностранцы писатели также свидетельствуют нам, что русские готовы, во время постов, ничего не есть и до крайности измождать плоть свою, но за то, если случится в том же посту какой-нибудь праздник, напиваются до такой степени, что валяются по улицам; считая за тяжкий грех осквернить себя куском мяса, те же постники не считают за осквернение неумеренное пьянство. "Таким образом, — резюмирует один из историков внутренней жизни русского наро-

да, — у нас были все условия для развития самого умеренного пьянства. Г о р ь к а я н у ж д а, тяжелый г н е т и б е с п о м о щ н о с т ь заставляли заправлять горе вином, а ложный взгляд на вещи (на практике, а не в идее, конечно) не считал грехом и безмерное упивание. После этого не удивительно, если пьянствовали у нас день и ночь, часто до рвоты, головной боли, даже до умопомешательства”, — как свидетельствует о том сборник митрополита Даниила*.

Только что сделанная нами цитата приурочивается к XVI столетию. Но переменялось ли с тех пор положение вещей в области интересующего нас вопроса? На это приходится дать ответ отрицательный. Русский народ, осуждающий пьянство принципиально, сознающий его вред, исторически выработавший себе даже представление об его тяжкой греховности — все-таки предается этому пороку, создать из него вопрос перво-степенной государственной и социальной важности. Никто не станет, конечно, спорить в наши дни против того, что, во многих случаях, пьянство является болезнью, которой медицинская наука и дала название “алкоголизма”, и что в этом случае считается с ним приходится не законодательству, не правительственным мерам, не общественному мнению, но — терапии. Несомненно, одноко же, и то, что, в громадном большинстве случаев, злоупотребление алкоголем стоит вне такого непосредственного соотношения к патологии.

Где же, в таком случае, корни пьянства? Здесь то и заключается тот роковой вопрос неумолимого сфинкса, на который еще не найдено ответа, между тем, как этот сфинкс ежегодно исторгает из среды человечества миллионы жертв. Далеко не неправ был уже известный нам русский обличитель пьянства, Гавриил Домецкий, высказавший еще в XVII в. мысль о том, что “более людей от пьянства погибает, нежели от меча”; не может быть почитаем парадоксом и вывод, сделанный в 60-х годах заканчивающегося XIX столетия покойным публицистом нашим Н.В.Шелгуновым, что количество людей, ежегодно гибнувших в России от пьянства (которое Шелгунов считает для 1865 года в

* Преображенский: “Нравственное состояние русск. общества въ XVI в.” и пр. (М., 1881), с. 133.

400 тыс. человек), равнялось бы потере от десяти генеральных сражений”^{*}.

Было бы большою несправедливостью утверждать, что порок пьянства представляет собою недостаток одних лишь низших слоев русского народа. Им в весьма значительной степени заражены и средние, и высшие классы его; ему подвержены и люди зажиточные, и интеллигенция, и люди свободных профессий. Здесь, в огромном большинстве случаев, пьянство является последствием или избытка средств, или аморального воспитания, или влияния среды, или праздности, или, наконец, является результатом простой распущенности, незаметно перешедшей в привычку.

В достаточных классах общества, в среде интеллигенции и буржуазии порок пьянства в весьма большом количестве случаев всегда найдет себе то или другое объяснение, дает во многих индивидуальных случаях возможность проследить самый генезис свой. Но что сказать про нашего трудового, но темного, простолюдина, из века в век, из года в год, изо дня в день пропивающего и свое здоровье, и свой скудный достаток, и свои столь необходимые ему рабочие силы, проклинающего пьянство, составившего себе представление о дьявольском происхождении самого вина, веками создавшего себе целый кодекс нравственных сентенций против пьянства — а между тем, утопающего в этом пороке и в наши дни также точно, как утопал он в нем в течение ряда веков? Целая задача и для государства, и для социолога, и для психолога, и для моралиста?

Не мало трактуется у нас о народном образе и, как панацее против пьянства масс. Никто не станет, конечно, сомневаться в том, что просвещение представляет собою важный фактор в деле улучшения и смягчения нравов, вообще, и что значение его не должно быть игнорируемо и в деле борьбы с народным пьянством. И действительно: дайте нашему серому простолюдину хоть какую-нибудь умственную пищу, дайте ему дельную книжку, устройте доступную для него читальню, чтения, беседы — и ка-

^{*} "Русское Слово" за 1865 г., кн. X: "Домашняя летопись".

бак наверное отодвинется с первого плана, на котором он до сих пор стоит в повседневном быту наших темных масс.

Далеко не умаляя серьезного значения образования в деле борьбы с пьянством, мы должны, тем не менее, дать ограничительное толкование известному изречению о том, что "не о хлебе едином сыт бывает человек". Любит русский человек выпить лишнее с веселья, но еще более склонен он выпить с невзгоды. Так повелось у него с искони веков и русские выражения: "топить горе в вине", "залить горе вином" — дают красноречивую характеристику нашего пьянства. А потому, изыскивая средства борьбы с этим историческим недостатком нашего народа, мы должны отвести подобающее место одному в высшей степени важному фактору, без которого все остальные орудия этой борьбы никогда не выйдут из заколдованного круга паллиативов и пресловутых "благих начинаний", которыми, по преданию, вымощен ад.

Этот фактор, весьма сложный в деле своего осуществления в действительной жизни, сводится всего к трем словам: **п о д ъ е м н а р о д њ о г о б л а г о с о с т о я н и я .**

Листая старые страницы

А. Петрищев

По всей видимости, именно за эту статью и был закрыт журнал "Русское богатство". В том же номере печатался роман Арнольда Беннета "Львиная доля" (перевод с английского). Трудно предположить, что этот англичанин способствовал закрытию "Русского богатства".

Все-таки, скорее всего, это был А. Петрищев. По нынешним временам статья не кажется острой. Она вполне академична. Удивительно другое: как можно было написать статью с таким проникновением в материал уже тогда, ведь даже года не исполнилось еще со дня Октябрьского переворота.

Но, как видим, на Руси всегда находились умы, способные проникать в действительность глубже других. Русская публицистика во все века оправдывала свое высокое провидческое название.

А. Петрищев был одним из таких людей. Помянем его добрым словом.





А. ПЕТРИЩЕВЪ¹

Въ гримѣ и безъ грима²

(Мысли хроникера)

Правительство Львова-Гучкова-Милюкова продержалось около 1 1/2 месяцев. Приблизительно столько же существовало революционное правительство второго состава, не совсем точно называемое: "кадетско-социалистическим". Дальнейшие правительственные комбинации вплоть до октябрьского переворота были еще более эфемерными. Большевистское правительство после октября подвергалось некоторым частичным кризисам и перестройкам. Но в общем оно держится уже около полугода. По внешности оно оказалось таким образом наиболее жизнеспособным, наиболее устойчивым.

По внешности... Главнейшим из козырей в большевистской игре было сплочение сил при помощи пропаганды мира во что бы то ни стало. На четвертом и пятом месяце своего владычества те же самые большевики говорят о необходимости продолжать хотя бы лишь малую войну в настоящее время и готовятся к большому, решающему военному выступлению в возможно более недалеком будущем. Большевизм спланировал ударные силы при помощи демагогического опорочения и разрушения начал дисциплины. Но г. Троцкий потом стал выступать с прокламациями в защиту суровой, железной дисциплины. Большевизм

¹Петрищев Афанасий Борисович (1872 — после 1922 г.) — писатель и публицист, обладавший глубоким даром предвидения. Его статьи в "Русском богатстве" после октября 1917 года привлекли к нему пристальное внимание ВЧК. В 1922 году отредактировал сборник В.Г. Короленко "Жизнь и творчество". Дальнейших сведений о его судьбе в открытой печати не имеется.

²"Русское богатство", 1918 г., — № 1—3.

спланировал вокруг себя силы, поддерживая и даже поощряя центробежные стремления темных масс к возможно большему удовлетворению личных appetитов и к возможно более ничтожному подчинению общим интересам. Все получай, ничего не давай... Но это было, пока большевики домогались власти. Это было в первые сомнительные дни и недели их владычества. А затем они стали не хуже "меньшевиков" говорить о необходимости ограничить личные appetиты и подчинить их общим интересам. Большевизм начал объявлением непримиримой войны "оборончеству". Овладев властью и закрепив ее за собою, большевистские вожди публично и официально заявили, что теперь и они стали оборонцами.

Умалчивая об империализме германском, они всячески громили империализм союзных с Россией стран, — английский, французский, американский... Но это не помешало им в апреле вступить в соглашение с французскими, английскими и прочими союзными "империалистами" для совместной защиты Мурманского побережья. Большевики сливались с российской "вольницей", с той полууголовной и уголовной публикой, которая воспользовалась революцией для того, чтобы загримироваться "под политику", ради этого густой толпой пошла к "знаменам" анархизма. Захватив власть, большевики оказывали всемерную поддержку и покровительство "товарищам анархистам". А затем выдвинули против них пулеметы, бронированные автомобили, пушки...

Примеров можно привести много. И на солидном фактическом материале основан один из современных русских афоризмов: "от фирмы Ленин и К^о осталась лишь вывеска". Вывеска осталась. Но уже другими товарами торгует фирма. По другому — не так, как прежде, она ведет дела с клиентами. Да, может быть, и клиенты у нее другие, не прежние. Та же вывеска, те же слова, та же форма, но содержание новое, не такое, каким оно было.

Отчасти такова вообще участь властолюбцев. Они могут быть искренни или фальшивы в своих исходных, официально объявляемых декларациях. Но по мере удаления от исходной точки они обречены считаться не с этими декларациями, а с реальной

обстановкой каждого данного момента. Негодующие вопли по адресу каких-то "соглашателей" и "буржуев", якобы оттягивающих созыв Учредительного Собрания, производили впечатление заранее обдуманной фальши. Но пусть даже эти вопли были искренним недоразумением. И все-таки, когда настала пора, собралось Учредительное Собрание, сам собою возник вполне конкретный вопрос: допустив Учредительное Собрание, надо расстаться со властью, а раз власть желательно сохранить за собою, значит Учредительное Собрание нельзя допускать... И его не допустили. Сам г.Троцкий признал это деяние тяжким ударом по демократии, нанесенным "во имя социализма", — точнее было бы сказать во имя сохранения власти в руках Ленина и Троцкого, будто бы желающих водворить немедленно, по крайней мере, в России социализм... Допустим, они этого действительно желают. Допустим даже у них такую слабость мыслительных способностей, что они действительно верят в возможность немедленного водворения социализма. Но те же хотя бы переговоры о мире надо вести с императорским германским правительством, а обращаясь к императору германскому, надо говорить не социалистическим, а более или менее придворным языком. В интересах социализма Ленин и Троцкий желают "аннулировать" все государственные займы. Но император германский требует, чтобы русские бумаги, находящиеся в руках германских подданных, были оплачены полностью... Спорить нет сил. Значит, нужно покориться. Но предоставление немцам требуемого права открывает широкую возможность злостной спекуляции.

Очевидно, немцы станут скупать по дешевке "аннулированные" бумаги у англичан, французов, бельгийцев и т.д. и получать с российского казначейства полным рублем. И какие бы хитрые планы ни строились для пресечения этого зла, выход есть только один: надо "аннулированные" на словах бумаги фактически так или иначе "дезаннулировать". — другими словами, гарантировать права и власть иностранного капитализма в "социализируемой" России. В интересах немедленного водворения социалистического строя, положим, надо

"национализировать" банки. Но Дейче-банк решительно не склонен допускать "национализацию" связанных с ним кредитных учреждений. За Дейче-банком стоит Вильгельм. У Вильгельма есть Гинденбург... Значит, надо покориться, смириться, теми или иными способами обеспечить в той же самой "социализируемой" России благополучие и процветание, по крайней мере, Дейче-банк. Пусть они самые искренние социалисты, но обстановка повелевает им служить укреплению власти хотя бы только германского капитализма. Пусть они подчиняются обстановке нехотя, подобно пушкинской помещице Лариной, которая "рвалась и плакала вначале и с мужем чуть не развелась". Но ведь это лишь вначале. А потом "хозяйством занялась", "привыкла и довольна стала, и обновила наконец на вате шлафор и чепец"... Пусть пока они еще не замечают, какой это шлафор и какой чепец. Но со стороны виднее, что они идут фатальным, логически неизбежным путем узурпаторов и диктаторов и наряжаются в обычные узурпаторские и диктаторские одежды.

Они называли себя "социал-демократами большевиками". Но, подчинившись феруле Вильгельма, они обречены были стать в лучшем для себя случае "капитал-демократами большевиками". Случай для них (да и для всех нас) однако совсем не лучший. Уже на примере их расправы с Учредительным Собранием можно видеть, какие они демократы. Между тем жажда удержать в своих руках власть, с одной стороны, и необходимость повиноваться обстановке, с другой, принудили их посягнуть не только на Учредительное Собрание. В качестве оппозиции, они заявляли себя поборниками абсолютной, не стесняемой никакими регулирующими правовыми нормами свободы. Став властью, они обязывались дать стране именно такую свободу. Обязывались... Но печать предъявляет аргументы и обвинения, на которые трудно отвечать, а порою и невозможно ответить. Значит, надо свободу печати упразднить. В стране сплываются силы для организованного противодействия. Значит, надо обуздать свободу союзов. На собраниях произносятся

"опасные речи". Значит, надо разгонять собрания. В стране зреет недовольство и раздражение. Значит надо на месте бывших охранных отделений по борьбе с революцией установить всюду и везде специальные трибуналы по борьбе с контрреволюцией. Шлафор и чепец сшиты как будто из нового материала. Но это внешняя новизна. А суть все та же старая: тот же сыск, тот же шпионаж, те же поскрипционные списки и та же агентура "внутреннего осведомления"...

Пути узурпации и диктаторства, повторяю, фатальны. И получились даже не капитал-демократы, а капитал-жандармы. Правда, они не утратили еще некоторых прав именоваться большевиками, но единственно потому, что на новых позициях пока продолжают сохранять прежнюю размашистость жестикуляции, прежний темпераментный задор и нежелание расстаться с прежней решительной, стоградусной терминологией.

Он былой фирмы должна сохраниться лишь вывеска уже по одному тому, что Ленин и Троцкий не господа положения, а его рабы, не они повелевают обстановкой, а она повелевает ими. В этом, кстати сказать, и один из секретов их относительной, по сравнению с другими правительствами революционного периода устойчивости.

Сказывается и другое условие... Какова бы ни была правительственная программа, она требует исполнителей. Та официальная программа, с какою выступали большевики, беря власть, с одной стороны широка и героична, с другой экстравагантна, не примирена ни с логикой, ни со здравым смыслом, ни с нормальным чувством патриотизма. Как программа чрезвычайно широкая и героическая, она требовала и чрезвычайно обширных кадров рабочих сил, и при том настроенных героически. Как программа противопоставления здравому смыслу, элементарному чувству действительности и даже патриотизма, она не могла и не может найти сколько-нибудь толковых исполнителей. В нее не верят даже те бывшие (при самодержавии) профессиональные ультра-революционеры, которые за время революции превратились в советских профессионалов. Не верят даже бывшие революционеры. Между тем среди

советских профессионалов есть ведь и бывшие полицейские, и бывшие мошенники, не очень склонные, впрочем, забывать это свое прежнее ремесло, и бывшие дубровинцы...

Быть может, не лишне объяснить, что такое советские профессионалы. — Это — особая бытовая группа, созданная в условиях революционного сумбура. Она образовалась из пестрой публики, выступавшей на митингах с большим или меньшим успехом. Одни из "ораторов" успели охладеть, отойти в сторону, да и на самые митинги мода прошла. Но некоторая часть осталась, научилась улавливать капризные настроения толпы и приспособляться к ним. Она и составила как бы постоянный круг кандидатов, баллотирующихся на советские и комитетские должности. Приобрели эти кандидаты и сноровку, известную опытность, необходимую для советского и комитетского делопроизводства. Одни из них занимают все-таки определенные партийные позиции. Большевик так и говорит, что он большевик, и мирится с тем, что избиратели в минуту антибольшевистских настроений отведут ему не главное, а какое-либо второстепенное место в комитете. Меньшевик так и говорит, что он меньшевик, и тем самым идет на те последствия, какие дает ему большевистское настроение избирателей. Другие предпочитают более туманную позицию, — называют себя "левыми эсерами", "максималистами", "анархистами". Это помогает приспособляться более гибко. Если толпа настроена противобольшевистски, именующемуся анархистом ничто не мешает громить большевиков. И, наоборот, он с таким же удобством может обрушиться и на меньшевиков, если это в данный момент соответствует настроению. Одни бескорыстны, — им просто не хочется, жалко или даже лень оттолкнуть свою ладью от советского берега, к которому они все-таки привыкли, хотя бы может, и случайно к нему пристали. Других, наоборот, у советских берегов держит национальный расчет: все-таки власть, да и "жалованье" хорошее, и насчет провианта большие удобства... Разные и пестрые люди в этом кругу. Но это именно — круг, обособленный, местами в провинции и довольно замкнутый, вернее

замыкающийся, ревнивый и подозрительный к постороннему, способному стать конкурентом.

На советских профессионалов и падает прежде всего задача водвориться на земле предрешенное Лениным и Троцким "царство социализма". Но советские профессионалы не так уж интеллигентны, не так попросту грамотны, порою они и вовсе малограмотны. Да и по моральным качествам они, во всяком случае, не галилейские рыбаки.

Большевики имеют некоторое внешнее основание сердиться на интеллигенцию. Без нее, конечно, не проведешь обширных и героических программ. Но она, как и всякий работник не за страх, а за совесть, может приняться за дело лишь при условии, если эти программы для нее приемлемы, если она их разделяет, если она им верит. Фантазии же г.г. Лениных и Троцких вовсе не таковы, чтоб их мог принять и разделить сколько-нибудь образованный и совестливый человек.

Исполнителей пришлось искать в другом месте. Их дала прежде всего офицерская среда, — следует, пожалуй, оговориться: не лучшая, а лишь наиболее гибкая и ловкая часть этой среды. С точки зрения бытовой вопрос решался просто: погоны сняли, от службы отставили, жалованье прекратили, а "жить надо", и требуется стало быть, найти должность. Между тем фабрики останавливаются, заводы останавливаются, всевозможные конторы либо сокращаются, либо вовсе закрываются. И лишь при совдепах "месть сколько угодно, и платят хорошо"... Тут нет "ни борьбы, ни думы роковой". "Надо же куда-нибудь деться благородному человеку, привыкшему жить с известным комфортом".

А затем в России за долгие годы самодержавия накопилось чрезвычайное множество ташкентцев. Им решительно все равно, где служить, как, кому и чему служить, — лишь бы "жрать". А "жрать" при совдепах дают жирно и сытно. В первое время ташкентцы остерегались, — неизвестно еще, сколько продержится Ленин... Но неделя идет за неделей, а Ленин все держится, — значит, надо пристраиваться поскорей. А раз ташкентец пристроился, он проникается чувством самоохранительного консерватизма: он не только

служит хозяину, но и старается охранять то положение вещей, которое обеспечивает ему приятную сумму житейских благ.

За ташкентцем к распределяемым совдепам казенным пирогом потянулась и родственная ему обывательская среда. Потянулся, в частности, промысловый, торговый, хозяйственный человек. И, быть может, из обывательской среды он одним из первых стал подбираться к совдепскому казенному пирогу.

В первые минуты после октябрьского переворота хозяйственного оборотливого человека весьма пугало намерение немедленно водворить "царство социализма". Он кричал — правда, не очень громко и не очень смело, — но все же кричал: "Караул". Как и подобает оборотливому промысловому человеку, он отнюдь не склонен был брать на себя риск активной борьбы с большевизмом. Но очень настойчиво убеждал других в необходимости активно бороться. Он уповал на Корнилова, на Каледина, на украинскую раду, на немцев, на кого угодно, — лишь бы побили и свергли большевиков, лишь бы спасли от реквизиций, секвестраций, конфискаций, контрибуций, национализаций, социализаций... И пока социализации казались промысловому человеку делом радикально опасным, он был непримиримым, крайним оппозиционером.

Но ставки на Каледина, Корнилова, Грушевского, Петлюру побиты одна за другой. Чужих рук, способных загрести жар для промыслового человека, в наличности не оказывалось. С течением времени и сам промысловый человек присмотрелся к социализациям, взвесил их, обмозговал, — и успокоился. И стал он почасту забегать в эти самые совдепы. Забежит, понюхает чем пахнет, узнает новости, обделает какое-либо дельце, — и идет дальше довольный и успокоенный.

Оппозиций промысловый человек уже не одобряет, к призывам активно бороться против большевиков относится иронически, а порой и с раздражением.

— Довольно мы слышали о борьбе. Надоело... Вы все с принципами лезете... А на кой шут нам ваши принципы? Нам жить нужно, — вот что.

Лично мне в провинции пришлось вступать с промысловыми людьми в некоторые пререкания. Приходилось говорить:

— Положим, нужно жить. Но как вы можете жить, если с вас только что взыскали контрибуцию и еще, пожалуй, взыщут?

— Взыскать-то взыскали. Могут и еще взыскать. Обстригли действительно что здорово. Но это еще не означает. Обстригли, зато и обрести дадут...

Я пишу эти строки в Москве. И здесь от промысловых людей слышу те же речи.

— Стригут здорово... Особняки отобрали. Имущество конфискуют. Контрибуциями облагают... Однако, ежели не шабаршить, то можно и обрести заново... Гуще прежнего шерсть пойдет...

И "примеры" уже есть. Вот, напр., кн. NN, — довольно известный "деловой России", но не очень удачливый при самодержавии "грюндер". При революции его обстригли наголо. Но он не растерялся, не озлобился, "вошел в контакт" с стригущими и теперь... Теперь он поставлен во главе потихоньку организуемого обширнейшего треста... "Далеко может пойти, в миллиардеры, пожалуй, выскочит". Или вот известнейший банкир X. прославился счастливыми спекуляциями при царе. Во время революции тоже досконально обстрижен. Но, как "умный человек" не перенес личных огорчений на принципиальную почву, облобызал бьющую руку ("тьфу, — плюнь да поцелуй"), — и ему также поручено... Поручено нечто грандиозное, фантастическое. Путного, вероятно, ничего не получится, но нажива будет...

Такие "примеры" в Москве. Да такие ж они и в советской провинции... Только масштабы мельче, а суть дела: "контакт" — штука выгодная, и планы, сулящие наживу, не только носятся в воздухе, но и принимают вполне конкретные и именно в своей конкретности страшно заманчивые очертания... Правда, есть и другие планы: национализация внешней торговли, муниципализация всех земель и недвижимых имуществ в городах... Но от одного московского промыслового человека мне довелось слышать по этому поводу любопытное соображение:

— Чего ж вы хотите?.. Все-таки ведь они

большевики... Должность у них такая, чтоб эти самые слова выражать... Я понимаю... От слова, я вам скажу, не станется... Ежели глупое слово с умом повернуть, — так оно куда лучше десяти умных слов может оказаться. А повернуть можно. По всему видать, что можно...

А только слова тоже понимать надо... Мы вот с вами про банкира X. говорили... Как сами знаете, он за последние годы через Распутина орудовал. Григорий-то Ефимыч покойник по должности своей совсем негожие словеса морозил... Такое бывало сморозит, что хоть страховку на случай собственной смерти увеличивай. А банкир-то X. то же самое, распутинское слово возьмет да по своему обернет, — смотришь сто, двести тысяч, а то и весь миллион в карман положил... Так и большевистские слова.

Был промысловый человек "саботажником". Но он уже начал переходить в разряды верноподданных советской федеративной республики. Еще немного, несколько шагов, — и наш старый знакомый господин Дерунов может оказаться такой же опорой большевизма, какой был опорой царизма, — станет не "буржум", а "столпом".

Освобождается от звания саботажников и "служилая Россия", "Россия двадцатого числа". Некоторое время она боролась, защищала принципы... Но, ведь, семья... "Пить, есть надо". Да и что такое эти самые принципы? Когда "служили верою и правдой царю и отечеству", никаких принципов не полагался. Принципы стали было всплывать лишь с 27 февраля по 27 октября... Вещь они не привычная. Без них жили. Может и дальше без них прожить. И, пожалуй, лучше прежнего прожить. Что Бог даст впоследствии, — не известно. А покамест, Владимир Ульянов "нашему брату — чиновнику" платит больше, чем платил Николай Романов...

И странное — на первый взгляд, как бы фантастическое происходит возрождение недавно минувшего. После 1917 года вокруг Ленина собирается то же вече, какое после 1905 года собиралось вокруг Столыпина. Нет только поместного дворянства. Остальные на своем месте. Промышленники, правда, еще не собрались в достаточном кворуме, но уже

начали собираться под сень власти (какова бы ни была, а все-таки власть, без покровительства которой мы жить не привыкли). Ташкентцы уже собрались. Успокаивается и переходит к очередным входящим и исходящим чиновничье болото. "Знакомые все лица". Но они переделались и сильно изменили терминологию. После 1905 года доказательством верноподданства служила терминология Столыпинско-Дубровинская. После 1917 г. доказать верноподданство может лишь тот, кто употребляет терминологию Троцко-Ленинскую... Но, право же, это различие не столь существенно. Оно лишь способствует некоему оптическому обману: после 1905 г. противостолыпинский лагерь считался левым, теперь противоленинский лагерь окажется правым.

Оптический обман... И, быть может, не долго он продержится. Столыпин уверял, что он намерен ехать к конституции на тормозе, и что у него есть для этого "вся полнота власти". Увы, — он лишь самому себе казался господином положения.

В действительности ему пришлось творить волю собравшихся вокруг него лакеев. Ленин уверял, что намерен ехать экспрессом без всяких тормозов прямехонько в "царство социализма". Но пойдет он туда, куда прикажет собравшаяся вокруг него толпа. Да уже и поехал.

В первый период революции из всех сколько-нибудь заметных людей Ленин, Троцкий и К⁰ были почти единственной группой, вносящей в борьбу за власть элементы личной страсти. Других надо было уговаривать, убеждать: "возьмите власть, ради Бога, согласитесь стать министром"... На убеждения склонялись неохотно. Власть брали скорее по чувству долга, чем по мотивам личной страсти властвовать. Позиция Ленина в этом смысле была вне конкуренции партийных кругов. Его заметно влекло к власти, как к самодовлеющей цели. В свои домогательства он вносил личную страстность. И достиг своего. И

покамест остается по-прежнему вне конкуренции. Других столь же страстных властолюбцев русская революция еще не выдвинула.

Революция не выдвинула. Но можно не сомневаться, что их выдвинет собирающаяся вокруг Ленина толпа. Лениным, можно полагать, движет все-таки больше дух, чем материя. Но пройдет некоторое время, выяснятся те материальные блага, которые может дать властвование не только отдельным лицам, но и целым группам. Тогда властолюбцы сами собой родятся. И у Ленина будут конкуренты, не менее его одержимые страстью властвовать.

В.Мякотин

Русская литература всегда была сильна своей публицистикой. Однако мы до последнего времени лучше знали шестидесятников, публицисты же начала XX века находились за чертой гласности. Даже у таких корифеев, как Горький, Бунин, Короленко публицистика была отсечена от остального творчества. Серебряный век русской публицистики становится сейчас достоянием гласности, и нам еще предстоит совершить немало открытий на этом поприще.

Одно из таких открытий — Венедикт Александрович Мякотин, историк и публицист, выпускник петербургского университета. Он был постоянным сотрудником "Русского богатства", печатался едва ли не в каждом номере. Его перо отмечено изяществом слога и глубиной мысли.

Прошло много десятилетий. История свершилась, все акценты в ней расставлены, произведены оценки происшедшего, проведен анализ результатов. А публицист оценивает событие в момент его свершения, так сказать, находясь внутри "черного ящика", каковым всегда считалась Россия.

И разве не удивительно читать сейчас размышления В.Мякотина о Февральской революции. Можно лишь поразиться точности аналитического пера, как говорим мы теперь — авторскому проникновению в материал.

В 1918 году В. Мякотин стал эмигрантом. Теперь ясно — тем самым он был вычеркнут из истории русской публицистики, хотя и на Западе продолжал свою работу, выпустил много исторических и публицистических трудов.

Сразу рождается мысль — собрать отдельный сборник русской публицистики, так сказать — Серебряный век русской мысли. В. Мякотин займет достойное место в такой книге.





В. МЯКОТИНЪ¹

Годовщина²

Прошел год с того памятного момента, как в России ярко и победно вспыхнула революция. Прошел год — и мы переживаем момент полного развала революции и развала самой России.

Когда это случилось? И, раз уж так случилось, то какие уроки вытекают из случившегося и какие задачи ставит он перед нами?

Опасения за исход нашей революции существовали и высказывались с первого момента ее возникновения. Но у большинства лиц, питавших подобные опасения, они выливались исключительно в форму боязни контрреволюции. Однако контрреволюция и до сих пор еще не пришла на русскую почву. Мало того, — все группы, которым придавали за этот год название контрреволюционных, подавлены и разбиты. И тем не менее для всех ясно, что революция оборвалась, потерпела жестокую неудачу. Очевидно, причины этой неудачи коренятся не столько во внешних препятствиях, встреченных революцией, сколько во внутренних особенностях самого революционного движения.

Не надо забывать, конечно, что наша революция вспыхнула в мало культурной стране и притом вспыхнула в такой момент, когда народ был уже сильно утомлен трехлетней войной, успевшей взять от него громадные жертвы. Оба эти обстоятельства не могли, понятно, остаться без влияния на ход нашей

¹Мякотин Венедикт Александрович (1867 — 1937) — историк и публицист. Сотрудник и член редакции "Русского богатства" с 1904 года. Создал ряд исторических трудов, посвященных России, Украине и Польше.

²"Русское богатство", 1918, № 1—3.

революции и оба они в достаточной мере наложили на него свою печать. Но наряду с этим на ход нашей революции оказывали воздействие и другие обстоятельства, носившие не столь общий характер и вместе с тем стоявшие в прямой связи с действиями организованных общественных сил, принимавших активное участие в революционном движении.

Одной из характерных особенностей нашей революции явилось то, что революционный взрыв не создал в стране единого органа власти. С первого момента революции рядом с временным комитетом Государственной Думы, попытавшимся взять на себя руководство движением, усилиями главных социалистических партий — социал-демократов и социалистов-революционеров — создан был в Петербурге совет рабочих и солдатских депутатов. В дальнейшем этот совет или, точнее говоря, его исполнительный комитет, явился конкурентом временного правительства, постоянно вмешиваясь в круг действий и распоряжений последнего и тем самым создавая в стране двоевластие. Это двоевластие на первых порах старались замалчивать, его порою весьма категорически отрицали, но оно все же существовало и оказывало свое — далеко не положительное, конечно, — воздействие на ход дела революции. И такое воздействие становилось все более глубоким и все более серьезным по мере того, как организация советов рабочих и солдатских, а затем и крестьянских депутатов распространялась дальше и дальше по стране.

В результате такого распространения рядом с временным правительством и его органами, пытавшимися опираться на всю страну и говорить и действовать от имени всего ее населения, стали советы, руководимые социалистическими партиями и опиравшиеся на рабочих, крестьян и солдат, больше всего — на солдат. Точнее говоря, эти советы не столько даже стали рядом с временным правительством, сколько были противопоставлены ему, как организации, в свою очередь претендующие на власть. Сперва эти претензии носили сравнительно скромный характер, но чем дальше шло время, чем больше они разрастались и тем откровеннее велась

борьба за переход всей власти к советам. В последнем фазисе этой борьбы ею руководили большевики, которые в октябре минувшего года и низвергли путем военного заговора временное правительство, поставив на его место диктатуру советов. Но это был только последний фазис, последний этап борьбы и в нем большевики продолжали в сущности не ими или, по меньшей мере, не ими одними начатое дело. Первоначально же самое дело борьбы с временным правительством от имени советов вели и социал-демократы-меньшевики, и социалисты-революционеры. Большевики шли в том же направлении, делали то же дело, только делали его более решительно, последовательно и откровенно, проповедуя не контроль советов над временным правительством, не вмешательство первых в круг действий последнего по отдельным поводам, а прямой переход всей власти к советам. Находившаяся под обаянием социалистических партий масса — и, прежде всего, солдатская масса — естественно предпочла ту позицию, которая представлялась ей более решительной и менее двусмысленной и в результате тянувшаяся почти восемь месяцев борьба из-за власти закончилась октябрьским переворотом и провозглашением диктатуры советов. На словах это была диктатура рабочего класса и беднейшего крестьянства, на деле — диктатура кучки захватчиков власти, прикрывающих свои действия именем рабочих и крестьян. Но путь, которым эта кучка насильников пришла к захвату власти, был проложен не только ее усилиями, — ей помогли и ошибки других групп, далеко не солидарных с нею и тем не менее подобно ей проповедовавших построение власти на основе классовой диктатуры и противопоставление этой диктатуры общенародной воле. В тесной связи с этой характерной особенностью нашей революции стояла другая, не менее характерная ее черта, которую в коротких словах можно было бы определить, как преобладание местных, классовых и личных интересов над интересами общегосударственными и общенародными.

В последнее время в социал-демократической прессе стали появляться статьи, объясняющие эту черту

нашей революции той ролью, какую сыграли в ней непролетарские элементы. Деклассированная солдатчина и некультурная деревня — вот, по указанию авторов этих статей, те элементы, среди которых будто разыгрались хищнические инстинкты, погубившие дело революции. Солдатчина и деревня явились теми силами, которые не сумели удержать знамя социализма, и именно они своим давлением доставили господство большевизму. Не будь этого давления, оставайся руководство революцией за пролетариатом, — и весь ход революции сложился бы иначе, так как пролетариат в массе своей был чужд большевизма и шел по правильной дороге революционной борьбы и революционного творчества новых форм жизни.

Верно ли однако такое объяснение? Стоит вспомнить лишь некоторые факты недалекого прошлого, чтобы дать вполне определенный ответ на этот вопрос. В самом деле, как отозвалась в первый момент деревня на взрыв революции? Этот отклик деревни выразился в понижении ею во многих местах цен на сельскохозяйственные продукты и в усилении подвоза этих продуктов в город. А что происходило в этот же момент — первый момент революции — на фабриках и заводах Петербурга? Фабрично-заводской пролетариат Петербурга с первых же дней революции выступил с рядом экономических требований, направленных к понижению количества рабочего времени и поднятию заработной платы. И эти требования, все повышаясь, очень быстро достигли такого уровня, при котором их удовлетворение грозило самым серьезным расстройством промышленности, в частности — промышленности, работавшей на оборону государства. Такое поведение петербургских рабочих вызвало было большое недовольство в рядах расположенных в Петербурге полков, солдаты которых указывали, что рабочие в своих требованиях и выступлениях не считают с интересами и положением находящейся на фронте армии. Это недовольство приняло настолько острые формы, что дело доходило чуть не до прямых столкновений между солдатами и рабочими. В свое время об этих явлениях сообщали все органы петербургской прессы, и

социалистической, и не социалистической. Но уже очень скоро большинство социалистических газет взяло в данном вопросе вполне определенный курс и стало утверждать, что весь раздор между солдатами и рабочими вызывается исключительно происками буржуазии. Все свое внимание и все свои усилия эти газеты и стоявшие за ними партии обратили на то, чтобы водворить мир между петербургскими рабочими и солдатами петербургского гарнизона. Такой мир очень скоро и был водворен, но рабочее движение продолжало развиваться по пути, на который оно вступило, пути чисто классовых требований, не соображенных с интересами других классов и с потребностями и силами всего государства в целом.

Отмечая эти факты, я не имею, конечно, в виду ни идеализировать нашу деревню и нашу армию, ни изображать в особо мрачных красках наш пролетариат. В самом деле, не трудно ведь напомнить и иного рода факты, столь же памятные всем, как и только что помянутые мной. Те самые солдаты петербургского гарнизона, которые возмущались чересчур эгоистическим поведением рабочих на петербургских фабриках и заводах выставили требование о невыводе из Петербурга расположенных в нем полков на фронт, так как они де нужны в столице для защиты завоеванной свободы. Деревня откликнулась на низвержение революцией старого порядка понижением цен на продукты сельского хозяйства. И та же деревня через некоторое время дала нам картину аграрного движения, в отдельных своих проявлениях доходившего до крайней бессмысленности и крайнего зверства и нередко вырождавшихся в простой грабёж. С одной стороны, если в Петербурге рабочее движение сразу пошло по пути узко классовых требований, то в ряде провинциальных городов рабочие в первые дни и недели революции выступали с заявлениями о готовности повысить производительность своего труда, не останавливаясь даже перед увеличением количества рабочего времени, и эти выступления не ограничивались одними только словами.

Повторяю, путем этих фактических справок я вовсе не собираюсь идеализировать какой-либо класс, какую-

либо группу. Я лишь хочу при помощи их напомнить, как обстояло дело в действительности. В этой действительности ни деревня, ни армия не являлись живыми воплощениями классового и личного эгоизма в противоположность пролетариату, который будто бы шел по совершенно иной дороге. Дело было много сложнее. В годы войны, прошедшие до революции, пышным цветом расцвело в нашей жизни хищничество и мародерство. Значительная часть имущих классов в эти годы всячески стремилась уклониться от тяжести, легшей на плечи народа, или даже старалась воспользоваться этой тягостью, чтобы извлечь из нее выгоду в свою личную пользу. Революция, казалось, открыла возможность равномерного распределения этой тягости, возможность подчинения всех частных интересов общим интересам народа и государства. В освобожденных революцией трудящихся массах были, конечно, эгоистические стремления, но был также и патриотический порыв, была известная готовность поступиться своими частными интересами в пользу целого. Вышло однако так, что этот порыв скоро замер, заглох, а решительное преобладание получили именно эгоистические стремления, и трудящиеся массы и города, и деревни без оглядки пошли по тому же пути преследования исключительно частных, групповых и личных интересов, по какому шли до того имущие классы. Но ответственны за это не одни массы. Немалая доля ответственности лежит и на тех, кто взялся быть их руководителем, в частности на имевших наиболее шумный успех социалистических партиях, не проявивших способности к государственному творчеству и своими лозунгами, своей проповедью лишь поощрявших и развивавших в массах хищнические инстинкты. Вместо того, чтобы настойчиво раскрывать перед освободившимися от политического гнета народными массами всю сложность обстановки, в которой протекает социальная жизнь и совершаются ее реформы, вместо того, чтобы в переживаемый страной критический момент призывать эти массы в их собственных интересах к сдержанности и благоразумию, их звали к самой острой вражде, к разрешению экономических

противоречий голой силой, вплоть до силы оружия, к немедленному захвату частных имуществ. И даже те, кто понимал опасность подобных призывов, нередко не противились им, потому ли, что не находили в себе мужества противостоять возбужденным массам, или потому, что считали нужным и полезным в своих партийных целях прибегать к демагогии. В таких условиях пропаганда меньшевиков и социалистов-революционеров оказывалась подчас очень близкой к пропаганде большевиков, целиком построенной на крайнем обострении классового антагонизма, близкой чуть не до полного совпадения. И неудивительно, что результатом такого рода пропаганды, обращенной к мало культурным массам, явилось решительное преобладание в этих массах частных интересов над общим, очень скоро дошедшее до безусловного перевеса групповых и личных интересов над интересом классовым.

До известной степени то же самое происходило и в другой области нашей жизни — в сфере национальных отношений. Центробежные силы и здесь взяли верх над центростремительными, причем и здесь это совершилось не без участия и влияния организованных общественных сил, порою даже таких, от которых, казалось бы, подобного влияния трудно было ожидать.

В условиях старого, дореволюционного порядка в России всякое национальное движение считалось запретным, все стремления отдельных национальностей к самостоятельному развитию признавались опасными для государства и беспощадно глушились и подавлялись. Революция, разрушившая этот старый порядок, открыла, казалось, возможность создания иного, нового порядка, в котором единство России было бы согласовано с удовлетворением всех нужд и потребностей отдельных национальностей, входящих в ее состав, со свободным их развитием. И можно было думать, что такого рода согласованием всего более озабочены будут социалисты, в силу самых основ своего миропонимания, одинаково заинтересованные и в том, чтобы возможно ближе притянуть одну к другой рабочие массы различных национальностей, и в том, чтобы не разрушить создававшиеся веками хозяйственные связи между

различными областями громадного государства. На деле однако случилось иное. Не только большевики, но и некоторые социалистические партии и группы выступили в эпоху революции с лозунгом немедленного и полного самоопределения всех населяющих Россию национальностей вплоть до совершенного их отделения от российского государства, — с лозунгом, заключавшим в себе прямое поощрение всех сепаратистских тенденций, направленных к расчленению России. Выставление данного лозунга обязывало и к поддержке этих тенденций на практике и подобная поддержка нередко, действительно, имела место, как ни странна была она со стороны групп и партий, именовавших себя социалистическими. И наличность подобной поддержки в свою очередь усиливала перевес частных интересов над общими, центробежных сил над центростремительными.

Правда, расчленение России в конце концов было достигнуто не столько центробежными стремлениями, создавшимися в отдельных областях, сколько внешней силой, силой германского оружия. Но сопротивление этой последней в значительной степени было ослаблено именно этими центробежными стремлениями и той неожиданной поддержкой, какую они нашли себе в самом центре государства. Достаточно вспомнить хотя бы ту роль, какую сыграло в деле разложения нашей обороны образование национальных армий. А наряду с этим, конечно, громадную роль сыграло и все отношение некоторых из социалистических партий к борьбе с внешней силой, громившей русское государство, в борьбе с Германией и ее союзниками.

Первые дни революции во многих местностях России были днями патриотического воодушевления, усилившего надежды на Россию в рядах наших союзников и поселившего тревогу в лагере наших врагов. Но это воодушевление длилось не долго. Очень скоро оно уступило свое место другому настроению и в создании этого другого настроения сыграли видную роль некоторые из социалистических партий. С одной стороны, в армию была внесена в самых широких размерах политическая борьба и в рядах армии самым решительным образом подрывалась необходимая для ее

существования дисциплина, с другой — то дело, которое делала армия на фронте, дело прямой борьбы с внешним врагом, объявлялось ненужным, излишним. В России зазвучали воззвания, в основу которых были положены идеи, провозглашенные в Циммервальде и Кинтале, — воззвания, приглашавшие прекратить вооруженную борьбу на внешнем фронте и в ожидании неминуемой всеобщей социальной революции начать гражданскую войну внутри собственной страны. Войну на внешнем фронте, войну с занявшим земли русского государства врагом рассчитывали заменить и устранить красноречивыми воззваниями, обращенными ко всем народам мира. И, хотя на народы мира и на ход войны эти воззвания явно не оказывали никакого воздействия, они упорно повторялись снова и снова. Впрочем, на ход войны они, пожалуй, и оказывали неизвестное воздействие, способствуя именно выведению из борьбы русской армии. Они ослабляли в ее рядах более сильные и стойкие элементы и содействовали разрастанию элементов слабых и малодушных, давая как нельзя более удобное идейное оправдание всем тем, кто устал от тягостей войны и не хотел более нести их. Вере в смысл того дела, которое делала отстаивавшая родину от врага армия, наносился таким путем тяжелый удар, и внутри армии создавалась борьба противоположных течений, соединявшаяся и переплетавшаяся с борьбой против командного состава. Результатом всего этого явилось непрерывное понижение боеспособности армии. Большевицкий переворот, приведший к окончательному уничтожению русской армии, к Брестскому миру и раздроблению России, послужил в сущности логическим завершением этого процесса. Вконец уничтожая стоявшую против врага армию и заключая позорный мир, большевики заканчивали дело, не ими одними начатое и веденное, они только проявили в доведении до конца этого дела больше последовательности, больше прямолинейности, чем другие его участники.

В этих условиях, нисколько не пытаясь сколько-нибудь уменьшить вину, лежащую на большевиках, не приходится и возлагать целиком на них одних всю ответственность за переживаемое нами положение. В

известной мере эту ответственность разделяют с ними и другие элементы. В довольно широких кругах нашего общества сейчас очень распространено мнение, согласно которому этими другими элементами являются исключительно социалисты. Социалисты, только социалисты, и притом все социалисты, без различия оттенков, виновны в том, что мы переживаем, — такого рода заявления, делаемые в самой категорической форме, неоднократно повторяются сейчас и в устных беседах, и в печати. Другой вопрос, верны ли подобные заявления, точно ли они передают и объясняют действительность.

Выше я пытался указать ряд существенных ошибок, совершенных в нашей политической жизни при участии и под воздействием некоторых из социалистических партий. Можно ли однако сказать, что партия не социалистическая, в частности партии либеральные, совершенно неповинны в этих ошибках? Вряд ли можно. В самом деле, не мешает ведь вспомнить, что первое временное правительство включало в свой состав всего лишь одного социалиста, а между тем именно при этом первом временном правительстве начались некоторые из указанных выше явлений и оно весьма слабо боролось с ними, если только боролось вообще. С первых недель революции петербургский совет рабочих и солдатских депутатов стал присваивать себе право властного контроля над действиями временного правительства, стал, как власть имущий, вмешиваться в них, отменять их и заменять своими распоряжениями. Известия об этом расходились в различных общественных кругах и вызывали большое смущение. Но временное правительство, правительство, отнюдь не социалистическое, находило нужным опровергать эти известия, заявляя, что оно находится в наилучших отношениях с советом и что никакого двоевластия в государственной жизни не существует. Тем самым, конечно, оно ослабляло отпор, какой на первых же порах могли бы встретить неумеренные притязания совета, и укрепляло позицию сторонников советской власти. Ужасы Кронштадта, таившие в себе семя многих позднейших ужасов, также разыгрались при первом временном правительстве. И не только они не

встретили достаточно энергичного отпора с его стороны, но оно старалось даже замолчать их, не оповещая о них население, хотя такое оповещение могло вызвать протестующее движение, которое придало бы силу самому правительству. Наряду с этим и общее разложение армии началось тогда, когда во главе военного министерства стоял не социалист, а октябрист Гучков, и тем не менее именно этим последним не было принято никаких решительных мер против такого разложения. Наоборот, именно Гучков оказался человеком, готовым удовлетворять наиболее далеко идущие и наименее обдуманые требования, предъявляемые к армии. Достаточно напомнить, что именно при нем началось образование национальных полков и национальных армий. Не так трудно припомнить и другие эпизоды минувшего года, в которых политические деятели, отнюдь не принадлежавшие к социалистам, шли по дороге, весьма мало согласованной с общегосударственными интересами или, по меньшей мере, обнаруживали очень мало энергии в отстаивании этих интересов. А наряду с этим можно ведь напомнить и тот факт, что такой недостаток энергии в отстаивании общегосударственных интересов нередко соединялся у деятелей несоциалистического лагеря с упорной защитой интересов и позиций узко классового характера.

С другой стороны, утверждать, что все социалисты, без различия оттенков, повинны в разрушительной проповеди, будившей узко эгоистические инстинкты, и потому ответственны за сложившееся ныне положение, можно только совершенно не считаясь с фактами и спокойно проходя мимо них. В самом деле, не так трудно назвать социалистические партии и группы, которые ни в каком случае не могут принять на себя подобного упрека. Напомню хотя бы партию народных социалистов или социал-демократическую группу "Единство". Обе они — каждая с точки зрения своей программы, — нимало не отступаясь от защиты интересов трудящихся, все время революции доказывали, что именно классовый интерес крестьян и рабочих требует от них в данное время прежде всего защиты общегосударственных интересов, обе все время

призывали все классы к самоограничению и самопожертвованию во имя общенародного блага, обе все время звали к энергичной защите родины от внешнего врага и настойчиво доказывали, что власть в стране должна быть организована не на классовом, а на всенародном начале, и притом организована именно как власть, обладающая принудительным характером, а не действующая исключительно силою одних моральных увещаний. Приблизительно так же высказывалась по данным вопросам и группа, известная под именем правых социалистов-революционеров, хотя ее позиция не всегда бывала достаточно определенной и вдобавок нередко затемнялась отсутствием какого-либо организационного разграничения между этой группой и другими частями партии социалистов-революционеров.

Нельзя сказать, таким образом, что только социалисты повинны в создавшемся ныне для нас положении. Нельзя сказать и того, что в нем повинны все социалисты. Нет, из социалистического лагеря, как и из лагеря несоциалистического, своевременно раздавались голоса, предупреждавшие об опасности того пути распыления, на который стала наша революция, пути, на котором отсутствие внешней обороны сочеталось с ожесточенной борьбой внутри страны и классовые, групповые и личные интересы не примирались с интересами общенародными, а получали решительное преобладание над ними. Наше несчастье оказалось в том, что эти голоса были немногочисленны, что за ними стояло слишком мало организованных сил и что гораздо громче звучали и гораздо большее влияние в народных массах приобрели иного рода голоса, звавшие к немедленному осуществлению классовых требований без какой бы то ни было оглядки на интерес всего народа и всего государства в целом. Исходили ли такие призывы из искренней веры в неминуемость и близость всеобщей социальной революции или же они диктовались другого рода побуждениями, — результат их во всяком случае был один и тот же. На фронте он выразился в разложении армии, внутри страны — в полном расстройстве ее хозяйства и в создании якобы

классовой власти, на деле попадавшей в руки небольшой кучки людей, бессильной справиться с потребностями страны. И завершением всего этого процесса явился большевистский октябрьский переворот с его естественными и неизбежными последствиями — совершенным уничтожением русской армии, закрепляющим раздробление России, Брестским миром и окончательным развалом внутри страны.

Еще несколько месяцев тому назад мы жили в громадном, веками создававшемся государстве, носившем имя России. Теперь, после заключения Брестского мира, России как будто нет уже на свете. Нет во всяком случае прежней России, от которой отрезан ряд областей.

От России отделена Финляндия и уже идет разговор о присоединении к этой отделившейся Финляндии частей Архангельской, Олонецкой и Петербургской губерний, объединяемых под именем русской Карелии. В печати передают даже слухи, будто Финляндии даны какие-то формальные обещания на счет такого присоединения. Отделены, далее, от России прибалтийские губернии, и притом отделены таким образом, что Петербург — это пробитое Петром I для России окно в Европу — оказывается стоящим чуть не на самой границе государства. Нет надобности, конечно, доказывать, что поставленный в такое положение Петербург не может оставаться не только столичным городом, но и тем крупным промышленным центром, каким он являлся до настоящего времени. Во вновь созданных для него условиях он должен будет, по всей вероятности, в значительной мере потерять и свое значение портового города. И во всяком случае в результате этого отделения Финляндии и прибалтийских провинций у России вместо прежнего широкого окна в Европу остается лишь жалкая форточка, которая к тому же в любую минуту может быть захлопнута властной рукой могучего соседа — Германии.

На западе от России отделены Литва и значительная часть Белоруссии.

В результате этих отделений от России, той прежней России, в которой мы еще недавно жили,

остаются только обломки, введенные в пределы, близкие к пределам Московского государства XVI века. Правда, сами по себе эти обломки и по своим территориальным размерам, и по количеству заключающегося в них населения еще довольно велики: на оставленной еще пока за русским государством территории насчитывается, вероятно, около 100—120 миллионов населения. Но жизнь народов и государств зависит не только от размеров государства и от количества его населения, а и от тех условий, в какие оно поставлено. Между тем для уцелевших остатков России эти условия в том виде, в каком они созданы Брестским миром, складываются самым неблагоприятным образом. Начать с того, что уцелевшая часть России отрезана от Балтийского и Черного морей, к которым русский народ пробивался в течение столетий с величайшими жертвами, с величайшим напряжением всех своих сил. Теперь над всеми этими жертвами, над всеми вековыми усилиями ставится крест и русский народ оказывается сразу отброшенным на два с лишком века назад и почти совершенно лишенным путей морского сообщения, что одно уже создает для него крайне невыгодные условия хозяйственного развития, ставя его в чересчур большую зависимость от соседей. Но этого мало. Дробя Россию, Брестский мир разрезает ее хозяйственный организм по живому телу и насильственно разрывает экономические узы, складывавшиеся в течение весьма долгого времени и создавшие определенный тип хозяйственного развития страны. От уцелевшей части русского государства этим миром отрезается хлебородный юг, отрезаются каменноугольные и рудоносные области, отрезаются, наконец, по крайней мере, частью, и нефтяные промыслы. И хлеб, и сахар, и уголь, и нефть, и руду уцелевшая северная и центральная часть России должна будет впредь получать из-за границы, получать в том количестве, в каком ей оставит эти продукты Германия, и на тех условиях, какие поставит последняя. Но и этим дело еще не ограничивается. По условиям Брестского мира уцелевшей части России навязан торговый договор, предоставляющий Германии право почти беспощинного ввоза товаров в нее, и таким путем

обессиленная русская промышленность ставится лицом в лицу с непосильным для нее в данных условиях конкурентом, тем самым обрекаясь почти на полное уничтожение. В конечном итоге раздробленная, доведенная в уцелевшей своей части почти что до пределов Московского государства XVI века, отброшенная от морей Россия отдается таким образом в полную политическую и экономическую зависимость от Германии, чтобы не сказать — в полное рабство ей. Нечего и говорить, что никакие сколько-нибудь серьезные социальные реформы, направленные ко благу трудящихся масс русского народа, при такой обстановке невозможны. Русский народ в условиях, создаваемых этой обстановкой, будет обречен служить своим трудом своим потом благосостоянию чужого народа и чужого государства, а на его собственную долю останутся только нищета и разорение. Россия таким образом утрачивает не только свои прежние границы, не только теряет ряд областей и перестает быть прежней Россией, она утрачивает и свободу своего развития и сама государственная самостоятельность ее становится в сущности призрачной, всецело зависящей от воли Германии.

Таково положение, созданное для нас Брестским миром. И для всех, кто не хочет и не может примириться с мыслью о гибели России, из этого положения неизбежно вытекает одна, прежде всего другого подлежащая разрешению задача — задача восстановления целостности и независимости родины. Перед этой задачей сами собой отходят на второй план все другие, так как вне ее, без ее разрешения немислимо разрешение никаких иных сколько-нибудь крупных и серьезных задач политического и социального строительства русской жизни. Только отбросив с себя тяжело легшее на нас чужеземное иго, только воссоединив раздробленную на куски родину и вернув ей ее самостоятельность, мы можем вновь стать хозяевами своей жизни и браться за ту или иную ее перестройку. До той же поры, пока на нас лежит это чужое иго, пока нашей жизнью правит и судьбы нашей родины кует не наша, а чужая воля, нам не приходится говорить ни о каких самостоятельных задачах в сфере строительства русской жизни. Все

такие задачи, из каких бы программ они не исходили, какого рода идеалами они бы ни диктовались, одинаково неосуществимы без воссоздания лежащей ныне в развалинах России, без восстановления разложенной русской государственности. И поэтому такое восстановление в условиях настоящего момента является первой и основной задачей для всех групп и лиц, которые так или иначе связаны в своей судьбе с судьбами русского народа, чьи интересы более или менее прочно сплетены с его интересами.

Правда, эта задача сопряжена с чрезвычайно большими затруднениями. Они настолько велики, что многим представляются даже совершенно непреодолимыми, и сейчас в самых разнообразных слоях русского народа есть немало людей, которые готовы примириться с разгромом России и с владычеством над нею Германии, утешая себя мыслью, что такое владычество по необходимости будет внешним и более или менее кратковременным, так как Германии в ее собственных интересах придется водворить порядок в уцелевшей от разгрома части России и в этих видах восстановить в тех или иных формах русскую государственность. В таких утешениях однако много наивного самообмана. Если Германия останется хозяином русской жизни, она, конечно, постарается установить в ней известный порядок, но только в тех пределах, в которых он нужен в интересах Германии, и только такой, какой ей нужен. Германские государственные деятели хорошо знают, что разгромленный народ в конце концов не так легко мирится с понесенным им разгромом, как отдельные лица, что, если только у него есть какие-либо силы, он стремится собрать их и отплатить за понесенное поражение. На опыте Франции, вынесшей разгром 1870—1871 гг., Германия узнала, какая жажда мести закипает в душе разгромленного и ограбленного народа после первых моментов уныния и апатии, узнала, как долго живет такой народ мечтой отплатить насильнику и силой вернуть от него награбленное. И руководители германской политики, конечно, учтут этот опыт и постараются обезопасить себя, приняв все меры к тому, чтобы уцелевшая часть России и в будущем не

приобрела такой силы, которая позволила бы ей выйти из-под властной опеки Германии и занять положение сколько-нибудь серьезного противника последней. В виду этого мириться сейчас с положением, созданным для России, значит в сущности допускать возможность такого положения на долгое время и упускать момент, благоприятный для его изменения.

Признать это значит, конечно, только лишний раз подтвердить наличность стоящей перед нами задачи, но не найти путь к ее решению, путь, на котором можно было бы достигнуть такого изменения. Насчет такого пути возможны различные мнения. И эти различные мнения не только возможны, но существуют и на деле.

В результате всех тяжелых событий, пережитых нами за минувший год, и того трагического положения, к которому они привели Россию, в различных кругах нашего общества сейчас широко распространены сомнения в государственных силах и способностях русского народа. И даже среди тех, кто чувствует себя неспособным примириться с положением, уготованным для России условиями Брестского мира, кто хотел бы стремиться к воссозданию России, это стремление нередко соединяется с уверенностью, что подобное воссоздание неосуществимо силами самой России, что его может дать нам только посторонняя сила, и именно — сила наших союзников по борьбе с Германией. Такая уверенность диктует вполне определенный план практического поведения и на ней стоит поэтому несколько остановиться с тем, чтобы попытаться проверить степень ее основательности.

Нет возможности отрицать, что наши союзники заинтересованы в воссоздании России. Признать положение, созданное Брестским миром, отдать Россию целиком в жертву Германии означало бы для них чересчур усилить эту последнюю, чересчур нарушить в ее пользу равновесие мировых сил. И на деле союзники уже и заявили, что они не признают Брестского мира, считая его как бы несуществующим. Точно также не в интересах наших союзников выделение из состава России якобы независимых государств, на деле входящих в орбиту влияния

Германии или прямо являющихся ее вассалами. И соответственно этому союзники в свое время опять-таки заявили, что они не признают отделения Украины, принявшей имя украинской народной республики, от России. Но заинтересованность наших союзников в воссоздании России все же имеет свои пределы, за которые она не переходит и не перейдет. Если б нашлись русские люди, которые взялись бы за дело, тем самым вступая в борьбу с Германией, то союзники, несомненно, могли бы придти и пришли бы им на помощь. Но сами они братья за такое дело не станут, так как оно потребовало бы от них слишком больших сил и давало бы им слишком мало шансов на успех. И в конце концов, если они не увидят в России никаких сил, которые хотели и могли бы вырвать ее из цепких объятий Германии, они всегда ведь могут до известной степени парализовать усиление последней, найдя себе соответственное вознаграждение в другом месте, быть может, даже в той же самой России. Совсем недавно мы видели уже подобного рода попытку со стороны Японии и, если эта попытка осталась не доведенной до конца, то это вовсе не значит, что мы можем считать себя в ближайшем будущем застрахованными от еще более решительных попыток такого же характера. Наоборот, они вполне возможны, и притом возможны в гораздо более широком масштабе, со стороны не какой-либо одной их борющихся против Германии союзных держав, а всех их вместе. И в том случае, если бы такая возможность осуществилась, задача воссоздания России стала бы, конечно, еще более трудной, если даже не безнадежной. Но вместе с тем это было бы и наиболее вероятным результатом того пути бездействия и пассивного ожидания, какой выбирается людьми, возлагающими все свои надежды в деле воссоздания России на союзников.

Осуществить такое воссоздание чужими руками, очевидно, невозможно. Мы можем искать в этом деле помощи, но, если мы сами не станем делать его, никто не сделает его за нас — ни англичане, ни французы, ни японцы, ни американцы. Только взятое в наши собственные руки, это дело может быть сделано. И, хотя в сложившихся обстоятельствах оно представляет

для нас поистине громадные затруднения, его все же нельзя считать неосуществимым.

Наше положение было бы невероятно трудным, если бы совершенно почти лишившаяся средств защиты Россия стояла лицом к лицу с Германией, располагающей возможностью беспрепятственно бросить на нее все свои силы. Но дело ведь обстоит иначе. Германия, сама в достаточной мере истощенная затянувшейся войной, вынуждена вдобавок сейчас держать главную массу своих войск на западном фронте, для борьбы с Францией, истекающей кровью, но удерживающейся на своих позициях, с Англией, далеко еще не исчерпавшей своих богатых ресурсов, с Америкой, только что начинающей развертывать свои громадные силы. И если в этих условиях мы все же оказались разгромленными, то это произошло благодаря не столько силе Германии, сколько нашему бессилию. Достаточно напомнить, что при германском наступлении, предшествовавшем заключению Брестского мира, наши города и крепости занимались десятками и сотнями немецких солдат и перед этими десятками и сотнями в панике бежали тысячи и десятки тысяч русских солдат. В этой обстановке речь, очевидно, должна идти не столько о создании громадной армии, сколько о создании армии, способной сражаться с врагом. Будь у нас такая армия, даже не особенно сильная количественно, и дальнейший победоносный поход немцев на Россию едва ли мог бы иметь место, а, может быть, им пришлось бы очистить и многие из занятых уже ими местностей. Конечно, и создание такой армии является для нас в условиях переживаемого нами момента далеко не легким делом, особенно если припомнить, что большая часть технического снаряжения нашей боевой армии находится ныне в руках наших врагов. Но именно в этом последнем случае нам могли бы прийти на помощь наши союзники и эту сторону дела нельзя считать представляющей непреодолимые затруднения.

Неизмеримо важнее другое. Армия в конце концов лишь служебный аппарат государственной власти и ее воссоздание может совершаться лишь параллельно с воссозданием этой последней. Именно воссозданием,

так как государственной власти в настоящем смысле этого слова у нас сейчас нет, мы пришли к полному ее разложению. И перед всяким, кто думает о воссоздании разорванной России, о защите ее от разгромившего и еще продолжающего громить ее врага, о создании необходимой для такой защиты армии, неизбежно встает вопрос о воссоздании русской государственности, о воссоздании разрушенной русской государственной власти.

Есть разные мнения на счет того, как может быть достигнуто такое воссоздание. И, в частности, существует, и нередко высказывается в нашей прессе такое представление, по которому это воссоздание может быть осуществлено лишь путем более или менее серьезных ограничений народовластия, так как спасти Россию, воссоединить ее, восстановить в ней государственную власть сможет скорее отдельная сильная личность, отдельный диктатор, выдвинувшийся из среды народа, чем сам народ.

Нельзя отрицать, конечно, возможности появления у нас подобного диктатора. В прошлом народов не раз бывали случаи когда в результате затянувшейся и не дававшей осязательных результатов революции появлялся тот или иной диктатор, овладевавший волей утомленных масс и утверждавший над ними свою власть. Быть может, это повторится и у нас — будущее предсказывать трудно. Но вопрос ведь приходится ставить иначе. Дело не в том, возможно ли появление подобного диктатора, а в том, желательно ли оно. Может быть, такой диктатор воссоздаст Россию, но может быть, он и не сделает этого. Но уж во всяком случае он не устроит жизни России так, как этого требовали бы интересы народа, — порукой в этом служит весь опыт, накопленный до сих пор историей человечества. Почему же при таких условиях надо желать появления диктатора? Где собственно основание ожидать, что сильная власть, ставшая над народом и ограничившая его права, скорее и лучше, чем сам народ, воссоздаст Россию, где основания отказываться в интересах такого воссоздания от осуществления в русской жизни принципа народовластия?

Психологию, на почве которой зародилось

стремление к подобного рода отказу понять не трудно. Это психология изверившихся, разочаровавшихся людей. Так неожиданно жестоки и трагичны были события минувшего года, такие глубокие потрясения принесли они с собою, что в результате их многие и многие разочаровались в русском народе, усомнились в его творческих силах и способностях, в возможности вручить в его руки распоряжение его собственными судьбами. И надо сказать, конечно, — события минувшего года дали много законных поводов для сомнений и разочарований. Только в данном случае, думается мне, эти сомнения направляются не по надлежащему адресу и переходят свои законные пределы. В самом деле, разве идея народовластия скомпрометировала себя в событиях, пережитых нами за минувший год? Разве идея народовластия, предполагающая в своем практическом осуществлении неотъемлемые личные права каждого отдельного гражданина и создающуюся в результате использования этих прав общенародную волю, правящую государством, разве эта идея была осуществлена нами в минувшем году и не оправдала себя? На деле ведь случилось нечто другое, чтобы не сказать — нечто прямо противоположное. Идея народовластия, провозглашенная в теории, на практике была смыта и унесена разбушевавшимся потоком эгоистических классовых, групповых и личных стремлений, отказывавшихся считаться с общенародной волей, с благом народа в его целом. И этот поток питался не только классовыми инстинктами народных масс, не только соответствующими инстинктами верхних общественных слоев, но и призывами значительной части интеллигенции, пытавшейся построить все здание русской общественности исключительно на классовых интересах и находившей поэтому нужным потакать этим интересам даже в наиболее низменных их проявлениях.

Сейчас этот бурный и мутный поток увлек нашу родину на самое дно глубокой и мрачной пропасти. И для того, чтобы выкарабкаться из этой пропасти, для того, чтобы снова выйти на вольный свет, нам, быть может, прежде всего надо постараться восстановить во

всей ее чистоте и неприкосновенности идею общенародного блага, идею общенародной воли, стоящей выше всех частных волей, идею народовластия. Нам нужно научить себя и других уважать права каждого отдельного гражданина и деятельно бороться против каждого их нарушения. Нам нужно научить себя и других склонять голову перед выражением общенародной воли и отказаться от всяких попыток насилловать ее. Тогда перед нами откроется широкий путь спасения родины.

На тяжком опыте учатся сейчас отдельные группы населения России познавать связь, существующую между ними и всем народом, между их благом и благом общенародным. В тяжком опыте начинают сейчас народные массы познавать те истины, что их существование тесно связано с существованием родины, что вне ее рамок в данный исторический момент не могут быть удовлетворены наиболее элементарные их интересы, что, когда опозорена, унижена и ограблена страна, нищета и разорение тяжелым бременем ложатся на все слои ее населения и, прежде всего, на трудовые массы. Нужно ускорить процесс проникновения этих истин в народное сознание, так как, усвоив их, народ может найти в себе силы для новой борьбы за родину и может еще спасти ее.

Но надо спешить, — судьба дает нам слишком малый срок. Скоро может так или иначе окончиться жестокая борьба народов и, если мы до момента ее окончания не будем вновь стоять в рядах борющихся, при заключении мира разговор, вероятно, пойдет не с нами, а об нас. Я не хочу сказать, что в этом случае Россия непременно совсем и навсегда исчезнет, как самостоятельное государство, с карты мира. Лично я не считаю даже это возможным. Народ, насчитывающий в себе около 100 миллионов людей, народ, веками строивший свое государство, не может так легко отказаться от государственной жизни и от государственной самостоятельности. Он может пережить момент ослепления, но, как бы ни была тяжела расплата за этот момент, она не уничтожит, не может уничтожить плодов векового государственного строительства и в таком народе неизбежно вновь

проснется тяга к государственности. И если даже в результате происходящей сейчас борьбы народов и долженствующего закончить ее мира Россия останется раздробленной и подчиненной чужому владычеству, в русском народе, несомненно, не умрет стремление к воссозданию родины и ее государственной самостоятельности. Но тогда на пути осуществления этого стремления будут стоять громадные препятствия. Русский народ тогда будет иметь против себя не слабого сравнительно врага, вынужденного отвлекать главную долю своих сил в другую сторону, а могущественного противника или, быть может, ряд противников, располагающих, возможностью употребить на борьбу все свои силы. Возможно, что исход этой борьбы будет все-таки благоприятен для русского народа. Но для того, чтобы добиться этого, придется в течение ряда лет быть может, ряда десятилетий напрягать все свои усилия для достижения одной цели, направлять все свои силы в одну сторону, подчинить всю свою жизнь одному стремлению, сузить и сократить ее размах и всю ее пропитать враждой и ненавистью к противникам. Мало радости, мало света в таком будущем и бесконечно лучше было бы избежать его. Но для этого надо возобновить борьбу с врагом сейчас, надо прекратить распыление народных сил, надо вернуться к защите общенародного блага; вернуться к защите родины. И в первую голову эта обязанность лежит на той части русской интеллигенции, которая пишет на своем знамени слова, говорящие о благе народа.

Листая старые страницы

Николай Михайловский

Вне всякого сомнения — перед нами незаурядная личность. Впереди человека идут пышные титулы, носителем которых он является.

Но, пожалуй, самое поразительное состоит в том, что несмотря на обилие титулов и званий Николай Константинович Михайловский сумел сохранить благородство и верность своим идеалам.

Он умер в 1904 году в возрасте 62-х лет. Его хоронил "весь Петербург" — траурная процессия растянулась на два километра.

Николай Михайловский оставил заметный след в истории русской общественной мысли, мы еще не раз будем обращаться к его темпераментной публицистике, будем искать в его личности примеры благородства и чистоты помыслов.





Н. МИХАЙЛОВСКИЙ¹

Литература и жизнь²

О дѣлѣ г-жи Поповой и о союзѣ писателей

Передо мной лежат две брошюры: г. А. Попова — "Вопрос о четырех нравственных основаниях пред судом чести Союза русских писателей" и г. К. Льдова — "Вопиющее дело". Обе брошюры посвящены делу бывших сотрудников "Нового Слова" с г-жею Поповой, разбиравшемуся судом чести Союза писателей. Г. Попов был в этом деле представителем г-жи Поповой и так и подписался под своей брошюрой: "Доверенный бывшей издательницы "Нового Слова" А. Попова". Г. Льдов не имеет никакого непосредственного отношения к делу. Как тот Пушкинский рыцарь, "духом смелый и прямой".

Он имел одно виденье,
Непостижное уму —
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,

он написал о деле г-жи Поповой три статьи в "Северном Вестнике", издал их отдельной брошюрой с прибавлением четвертой, вновь написанной, в конце которой задает себе или читателям ряд вопросов, и заключает так: "Посильный ответ на эти вопросы не замедлит появиться в следующей брошюре". Тогда,

¹Михайловский Николай Константинович (1842 — 1904) — социолог, публицист, писатель, критик. Один из редакторов "Отечественных записок" и "Русского богатства". Сторонник субъективного метода в социологии. В конце 1870-х годов близок к "Народной воле". В 1890-е годы активно выступает в "Русском богатстве" против марксизма.

²"Русское богатство", 1897 г., № 12.

может быть, г. Льдов и постигнет испепелившее его душу видение, а до сих пор он волнуется, негодует, недоумевает — и ничего не понимает. Но непостижимое уму видение неотступно преследует его, "и как гром, его угроза поражает" — он сам хорошенько не знает кого.

Я не намерен входить во все подробности дела бывшей издательницы "Нового Слова" с бывшими сотрудниками этого журнала, но считаю все-таки нужным напомнить его в самых общих чертах.

О.Н. Попова приобрела журнал от г. Баталина в 1895 г., а в начале 1897 г. продала его г. Семенову. В этот промежуток времени между издательницей, с одной стороны и, сотрудникам, с другой, происходили разные недоразумения, все обострившиеся, и, наконец, выяснилась полная невозможность совместного участия в деле. С обеих сторон предлагались разные выходы, между прочим, шли переговоры и о передаче журнала, на тех или других условиях, сотрудникам, во главе которых стоял С.Н. Кривенко но ничего из этого не вышло, и, как уже сказано, г-жа Попова продала журнал Г. Семенову. Состав редакции и направление журнала резко изменились. В апреле настоящего года гг. Абрамов и Скабичевский, в качестве уполномоченных группю бывших сотрудников "Нового Слова", обратились в комитет Союза писателей с заявлением, предлагающим на рассмотрение суда чести следующие четыре вопроса: 1) имела ли г-жа Попова нравственное основание продать журнал, не предложивши сотрудникам взять его на тех же условиях, на которых он продан г. Семенову? 2) имела ли г-жа Попова нравственное основание скрывать от работавшей в журнале группы писателей свое намерение продать журнал? 3) имела ли г-жа Попова нравственное основание продавать журнал, созданный работами людей одного направления, людям совсем другого направления? 4) имела ли г-жа Попова нравственное основание, завязав переговоры с г. Кривенко о передаче журнала и назначив срок для окончания переговоров, будучи недовольна предложенными условиями и не сделав желательных ей поправок, приступать к продаже журнала в другие руки?

Суд чести, на который доверенным г-жи Поповой явился А.Н. Попов, был, по случаю приближения летнего времени, далеко не в полном составе. Приговор подписан тремя судьями: председательствовавшим В.Д. Спасовичем и членами — В.А. Манасеиным и П.П. Фан-дер-Флитом. Последние двое признают г-жу Попову нравственно неправую в продаже журнала "Новое Слово" в том виде, как эта продажа совершилась; но, вместе с тем, они признают наличность многих обстоятельств, значительно уменьшающих неправоту г-жи Поповой, а именно: 1) болезненной нервности г-жи Поповой, оставшейся у нее после тяжкой перенесенной ею болезни; 2) бескорыстной затраты крупных сумм на издание журнала; 3) несколько беспорядочного, по-видимому, ведения сотрудниками хозяйственной части издания; 4) недостаточного знакомства г-жи Поповой с тем, какого направления будет держаться новая редакция "Нового Слова", и могут ли принять участие в журнале прежние сотрудники; 5) участия некоторых сотрудников "Нового Слова" в "Неделе", хотя и не по спорным между этими двумя журналами вопросам, в такое время, когда журналы эти вели между собою полемику. На основании всех вышеизложенных соображений суд чести по большинству голосов определил: признать О.Н. Попову нравственно неправую в том, что она продала журнал "Новое Слово" лицам иного, хотя прогрессивного направления, не исчерпав всех средств для продажи журнала своим прежним сотрудникам, но неправота г-жи Поповой в значительной мере уменьшается перечисленными в мотивах настоящего приговора смягчающими вину ее обстоятельствами".

Г. Льдов счел нужным заявить, что *"ни разу в жизни не видел"* (курсив г. Льдова) не только г-жи Поповой, но и г. Попова, не только г. Кривенко, но и г. Абрамова, не только г. Скабичевского, но и г. Щепотьева, не только г. Рубакина, но и гг. Поссе, Яроцкого, В. и К. Тимирязевых, Фан-дер-Флита". В этом мы должны видеть залог нелицеприятного

отношения г. Льдова к делу. Я должен сознаться, что *таких* залогов беспристрастия я, со своей стороны, представить не могу. Напротив, почти всех действующих лиц занимающей нас истории в знаю более или менее хорошо, а с некоторыми из них был даже очень близок и стоял у одного с ними дела. На это имеются указания и в брошюре г. Попова. Он пишет: "Скорбный лист журнала "Новое Слово" необходимо начать с воспоминаний о журнале "Русское Богатство", в котором доверительница моя принимала участие до приобретения ею "Нового Слова". Этим участием О.Н. Попова была обязана С.Н. Кривенко, пригласившему ее в число пайщиков "Русского Богатства". Весною 1895 г. недоразумения среди участников в "Русском Богатстве" достигли размеров, вызвавших кризис. Вопрос о продолжении сотрудничества С.Н. Кривенко был поставлен ребром и разрешился его выходом из журнала". Вместе с г. Кривенко из нашего журнала вышли и некоторые другие сотрудники, вышла и г-жа Попова, принимавшая в журнале участие в качестве издательницы: сняла свою подпись и без всякого спора полностью получила обратно затраченные ею деньги. Таким образом, мы *единовременно* расстались с г-жей Поповой, и с г. Кривенко, которого г. Попов считает главным виновником неприятностей, пережитых г-жею Поповой. Думаю, что это гарантия нашего беспристрастия не менее значительна, чем незнакомство г. Льдова с г. Кривенко и г-жею Поповой. К этому надо прибавить, что личные мои добрые отношения с г-жею Поповой не прерывались и с выходом ее из "Русского Богатства", — не счел бы нужным об этом упоминать, если бы на эти добрые отношения не было указаний в той же брошюре г. Попова, о чем мне придется еще говорить.

Итак, я не имею никаких оснований класть лишние гири на ту или другую чашку весов суда чести, разбиравшего дело г-жи Поповой и сотрудников "Нового Слова". Я отнюдь не заподозреваю и беспристрастие г. Льдова, но то непостижимое уму виденье, которое сожгло его душу, стоит между ним и истиной, заслоняя и извращая ее.

Я приведу целиком то место брошюры г. Льдова, в

котором он, опираясь на брошюру г. Попова, определяет мою роль в деле:

"В списке свидетелей, приводимом г. Поповым на стр. 2-й брошюры, не упомянуто одно лицо, сыгравшее видную роль во время судопроизводства. Лицо это — г. Н.К. Михайловский. На стр. 35-й брошюры г. Попов сообщает, что суд чести пригласил Г. Михайловского, *в качестве эксперта* (курсив г. Льдова), для определения различия в направлениях журнала "Новое Слово" для прежней и новой редакциях". "Н.К. Михайловский — говорит г. Попов, — высказал мнение и по существу дела. Передачу журнала лицам другого направления г. Михайловский признал неправильным действием, но совершенным при обстоятельствах, уменьшающих вину г-жи Поповой. Полагаю, — добавляет г. Попов, — что такая предупредительность со стороны Н.К. Михайловского не могла входить в круг действий экспертизы". В мотивированном приговоре мы находим подтверждение этих слов г. Попова, хотя там г. Михайловский назван *не экспертом, а свидетелем* (курсив мой, Н.М.). "По мнению г. Михайловского, — говорится в приговоре, — г-жа Попова, вероятно, не знала, какого направления г. Семенов. Он (г. Михайловский) полагает, что передача журнала марксистам была действием неправильным, потому что существует острая и принципиальная разница между народниками и марксистами, но он признает, что имеются и смягчающие вину О.Н. Поповой обстоятельства, заключающиеся во 1) в объявлении Поповой, предлагающем подписчикам возврат им подписных денег за время до 1-го октября 1897 г.; во 2) в наших литературных нравах допускающих совместное постоянное сотрудничество одних и тех же писателей в журналах весьма различных направлений; в 3) наконец, в том, что она не знала, какому собственно направлению принадлежит г. Семенов". Свойство мнения, выраженного г. Михайловским, совершенно соответствует понятию об экспертизе. Если к этому присоединить *показание г. Попова, что ни одна из сторон не вызвала г. Михайловского свидетелем* (курсив мой, Н.М.), выяснится с еще большей наглядностью, что тут, в самом деле, налицо не

свидетельское показание, а экспертиза, да еще с предрешением приговора. Приговор гг. Манасейна и Фан-дер Флита является ничем иным как распространенным повторением экспертизы г. Михайловского, а последняя часть "особого мнения" г. Спасовича — ее опровержением".

Не буду останавливаться на том, что в мотивах приговора есть пункты, которые совершенно отсутствуют в выраженном мною мнении, которые были известны суду, но не были и не могли быть известны мне ("бескорыстная затрата крупных сумм на издание журнала", "несколько беспорядочное, по-видимому, ведение сотрудниками хозяйственной части издания"). Не буду останавливаться и на том, что, по г. Льдову, "свойство мнения, выраженного г. Михайловским, совершенно соответствует понятию об экспертизе", а, по г. Попову, "такая предупредительность со стороны Н.К. Михайловского не могла входить в круг действий экспертизы". Гораздо интереснее упоминаемое г. Льдовым "показание г. Попова, что ни одна из сторон не вызвала г. Михайловского свидетелем". Такого показания *нет* в брошюре г. Попова, как может удостовериться каждый читатель: г. Льдов сочинил это показание. Очевидно, далее, что, утверждая, что я был приглашен "в качестве эксперта", г. Попов впадает в "неточность", а следом за ним идет г. Льдов, игнорируя мои свидетельские показания и уже прямо от себя сочиняя "показание г. Попова, что ни одна из сторон не вызвала г. Михайловского свидетелем".

Повторяю, из всего делопроизводства я знаю только ту долю, в которой мне лично пришлось участвовать. Но могут спросить, — почему же я так долго молчал о касающейся меня "неточности"? Пламенный г. Льдов уже через три недели после выхода в свет брошюры г. Попова считал возможным опираться на данные брошюры, "как на материал вполне основательный", потому что, дескать, никаких указаний на фактические неточности не было. Почти столь же пламенный г. Quidam в "Московских Ведомостях" говорит о "скандальном молчании суда чести". Суд чести молчал по той простой причине, что судьи (и, главным образом, председательствовавший по делу г-

жи Поповой г. Спасович) отсутствовали. А мне, в свою очередь, казалось, что до того или иного отклика суда чести не следует касаться брошюры г. Попова, ибо только суду известно дело во всех его подробностях.

Но, и помимо необходимости выждать заключения, к которому придет суд чести, я, признаюсь, и теперь с большою неохотою взялся за перо, чтобы писать о деле г-жи Поповой. Я думаю, всякий, кому дорого достоинство литературы, согласится с тем, что лучше было бы, если бы это дело совсем не возникало. Я не о суде чести говорю, — он вел себя безупречно, и этому ни мало не противоречит разногласие судей. Что же касается поведения обеих сторон и их взаимных отношений до суда, то я и теперь, по возможности, обойду его молчанием. Тем более, что и материал для суждения обо всем этом имеется слишком односторонний. Меня занимают, главным образом, те общие выгоды из процесса г-жи Поповой, которые с такою настойчивостью делаются и развиваются г. Льдовым и "Московскими Ведомостями" под предлогом рыцарской защиты правды, потерпевшей в лице г-жи Поповой. "Дело г-жи Поповой еще не кончено", настойчиво утверждают эти рыцари правды и, действительно, не дают кончиться, если не ему самому (оно давно кончено), то разговорам об нем. Я не надеюсь, разумеется, прекратить эти разговоры настоящей статьей, но, быть может, мне удастся пролить некоторый свет на побудительные причины рвения, с которым рыцари ухватились за дело г-жи Поповой.

В вопросе о направлении, поскольку он мог интересовать суд по делу г-жи Поповой, "прогрессивность" и "ретроградность", мне кажется, совсем не причем. Я, по крайней мере, смотрел на дело гораздо проще, когда излагал свое мнение суду. Мнение это напечатано г. Поповым, и здесь я приведу только ту иллюстрацию, которую предложил на усмотрение суда. В течение нескольких месяцев в объявлениях "Нового Слова" значилось в числе постоянных сотрудников почтенное имя г. Николая — она (я взял для иллюстрации это имя, как незамешанное в суде, г. Николай — он не подписывал коллективного заявления сотрудников о выходе из

журнала и держался, по-видимому, совершенно в стороне от редакционных недоразумений), и читатель, подписывавшийся на "Новое Слово", рассчитывал получить статьи, между прочим, и г. Николая — она и людей, близких ему по образу мыслей. Но вот, в один прекрасный день читатель получает книжку "Нового Слова", в которой не только нет того, что ему было обещано, но есть, напротив, в высшей степени резкое осуждение взглядов г. Николая — она, равно как и прочих сотрудников. В "прогрессивную" ли или "ретроградную" сторону подался при этом журнал, это безразлично для тех двух последствий, которые несомненно вытекают из такой резкой перемены. "Читатель-друг" прямо обманут и оскорблен в своих идейных симпатиях; читатель безразличный еще более утверждает в своем безучастии к различным течениям общественной мысли. И г-жа Попова, так сливавшаяся душою со старой редакцией, так ревниво оберегавшая этот "приход" и ради него именно предпринявшая журнал, меньше, чем кто-нибудь, могла бы протестовать против выраженного мною на суде мнения.

Но, признав продажу журнала при данных условиях поступком неправильным, я счел долгом указать на обстоятельства, говорящие в пользу г-жи Поповой. На первом месте здесь стоит возвращение денег подписчикам. Если этим не устранялся грех относительно читателей безразличных, то по крайней мере "читатели-друзья" старой редакции получили некоторое удовлетворение. Затем г-жа Попова могла бы сослаться на пословицу: "с волками жить — по волчьи выть". У нас ныне до такой степени распространена между господами писателями прискорбная неряшливость в выборе органов печати для сотрудничества, что и г-жа Попова — все-таки не писатель по профессии — могла ею заразиться. Третье соображение в пользу г-жи Поповой состояло в том, что она, может быть, не знала, в чьи именно руки переходит журнал.

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление собственно от дела г-жи Поповой.

В № 313 "Московских Ведомостей" напечатана следующая заметка, подписанная Quidam:

"Юмористическое учреждение, именующее себя *Союзом русских писателей*, занялось обсуждением вопроса: следует или не следует нам заключать с Францией литературную конвенцию. Как тема для болтовни, это подходящая тема. Отчего "союзникам" и не потолковать насчет конвенции? Хотя большинство членов "Союза" принадлежит к числу тех иксов и игреков, которые менее всего достойны названия писателей, хотя эти иксы и игреки на добрую половину являются счастливыми обладателями превосходных, чисто еврейских, фамилий, однако возможно, что и —

Кто-нибудь проболтается
Добрим словом.

Короче говоря, против принципиального обсуждения вопроса о конвенции в недрах "Союза" возражать нет причины. Но "Союз" принципиальным обсуждением вопроса довольствоваться не хочет. Он заявляет с полной откровенностью, что ему нужно во чтобы то ни стало занять тут самую важную, первейшую позицию. Он **уполномочивает** кого следует хлопотать, чтобы в деле заключения и применения конвенции ему, Союзу, предоставили исключительные права. Он будет посредником, супер-арбитром, и уж не знаю кем и чем еще — в сношениях русских литераторов и издателей с французскими и французских с русскими.

Стремясь к подобной узурпации, Союз, разумеется, знает, что делает. Хотя в состав его входит около трехсот человек, однако эта цифра далеко не представляет всей массы пишущих. Даже в количественном отношении Союз не имеет вида авторитетного учреждения. Касательно качественного отношения нет надобности и речи поднимать. Заправилами Союза являются люди одной, резко определенной, литературной партии. Каким же образом такой самозванный "Союз русских писателей" может претендовать на главенствующую роль в деле, обнимающем интересы действительно *всей* литературной братии, без различия направлений? Мы находимся здесь пред лицом не только крайне претенциозного, но прямо-таки нахального сборища. Это сборище, состоящее из либералов и радикалов, кричащих о свободах, независимости и прочих громкозвучающих для профанов вещах, требует для себя положения беспримерного.

Трудно сомневаться в полном фиаско, которое неминуемо потерпит домогательство Союза. Однако не характерны ли эти домогательства? Не показывают ли они, что наша "передовая" писательская группа все больше и больше распоясывается, становится все циничнее и циничнее в своих требованиях?

Возмущаться распоясанностью наших "прогрессистов" я отнюдь

не намерен, потому что слишком хорошо их знаю. Они действуют, если угодно, с полной логичностью. Было время, когда им удавалось добиваться успеха улещиванием и умасливанием. Это время проходит. Значит, надо переменить прием и, вместо улещивания, брать напролом. Авось удастся.

"Действительно, чем рискует "Союз" в том случае, если его домогательства провалятся? Да решительно ничем! Наоборот, если домогательства увенчаются успехом, то выигрыш останется крупный. Ведь посредничество "Союза" в сношениях с французскими авторами и книгоиздателями поставит в зависимость от него решительно весь наш прикосновенный к литературе мир. А Союз в этом выгодном положении будет брать взятки... борзыми щенками. Драматурги дают уже все взятки (припомните дело г. Щеглова), будут давать и романисты, и поэты, и ученые.

Махинация тонкая и хорошо рассчитанная. В изобретательности гг. "прогрессистам" отказать нельзя. Одно их только, надо полагать, смущает: *не разрешенное* еще дело г-жи Поповой. Ах, сколько оно им уже доставило неприятностей! Ах, сколько оно доставит еще в будущем!!".

Непристойность этой заметки, нисколько, впрочем, не удивительная на столбцах "Московских Ведомостей", не требует доказательств. Но приходится указать на ее лживость. Лживо утверждает мало почтенная московская газета, будто Союз "заявляет, что ему нужно, во что бы то ни стало, занять тут важную, первейшую позицию", будто "он уполномочивает, кого следует, хлопотать, чтобы в деле заключения и применения конвенции ему, Союзу, предоставили исключительные права"; будто он хочет быть "посредником, супер-арбитром в сношениях русских литераторов и издателей с французскими и французских с русскими". Все это — неправда, и когда одна петербургская газета назвала нелепостью и вздором сообщение г. Quidam, он в № 319 "Московских Ведомостей" победоносно сослался на репортерский отчет "Нового Времени" об одном из общих собраний Союза писателей. Свою первую заметку г. Quidam называет при этом "заметкой о новых притязаниях Союза писателей, требовавшего, чтобы ему, в случае заключения конвенции с Францией, были предоставлены права *единственного посредника* (курсив г-на Quidam) в сношениях между иностранными и

русскими писателями". А из отчета "Нового Времени" г. Quidam приводит следующие слова: "При этом намечались, как наиболее главные, пункты, чтобы комиссия в случае принятия конвенции у нас, в России, выработала положение о том, что посредником между иностранными и русскими писателями в данном отношении является единственный в России "союз писателей".

Последний курсив тоже принадлежит г-ну Quidam, и если читатель потрудится сравнить два его курсива, то, без сомнения, полюбуется фокуснической ловкостью, с которой на его глазах "единственный в России Союз писателей" превращается в "единственного посредника между иностранными и русскими писателями". Союз писателей пока, действительно, единственный в России, но это отнюдь не значит, что Союз домогается положения единственного посредника. И если г. Quidam приставляет прилагательное "единственный" совсем не к тому существительному, к которому оно относится в отчете "Нового Времени", то это свидетельствует либо о слабости его собственного понимания, либо о злонамеренном расчете на слабость понимания читателей.

Г. Quidam пугает Союз "неразрешенным" делом г-жи Поповой. Нет, это дело разрешено, оно никакому перерешению не подлежит и никаких "неприятностей" Союзу не принесет. Пусть даже бывшие сотрудники "Нового Слова" вполне заслуживают того освещения, которое бросает на них брошюра г. Попова (я вовсе не выступаю их адвокатом), это не имеет никакого отношения к Союзу писателей. И конечно, г. Попов в принципе совершенно прав, говоря, что, "если бы даже престиж некоторых членов Союза русских писателей и мог пострадать, то кто же решился бы этих "некоторых" отождествлять со всеми русскими писателями" (стр. 2). Правда, г. Quidam имеет в виду не всех русских писателей, — в высшем благородстве, например, г. Льдова он также уверен, как г. Льдов уверен в высшем благородстве г. Quidam'a — а олько скопище "кричащих о громкозвучающих вещах"; ну, а этот народ стоит вне закона, с ними церемониться нечего. И вы понимаете, что дело г-жи Поповой есть

для г. Quidam'a именно только козырь, которым он думает побить "кричащих о громкозвучащих", будто бы овладевших Союзом. И так как ему дела нет ни до здравого смысла, ни до истины, ни даже до верной передачи прилагательного "единственный", то, надо думать, он еще много раз осчастливит г-жу Попову своею защитой.

Не устанет и г. Льдов, как он уже и теперь сообщает: нас ждет еще, по крайней мере, одна его брошюра, посвященная все тому же делу г-жи Поповой. Но г. Льдов, даже превосходя г. Quidam'a пламенной энергией своего красноречия, вместе с тем осторожнее его в одном отношении. Хотя и он говорит о виновности Союза и тех, которые "кричат о громкозвучащих вещах", но в выражениях не столь определенных. Он не только *laisse quelque chose a devviner*, но, по-видимому, и сам еще не докопался до корня зла. Он говорит о какой-то "указке властного эксперта", о какой-то "темной, лгущей силе, препятствующей выяснению правды, о каком-то "властном персте, дерзко пригрозившем органам русской печати", словом, о каком-то "непостижимом уму виденьи", связанном с Союзом и "кричащими", но не тождественном с ними. Борьба с этим видением и составит содержание следующей брошюры Г. Льдова. Боюсь только, что к тому времени дело г-жи Поповой до такой степени всем надоест, что и новый подвиг г. Льдова не принесет ему лавров.



ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

С. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ¹

О черносотенцах²

о "любви къ отечеству и народной гордости", о красномъ и трехцвѣтномъ флагѣ и о проч.

"Они еще натворять дѣловъ"

Выражение "черная сотня" очень неудачно. Не говоря уже о совершенно нежелательной комбинации терминов "черная сотня" и "черная кость", — по существу это слово не выражает содержания или, вернее, смешивает совершенно разные содержания. Смешивает в одно, — и людей темной души, — самый худший сорт черносотенников, куда входят и профессора, и ученые, и люди либеральных профессий, и даже общественные деятели, регистрируемые в прогрессивном лагере, и людей темной мысли, которые не виноваты в том, что государство употребило все усилия, чтобы не допускать к ним никакого света.

"Они просто обыватели, в той или другой форме связанные с полицейским участком. Только люди, долго жившие в провинциальных городах, знают, что такое полицейский участок в жизни обывателя. Если

¹Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854 — 1933) — писатель и публицист. Сын дьячка. Был земским врачом. За участие в революционном движении в начале 1880-х годов сослан в Сибирь. Напечатался впервые в "Новом обозрении" (1881 год), потом чаще всего публиковался в "Русском богатстве".

²Русское богатство", 1905, № 11—12.

чиновник, человек либеральной профессии, дворянин, крупный купец своими связями, знакомством с писанным законом до известной степени освобождены от его власти, то есть целые категории профессий, всецело находящиеся во власти участка. Мелкий лавочник, трактирщик, подрядчик и проч., и проч. могут жить только с разрешения участка и во всякую минуту дня и ночи протоколом, актом о не свежей провизии, о несоблюдении санитарных требований и обязательных постановлений, о скандале в гостинице, о тухлой солонине и недоданных рабочим деньгах у подрядчика можно прекратить эту жизнь и остановить дело. На этом неограниченном значении полицейского участка и выросла знаменитая поговорка: "от сумы да от тюрьмы не отрекайся".

"Есть профессии, покоящиеся целиком не на писанном законе, а на обычном праве полицейского участка: негласные дома терпимости, негласные игорные дома, притонодержатели, конокрады, приемщики краденого, воры и мошенники находятся уже в полной власти полиции, от которой зависит целиком их вопрос: быть или не быть.

"Если русский обыватель вообще привык получать *mot d'ordre* из участка и ждет, когда ему скажут, что в такой-то день разрешается торжествовать, а в такой — печалиться, разрешается встретить нового любимого губернатора и проводить старого любимого; разрешается производить пожертвования на Красный Крест и усиление флота, — то обыватель, ютящийся около полицейского участка и от него целиком зависящий, воспитанный рядом поколений в неустанном трепете пред участком, определяет свое политическое настроение велениями, исходящими из участка. Говорят — радуйся, он радуется; составляя телеграмму — он составляет; посылай адрес — он посылает. И, конечно, когда ему скажут бей — он будет бить".

С тех пор моя основная точка зрения не изменилась, и все то, что совершалось в России с того времени, — и что после 17-го октября вылилось в определенную форму контрреволюции, по-видимому, декретированной из Петербурга — только подтверждало высказанную мною тогда основную

точку зрения. Черносотенная, так называемая, патриотическая манифестация получила окончательную форму, выработала свою обрядность, известный обязательный ритуал. Наиболее короткую и законченную формулу дала Калуга. Не помню буквально текста телеграммы, но она врезалась в моей памяти во всей своей лаконической вразумительности. Было молебствие... потом процессия: впереди портрет государя, за ним губернатор Офросимов с чиновниками, а *потом* погром — грабеж и убийства. Эта единственная по своей короткой и точной вразумительности телеграмма, обошедшая все газеты, совершенно явственно и вразумительно выясняет схему всех патриотических манифестаций, погромов тоже, происходивших одновременно с Калужским и сопровождавших манифест 17-го октября. Из Петербурга, если верить сообщениям газеты "Русь", по одной и той же проволоке, только что звеневшей о свободах и неприкосновенности личности, полетела другая телеграмма: "не препятствовать проявлению патриотических чувств русского населения". Губернаторы, осведомленные в авторитетности источника телеграммы, гарантирующего их безнаказанность, принимали телеграммы не "к сведению", а к "исполнению".

Отдавался приказ по участкам "вверенной" губернии, а участки немедленно мобилизовали те силы, о которых я писал в статье "Руси", и выработанный "порядок дня" "исполнялся". Молебен, портрет государя, явно или тайно присутствующий губернатор или исправник, казаки и войско, а *потом* погром, расхищение чужого имущества, убийства, выкалывание глаз, вбивание гвоздей, изнасилование женщин, разбивание грудных детей об угол домов, поджоги и сжигание живых людей, — одним словом, все то, что сделалось злонамеренной принадлежностью патриотических манифестаций. Эта установленная обрядность спаяла навеки в сознании народа вместе портрет государя, казацкую нагайку, губернатора или исправника, черную сотню, грабеж, убийства, поджоги, закалывание детей, изнасилование женщин... под охраной казаков и войск... И не удивительно, что появление портрета государя на улицах города

возбуждает теперь панический ужас среди мирных обывателей. И не одних обывателей. Знакомый полицейский чиновник настойчиво предупреждал меня об имеющем быть в том городе, где я жил, погроме и, видя, что я сомневаюсь и не доверяю ему — шепотом, с испугом на лице*, добавил:

— Портрет уже достали!

Тогда я поверил и вскоре убедился, что положение вещей было очень серьезно.

Да, это все так, но нужно помнить, что черносотенники не исключительно хулиганы, а также и обыватели, местные жители; что, рядом с активными погромщиками, стоят люди, так сказать, пассивные погромщики, я бы сказал: люди, не противодействующие погромам, но молчаливо санкционирующие их, и что нельзя сводить только к участку все то сложное и трудно поддающееся учету, что называется черной сотней.

Замечательно, что черносотенники активные, настоящие грабители и убийцы никогда не выставляли в голом виде своей программы, не говорили, что они хотят поживиться чужим добром, что они жгут и убивают по приказу из участка, а апеллировали к идеям высшего порядка. На юге, на севере, на востоке были разные объекты погромов и разные мотивировки. Били ли студентов, а за отсутствием их ребят-гимназистов в Курске, интеллигенцию вообще в Нижнем Новгороде, специально медицинский персонал в Балашове, земцев в Тамбове или евреев на юге, везде были слова высшего порядка, мотивы, так сказать, идеалистические.

Поругание православной веры, еврейский царь, опасность разрушения государства российского и необходимость землеустройства и проч., и проч., — везде фигурировало все это море клеветнической лжи, которое родилось в петербургских и местных участках, которое рождается в воздухе, насыщенном вонючими газами борющегося за существование старого режима.

И опять повторяю, никто не говорит, что он идет

* Теперь многие полицейские чиновники, не слишком яростно создающие карьеру, боятся и не желают погромов в виду удостоверенного историей риска для них самих.

грабить, резать, жечь. Очевидно, им нужна санкция не одного участка. Они легче себя чувствуют, когда их благословляет священник, когда им предшествует губернатор, портрет царя, а за их спиной стоят люди, участвующие в патриотической манифестации не для грабежа, а от чистого сердца во имя этих лозунгов сохранения веры от поругания, самодержавного русского государства от еврейского царства, оберегания его от расхищения его инородцами. Такие люди везде есть, они не грабят и не жгут, и именно к ним апеллируют организованное полицейское и уличное хулиганство. И, замечательно, что и газетные сообщения, и рассказы очевидцев устанавливают одно — грабит и убивает не большинство патриотических манифестантов, а меньшинство и успеваеет оно производить колоссальные погромы и массовые убийства, только благодаря пассивному отношению к погрому большинства, с одной стороны, и с другой — в особенности благодаря активной охране погромщиков казаками и войсками.

Кто же они, — эти люди, как я сказал, не препятствовавшие погромам, на чей авторитет опирались грабители и убийцы, негодяи сверху и снизу, чье молчаливое согласие давало им моральную силу, известное освящение? Я бы назвал их: люди "старого понимания любви к отечеству и народной гордости".

Какая это была любовь к отечеству и в чем состояла народная гордость, известно всякому. Могущественное государство, огромная военная сила, захват смежных областей, беспредельность границ, подавление народностей, входящих в состав русского государства — вот объект любви и народной гордости старых русских людей. "Шапками закидаем", "Гром победы раздавайся", "Покорим под ноги врага и супостата" — вот формулы, в которых выражалась эта любовь к отечеству. Люди старые, видевшие хоть одним глазом крепостную Россию, помнят, что именно таково, еще недавно, было почти всеобщее понятие любви к отечеству и народной гордости. И люди, изменившие это старое понимание, вероятно, помнят тот патриотический восторг, который возбуждал у них,

подростков, генерал Суворов, гоголевская тройка и знаменитое Пушкинское "Клеветникам России".

Это была не черносотенная психология, это было понимание почти всей подавляющей части России. Целые столетия "собирания Руси", целые столетия расходования всех сил и всех людей страны на достижение внешнего могущества, на округление границ, на поглощение народностей, вклинивавшихся в территорию, создавали известный культ военного могущества, медлительно и долго складывали в массах смутное сознание важности, неизбежности, патриотического долга поддержания этого внешнего могущества. И, когда границы округлились, кончилась прежняя настоятельная надобность исключительного военного лагеря, когда русские войска стали усмирять венгерцев, освобождать болгар, охранять неприкосновенность Китая и Кореи захватом Порт-Артура и Манчжурии и устройством концессии на Ялу, — по инерции, по привычке — общественная мысль шла все в том же направлении, т.е. сосредоточивалась на внешнем могуществе, игнорируя гражданственность. Я говорю о несознательной, стихийной общественной мысли.

Правительство давно уже не по инерции, а с заранее обдуманном, злостным намерением утилизировало то, веками складывавшееся, смутное народное сознание, и с заранее обдуманном намерением воспитывало общество все в том же кошмаре военной славы, принесения личности в жертву молоху военного могущества и давило всякие проявления гражданственности, всякие попытки внутреннего устройства государства российского. В правительственных манифестах, с церковных кафедр, из кулуаров нововременного парламента неслась все та же единственная проповедь: покорим под ноги врага и супостата, и с уменьшением внешнего врага и супостата, таковым постепенно оказывались: то армяне, то евреи, то финляндцы, то поляки; наконец, внутренние враги, — те, которые вложили новое понятие в старую формулу любви к отечеству и народной гордости, кто хотел перенести центр тяжести государственной жизни на установление справедливых

норм гражданской жизни, на создание внутреннего могущества России.

В превосходной повести Куприна "Поединок" фельдфебель или унтер-офицер втолковывают солдатам, что внутренние враги, это — бунтовщики, студенты, конокрады, жидаы и поляки. Так просачивались долгие годы с верхов правительства и из подворотни "Нового Времени" вонючие государственные идеи.

Когда русские военачальники отдавали на разграбление взятые города солдатам и совершались невероятные жестокости, когда Россия грабила другие народности, отнимала у армян их земли, угнетала Польшу, ломала и коверкала Финляндию, люди старого понимания любви к отечеству и народной гордости любовались зверскими и мошенническими подвигами своего правительства, рукоплескали и говорили:

— Так им и надо, горло бы им перервать, бунтовщикам!..

Да, русские люди выросли, поднялись нравственно и умственно, стали любить Россию не за ее военное могущество, не за эту звериную силу, не за те насилия, которые она проявляла в отношениях к другим народностям, а за то общечеловеческое, чистое и высокое, что вопреки усилиям правительства, наперекор истории, нес в себе русский народ, стали гордиться тем вкладом, который Россия делала последние десятилетия в общечеловеческую сокровищницу духа, — в области литературы, идей, искусства, — и тем великим вкладом, который она внесла в истекшие воистину чудотворные двенадцать месяцев в общую гражданскую жизнь человечества; но за этими людьми нового понимания внутреннего домостроительства продолжала и продолжает стоять стена темных людей прошлого уклада внешней политики. Как везде и всегда, эта внешняя политика, помимо подавления гражданственности, систематически развращала население. Известно, что уголовные преступления по кодексу мирного времени становятся патриотическим подвигом по кодексу войны и внешней политики — и грабежи, и захваты

чужого имущества, и убийства, и поджоги, — за веру, царя и отечество можно было безнаказанно душить людей, грабить дома, избивать мирных жителей до детей включительно.

И оттого, что любовь к отечеству была мохнатая, звериная любовь к сильному и страшному своей силой государству, что нам нечем было гордиться "в семье других стран, кроме стальной щетины штыков", и можно было говорить клеветникам России и кичливому ляху только одно: "Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды" ... — наш русский патриотизм получил особенный свирепый характер.

Да, двенадцатидюймовые японские орудия разбили старый кувшин русской народной гордости, и мерзость запустения оказалась там, где люди полагали сокровища своего народного бытия, и раскрывшиеся раны России оказались так глубоки, так грозны и вонючи, что темный человек старого уклада в ужасе отшатнулся и разразился проклятиями. Но он остался человеком старой любви к отечеству и народной гордости. На историческую сцену со страстью и неотразимой силой логики вышли люди нового понимания любви к отечеству и народной гордости, но, если идеи на штыки не улавливаются, то и старое миропонимание, складывавшееся сотни лет, не устраняется из жизни сразу ни бомбами, ни прокламациями, ни японскими снарядами. Оно разбито, разгромлено, но на его место не встало новое, в старую формулу не влило новое содержание.

И вот они, люди старого понимания, выбитые из вековой позиции внешнего могущества и не просветленные новым пониманием, стоят в недоумении перед тем, что нахлынуло на них, стоят испуганные, колеблющиеся, сомневающиеся. У них остались старые дорогие символы и они жадно впитывают в себя то, что шлетя негодьями сверху и негодьями их участка, рассказы о поругании русских храмов и икон, о грядущем еврейском царстве, о разрушении государства российского, — и мохнатые звериные сердца содрогаются.

Пока они сомневаются и колеблются. Они не противодействуют, но активно и не содействуют патриотическим грабежам и убийствам, они не содействуют, но активно и не противодействуют забастовкам, так бью-

щим их по карману, — не противодействуют, так как колеблются, не уверены в неправде бьющих и инстинктивно чувствуют правду бастующих; но они скоро перестанут сомневаться и колебаться и восстановят нарушенное равновесие духа и то, к чему они придут, будет очень важно для России, и пока на это решение могут оказать большое влияние люди нового понимания русской истории и жизни.

Я не хочу никого учить, моя задача прежде всего разобраться в сложном, многими односторонне понимаемом, так называемом, черносотенном движении, но я не могу не высказать нескольких соображений.

Задачи и тактика центра и периферии, в особенности огромной и пестрой русской периферии, должны быть разные. Если настоящий исторический момент требует широкой государственной постановки партийных программ, если здесь, в Петербурге, логично и законно — отмежевание друг от друга, партии от партии, если Петербург должен заниматься решением принципиальных, повторяю, государственных вопросов, — то перед периферией, перед глубинами России, стоит другая задача и другая тактика. Там, где полтора человека одной партии, и два с половиной другой, размежеваны друг от друга, бесконечные партийные споры, держа местную духовную жизнь в рамках партийных разногласий, оставляют вне воздействия, вне поля зрения, большую часть населения.

Тот, кто знает провинцию, — и чем глубже она, тем это справедливее, — согласится, что там необходимы прежде всего "первые начатки грамоты" — проведение в жизнь элементарных основ новой русской гражданственности, и первая задача местных людей отмежевывать новую Россию от старой России, просвещать темных людей, вливать новое содержание в старую формулу любви к отечеству и народной гордости.

И здесь, в Петербурге, пусть люди не празднуют еще победы, и не очень умно заниматься спором, кто добыл ее, так как победы еще нет, так как взятие отдельных неприятельских позиций еще не победа. И пусть люди помнят, что там не спокойно... Там темный человек стоит на распутьи русских дорог и колеблется, не знает, куда ему идти. Там по задворкам люд-

ского жилья бродит волк, не сытый, попробовавший горячей человеческой крови, и волчьи зубы щелкают и волчьи глаза поблескивают во тьме российских глубин.

Мне хочется кончить идиллией, рассказать о братском единении, чуть ли не единственном случае, светлым пятном оставшемся у меня на фоне мрачных ужасов и звериной озлобленности друг против друга, сопровождавших объявление манифеста 17-го октября.

21-го октября, в разгар тревожных дней, когда в Ялте с часу на час ждали погрома, в Алупке состоялось под председательством местного земского врача К.В. Волкова народное собрание из пятисот человек, преимущественно рабочих, но вместе с ними и всякого звания людей. Сначала обсуждался вопрос об ознаменовании 17-го октября устройством дома для народных митингов...

Близкий мне человек, принимавший наиболее деятельное участие в организации этого народного собрания, добавил мне несколько подробностей, не попавших в газетную корреспонденцию. После народного собрания присутствующие двинулись процессией, выросшей до 1000-1500 человек. Они связали вместе "братьев" — национальный и красный флаги, и под этими связанными флагами ходили праздничные и ликующие по улицам Алупки. К русским на митингах явилась в праздничных одеждах депутация от татар поздравлять русских со счастьем и свободой, после русские отправились к мечети отдавать визит, и русские поздравляли татар со счастьем и свободой; там их встретили братски и радостно, и юноша, образованный татарин, со ступени мечети держал речь о том светлом будущем, которое наступит для всех жителей России и русских и татар. Правда, в конце корреспонденции стояла фраза, которую нужно учитывать в двойной стоимости, как объяснение тишины, мира и братства этого не омраченного светлого праздника: "присутствовавшая на собрании полиция держала себя вполне корректно, не вмешиваясь в ход собрания", но все очевидцы подтверждают, что на собрании царило торжественно-праздничное настроение.



С. ЮЖАКОВЪ¹

Успехи мирной революціи въ Россіи²

В России торжествует мирная народная революция: это кардинальное важнейшее событие всемирной истории нашего времени. Революция еще не восторжествовала, но уже торжествует победу за победой. Не на баррикадах одерживает свои победы народная революция в России. На улицах торжествует тройственный союз черносотенной губернской администрации, ее полиции и мобилизованных ими жуликов и хулиганов, заливают кровью улицы и площади, избивая жителей целых домов и кварталов, поджигая, истязая, разоряя и воруя. Но при всех своих ужасных и бесстыдных удачах, этот тройственный союз деспотизма, воровства и жестокости оказывается бессильным перед мирной народной революцией. Его постыдные успехи приводят в трепет и негодование весь культурный мир, но ни на йоту не умаляют торжества народной революции, которая, завоевывая отечеству свободу и правопорядок, вместе с тем завоевала русскому народу уважение и восторженное удивление всех просвященных народов.

В самом деле, в чем заключается разница между преобразованиями государственного строя путем реформ или путем революции? Не в том ли, что в революции участвует насилие, а при реформах дело обходится мирно? Конечно, нет, потому что в 1861 году

¹ Южаков Сергей Николаевич (1849-1910) — публицист-народник. Из военной семьи. Учился в Новороссийском университете. В 1870-е годы сблизился с местными революционно-народническими кружками, в 1878 году выслан в Сибирь. С 1893 года вел иностранное обозрение в "Русском богатстве". В 1898-1906 годах под редакцией Южакова выходила "Большая энциклопедия" т-ва "Просвещение" (22 тома).

² "Русское богатство", 1905, № 10.

волнения были повсеместны и не мало пролито было крови, а между тем освобождение крестьян было несомненно реформой, а не революцией. Припомним и Петровскую реформу, исполненную насилия и залитую кровью. Говорят, что реформы делаются сверху, а революции снизу. И это несправедливо, однако; потому что во всех демократических государствах реформы проводятся через всенародное сознание, делаются снизу. Не в этих внешних признаках заключается существенное различие между реформой и революцией. Есть, однако, между ними резкая разграничительная черта внутреннего характера: реформа совершается на основании законов отменяемого строя, революция — с этими отжившими законами не считается, на них не обращает внимания, действует не законосообразно, а только целесообразно. Когда назревает историческая необходимость крупного преобразования самих основ государственного строя и это своевременно осознано правящими сферами, отживающие законы еще могут найти столько признания и силы, чтобы на точном их основании провести их отмену и замену. Но когда правящие классы пропускают этот исторический момент, тогда отживающие законы становятся, наконец, отжившими, теряют всякий авторитет в глазах народа; новый строй складывается сам собой из действий и соглашений корпораций и народных групп; правительству остается санкционировать новый строй (если оно не рискнет потопить его в крови своего народа). Именно этот исторический процесс совершился и совершается в России. Права собраний, союзов, конгрессов стали совершившимся фактом без санкции закона, тоже со свободой слова, тоже с академической автономией, с объединением земств, с политической компетенцией земств и муниципалитетов, тоже (в огромном масштабе) со свободой стачек и забастовок. Это глубокое преобразование всех общественных отправлений правительство уже обещало санкционировать, кое-что успело санкционировать, многое признало без санкции, со многими не узаконенными учреждениями вступало в переговоры и соглашения. Народ русский не поднимал оружия и не прибегал к насилию, но он совершил (хотя и не завершил еще) одну из самых больших революций, какая знает всемирная история, и потому-то

это дело русского народа вызывает сочувственное удивление всего культурного мира, который с радостью приветствует нового собрата в своей среде.

Три года, два с половиной и два года тому назад собирались в столице профессиональные съезды (врачей, деятелей профессионального образования и др.). Два из них (названные выше в скобках) постановили выразить полное недоверие правительству, не тратить напрасно времени и трудов на сношение с ним и вырабатывать резолюции для уяснения вопросов общественному мнению. Съезды были сорваны, по распоряжению министра внутренних дел В.К. Плеве. Эти резолюции были первыми проявлениями не тайной и подпольной, но явной мирной революции. Общество отказывало правительству в доверии, а его мероприятиям — в признании: правительство не вняло этому первому предостережению, оно питало упование и несокрушимую надежду на власть нагайки, поддержанною в случае надобности картечью и пулеметами. Задыхаясь в политической атмосфере с такими условиями, русская нация задыхалась и в экономической сфере, окостеневшей под давлением политического строя. Конвульсия народных волнений на экономической почве стали неизбежны. Стачки и забастовки волновали города, аграрное движение охватило многие губернии. На все эти продромы надвигающейся грозы правительство нашлось ответить только новыми репрессиями. Это второе предостережение истории тоже было оставлено без внимания. Репрессия, казалась, панацеей от всех бед и опасностей. Не понадеясь на армию военного министерства, министерство внутренних дел задумало создать свою собственную армию. Слухи об этом чудовищном проекте В.К. Плеве проникали даже в печать... Это своего рода утопия, в роде угрюм-бурчеевской. Она не осуществилась, это мечта о сотнях тысяч организованной и вооруженной черносотенной армии!

Так жила и страдала Россия первые три года XX века. Правительство было минировано, его не любили и не уважали, с ним боролись, но режим не отступал перед движением и смело попирали даже собственные свои законы, как бы издеваясь над общественным мнением и национальными стремлениями. Такова была внутренняя политика, такова была и внешняя. Она

так же была произвольна, так же не считалась с собственными своими заявлениями и обязательствами и кончилась так же войной с Японией, как внутренняя привела к разрыву с нацией. Испорченному, растленному режиму пришлось скоро круто. Фаворитство, хищничество и тирания — плохие союзники в минуту тяжелых испытаний. Старый самодержавный бюрократический режим не выдержал строгого экзамена на полях Манчжурии, на водных равнинах Великого Океана... Нация, страдавшая от деспотизма, питала уверенность в свою внешнюю безопасность, по крайней мере. Оказалось, что она и в этом ошибалась, режим отнял у нее и эту элементарнейшую гарантию, хотя бы только территориальной неприкосновенности, мира и безопасности. Когда это стало ясно широким слоям населения, нация сплотилась для борьбы с режимом, для его замены.

Мы не будем здесь излагать историю последнего года (с ноября 1904 года по октябрь 1905 включительно). Это был год фактического завоевания свободы стачек, собраний, союзов и слова и фактического установления целой сети организаций по профессиям и по партиям, связанных и объединенных как бы новой государственной организацией параллельно с правительственной. Попытаться уничтожить эту революционную организацию правительство не рискнуло. Оно решилось объединить ее с собою при помощи народного правительства. Такой, но совершенно неудовлетворительной попыткой было положение о Государственной Думе 6 августа 1905 года. Часть общества, большинство земских, муниципальных и академических либералов готовы были принять этот дар законосовещательного собрания, собранного при высоком цензе и при условиях самого широкого административного давления, без всяких гарантий необходимых вольностей. Значительная часть общества энергично опротестовала эту готовность либералов объединиться с правительством даже без перемены его личного состава. Это выделение либералов нарушало уже создавшуюся организацию союзов и сильно тормозило дальнейшую борьбу за освобождение. Земская Россия отпадала от России народной, но эта последняя оказалась гораздо сильнее, чем земцы думали.

Видя, как отлично устраиваются бюрократы, отделавшись обещаниями и полумерами, народная Россия поставила свои условия: гарантии народных вольностей, всеобщее избирательное право, учредительное собрание, вместо законосовещательного. Если условия не будут выполнены, то решена забастовка всего рабочего класса всей России. И эта угроза, впервые во всемирной истории, была блестяще выполнена. К забастовке рабочих присоединилась забастовка сначала независимых профессий (адвокатов, инженеров, врачей и т.д.), а затем и служащих в частных и казенных учреждениях. Забастовали банки с Государственным банком во главе. Забастовали мировые судьи, окружной суд, судебная палата, чиновники разных министерств и ведомств. Государственная машина остановилась, экономическая жизнь замерла. Долго выдерживать это положение не в состоянии никакое государство. Режим уступил. Был объявлен манифест от 17 октября 1905 г., где по всем трем пунктам давалось некоторое удовлетворение: обещаны все обыкновенные вольности, приказано расширить избирательное право и дарована Думе, вместо законосовещательного голоса — законодательная власть. Это была огромная победа, достигнутая совершенно новым способом борьбы. К нему может толкнуть только отчаяние, но именно в отчаяние приводил нацию этот уже падающий, но все еще не павший режим. И после 17 октября он продолжал и продолжает бороться за старые порядки, исполненные произвола, беззакония и хищничества. Однако новые веяния понемногу одолевает; ушли Победоносцев и Трепов; устранены некоторые губернаторы; двое из них под следствием; назначаются сенаторские ревизии; ослабели подвиги черной сотни; образовано новое министерство "деловое", во всяком случае менее залитое неповинною кровью, чем предыдущее... Все это успехи, прямо вынуждаемые твердыми позициями, занятыми народом. Однако пока материальная власть не перейдет в руки новых людей из общества и народа, не соберется действительное народное представительство, не образуется ответственное министерство, не переименована местная администрация и не передана полиция в руки городских и сельских обществ, до тех пор нельзя сказать, что народная революция в России востор-

жествовала. Но можно и должно говорить, что она торжествует.

Это преобразование России из полицейского государства в правовое демократическое составляет огромное событие не для одного русского народа, а для всего человечества. Не говорю о том, что приобщение 130 миллионов человек к культурным и правовым условиям жизни преобразуют само собою течение всемирной истории. Не говорю и о чувстве братства, вызываемого этим событием в многочисленных слоях населения всего цивилизованного мира. Укажу только на два несомненных непосредственных последствия русской революции. Прежде всего, установление доверия к заявлениям русской дипломатии, чего до сих пор не было. Это расчистит атмосферу международных недоразумений и больше всяких конференций в Гааге будет действовать упрочению всемирного мира. До сих пор именно Россия была главным предметом всеобщих опасений и тревог. С другой стороны, подъем экономического благосостояния 130 миллионов даст огромный импульс экономическому движению далеко за пределами России...



П. ГОЛУБЕВ¹

Продовольственные опыты бюрократіи²

Опять надвигается на нас бедствие неурожая с неизбежной голодовкой, эпидемиями и громадной смертностью. Весь юго-восток и черноземный центр охвачены неурожаем хлебов и трав, который сравнивают в иных местах с памятным 1891 годом. Но очевидно, что предстоящее бедствие для разоренного войной населения будет еще тяжелее. И не одна война этому причиной. С 1901 г. заведывание продовольственными делами находится в руках бюрократии, даже и в земских губерниях, а известно, насколько отзывчива бюрократия к народному горю и насколько способна удовлетворять нужды населения. Стремясь всегда лишь к тому, чтобы пред начальством "все обстояло благополучно", бюрократия всякое дело обращала в одну бумажную переписку; не было исключения в этом отношении и для живого продовольственного дела.

Опыт продовольственной кампании 1901 г. показал, что земские начальники, не будучи подготовлены к столь серьезному делу, всю тяжесть труда по нему возложили на волостные правления. Но последние, находясь в полной зависимости от земских начальников, должны были считаться не с действительной нуждой населения в продовольствии, а с личными взглядами своих начальников. Прикажет он составить приговор о выдаче ссуд — и волостное начальство составляет, но раз нет такого распоряжения и приговоров не будет,

¹ П. Голубев — есть основания полагать, что это псевдоним члена редакции "Русского богатства" Мокиевского Павла Васильевича (1856--1928).

² "Русское богатство", 1905, № 8.

хотя бы нужда в продовольствии была громадна. Да и самое составление приговора не легко, когда приходится руководствоваться личными соображениями начальства, а не действительностью нужды: то оказывалось, что в приговорах записано слишком много лиц, то слишком мало. Личное усмотрение земских начальников привело к тому, что во многих уездах Вятской губернии уже в первый же опыт бюрократического хозяйства появились в огромном числе цынготные больные, чего не бывало здесь за все время земского распоряжения продовольственным делом. В одном Глазовском уезде число цынготных достигло громадной цифры — 20 тыс. чел., но тем не менее местное начальство спокойно взирало на постигшую народ беду.

Еще характернее для бюрократии в том же 1901 году прошла продовольственная кампания в Пермской губ., соседней с Вятской. Здесь губернская администрация положительно проспала неурожай этого лета, хотя даже по данным центрального статистического комитета степень его далеко превосходила все неурожаи последнего перед тем десятилетия и только немногим уступала неурожаю памятного 1891 г.; во всех местных газетах ("Пермск. Край", "Урал.Ж.", "Урал") о неурожаяе начали трубить еще с июня месяца; мало того, в собственном органе бюрократии, в "Губернских Ведом.", своевременно печатались текущие сведения земской статистики о состоянии урожая, из которых ясно было видно, что надвигается неурожай. Не читала этих сведений только администрация, которой с этого года надлежало ведать продовольственное дело, и продолжала стереотипно рапортовать: "все обстоит благополучно". Такие рапорты шли и без запроса, и по запросу министерства внутренних дел, которое, получая тревожные сведения из соседних губерний, готовилось к продовольственной кампании, испрашивало кредиты и делало министерству финансов заказы на покупки продовольственных и семенных хлебов. Но вот в сентябре начинают поступать ходатайства земских управ о созыве уездных собраний по случаю неурожая, а затем и постановления этих последних о чрезвычайных кредитах на общественные работы. Губернское присутствие очутилось в критическом положении, и неизвестно, как бы оно вышло из него, если бы возвративший-

ся 5 октября из двухмесячного отпуска губернатор Арсеньев не взял всю ответственность не себя, поставив на этот раз интересы населения выше своего личного самолюбия. Пришлось обратиться к земским данным и на первых же заседаниях (9 и 13 октября) губернское присутствие констатировало продовольственную и сменную нужду населения, помимо местных продовольственных средств, в 3,734 тыс. пуд.; на заготовку этого хлеба и на доставку его требовался кредит более чем в 4 млн руб. Об этом в конце октября и была послана первая телеграмма в земский отдел министерства внутренних дел.

Чтобы всколыхнуть бюрократическое болото, достаточно и не столь сильного начальнического удара; а теперь оно буквально всполошилось. Начинается усиленная деятельность... бумажная, по собиранию сведений из уездов и по отписке высшему начальству. И так как к делу народного продовольствия в губернском присутствии призваны два ведомства — внутренних дел и финансов, — то при отписках и оправданиях начинаются по обыкновению закулисные подсиживания, подставления ножек и стремление одного утопить другого. Еще до получения выговора от своего начальства, но после приведенной выше телеграммы, полученной губернатором, управляющий казенной палатой спешит телеграммой же оправдаться: "не моя вина, что губернатор и неперемный член по продовольственной части послали министерству внутренних дел выписки из журнала присутствия без приложений. Губернатор вернулся 5 октября, вице-губернатор умер, нового нет, неперемный член продовольственной части ездил по железной дороге в Камышлов, оттуда в Шадринск, где пробыл только 2 дня. Сведения уездных съездов в большинстве неполны, руководствоваться пришлось данными земства. Податные инспектора собирают сведения действительных урожаев 1 ноября, согласно распоряжению министерства и по климатическим условиям губернии определить таковой ранее можно только гадательно(?)... Очень прошу иметь в виду, что в губернском присутствии я только член без права протеста, мой голос против большинства решающего значения не имеет"... Одновременно с этим отдаются "строжайшие предложения" податным инспекторам сверить до-

ставляемые ими министерству 1 ноября срочные сведения о сборе хлебов в данными земских управ и уездных съездов. Иными инспекторами делаются запросы: "почему не присутствовали на чрезвычайных административных заседаниях уездного съезда, где рассматривались вопросы о народном продовольствии"?.

Не менее строгие запросы посыпались и со стороны губернского присутствия подчиненным ему уездным съездам и земским начальникам. Словом, дремавшая до того бюрократическая машина заскрипела, понеслись предписания и рапорты, эстафеты и телеграммы. Но все это подтянулось, заскрипело и стало работать не из сознания ответственности перед пострадавшим населением, о котором бюрократия забыла, а из-за одного страха перед начальством. Даже бегло просматривая эти предписания и рапорты, видишь, как в действительности авторы их далеки от того дела, которое иронией судьбы выпало на их обязанность. Вот, например, шадринское податные инспектора г.г. Б. и Э. в январе пишут, на предложение г. Раевского, что у них теряется всякий интерес присутствовать на продовольственных совещаниях в уездном съезде, которые теперь происходят 3 раза в каждую неделю "потому что председатель перерешает по своему даже единогласные решения заседаний". Инспектор К. жалуется на съезде за то, что он возложил на них, податных инспекторов (в Шадринском у. их трое), обязанность составления инструкции о порядке приобретения хлеба за счет продовольственных капиталов; но всего более его огорчает, по-видимому, что "наши должности в перечислении участвующих членов в журнал заседания пишутся ниже исправника, и даже ниже его помощника (подите же!), а иногда (о ужас!) и ниже члена управы" (!). Будучи столь важными особами, они, конечно, отказались от составления упомянутой выше инструкции, но отказавшись, они все-таки побаиваются, чтобы из-за этого не вышло чего серьезного, а потому г. Э. уже заранее просит управляющего казенной палатой заступиться за них и защитить. Если к этому добавить "наистрожайшие предписания" земских начальников волостным правлениям с угрозой штрафа и наказания старшине и писарю и "почтительнейшие рапорты" последних, то этим будет исчерпана вся рас-

порядительная часть продовольственной кампании. Самое же снабжение населения продовольственным и семенным хлебом происходило не спеша и настолько не спеша, что нередко сотни подвод нескольких деревень бесполезно простаивали у какой-нибудь станции или пристани назначения по 2—3 дня и возвращались ни с чем.

Итак, бюрократические опыты по одной Пермской губернии в 1898--1899 гг. стоили одному мужику около четверти миллиона руб., а в 1901--1902 гг., пожалуй, и весь миллион руб. И, тем не менее, эти опыты бюрократия продолжает и теперь, да, по-видимому, твердо решила продолжать их и в будущем, несмотря на единогласные заявления земств, городов, многочисленных коллегий и общественных групп о необходимости прекратить такое хозяйничанье — отзывающееся растратой и государственной казны, и народного богатства. Какие перспективы это открывает в виду надвигающегося ныне чрезвычайного неурожая в центральных черноземных и юго-восточных губерниях — покаять не трудно.



С. ПРОТОПОПОВЪ¹

Еще о взяткахъ²

”Эпоха великих реформ” сопровождалась порывом к искоренению взяток, под которыми стонала ”досева-стопольская” Россия, Россия произвола и беззакония. В итоге взятки почти совсем исчезли в судебном ведомстве и в земстве, но в полиции, в духовных консисториях, в интендантстве и в остальных областях нашей жизни положение осталось старое. И это вовсе не удивительно: взятка — неизбежный спутник беззакония и произвола. В судебном ведомстве и в земстве водворились гласность, общественный контроль и законность, и там в сильной степени исчезла рабья необходимость умиловительных приношений. В других областях произвол остался в прежнем виде и здесь мздоимство и вымогательство не спустили своего флага.

За эпохою великих реформ пришла ”эпоха великой реакции”, с ущербом для законности, с новым торжеством произвола и с большим оживлением взяточничества. Реакция ликовала, слагала песни во славу ”сильной власти” и пирировала, пока не грянули бедствие и позор японской войны — ”второго Севастополя”. Теперь очередь опять за эпохою реформ. Таким образом, — история наша разворачивается по какому-то правильному, волнообразному закону: идут преступления, за ними наказания, за наказаниями покаяние. А там опять: мерзость реакции, историческая кара и движение к исправлению.

¹ Протопопов Сергей Дмитриевич (1861--1933) — публицист-народник. Его острые критические статьи, как свидетельствуют разные источники, особенно внимательно просматривались цензурой. Его жизнь является своего рода загадкой. О ней мало что известно.

² ”Русское богатство”, 1905, № 9.

Эти ненастья и ведра отражаются на усилении и ослаблении взяток, как температура отражается на градуснике. Все чувствовали, что за последние годы праздник справлялся на улице щедринской "торжествующей свиньи", что правда находились в загоне, и что взятки стали переходить в денной грабеж. Но на столбцах угнетенной печати действительность не отражалась. И это очень понятно: когда обыватель вынужден давать взятки, он в то же время всегда лишен возможности и жаловаться. На всякую попытку произвол энергично отвечает словами Сквозника-Дмухановского.

— Что... жаловаться?!. Что много взяли?.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что... Теперь я вас!..

В № 10549 "Нов. Вр." нижегородский корреспондент рассказывает целую историю о "взяточничестве на Волге". Героями являются лица, которые отчисляют "един кубик себе, един Кесарю". Корреспондент говорит: "Утверждать, что на Волге в среде чинов министерства путей сообщения не берут взятку, может только человек, совершенно не знающий Волги... При бывшем начальнике казанского округа В.М. Лохтине взяточничество на Волге процветало". Лохтина сменил В.А. Макаров, но оказывается, что "нельзя вино новое вливать в меха старые". Далее осведомленный корреспондент набрасывает широкую картину волжского секрета полишинеля. Во-первых, взятки берутся при аренде частных пароходов для нужд казны. Здесь, кроме монетной mzды, наблюдается и натуральная повинность: "на этих пароходчиках лежала обязанность присутствовать и на петербургских съездах гидротехников в качестве представителей волжской судоходной промышленности". Фразы редактированы в прошедшем времени, но нет категорического указания, что "новое вино" в "старых мехах" не приобрело свойств вина старого. А может быть и страшновато обличать время настоящее: ведь мудрено по таким делам вооружаться "документами" против статьи о диффамации... Однако, как мы сейчас узнаем из компетентного свидетельства самого г-на Лохтина, осторожность корреспондента является излишней.

"Что касается до взяточничества на Волге или, говоря точнее, до взяточничества вообще, так как оно в

нашем отечестве встречается повсюду, то в этом отношении мое положение было совершенно таково же, как и положение нынешнего начальника округа инженера Макарова. *Что было раньше, то есть и сейчас*, и настоящая история на Волге только еще раз доказывает, что дело здесь вовсе не в старых и новых мехах, а в глубоких корнях, без оздоровления которых одними переменами в личном составе все равно достигнуть ничего не удастся”.

”Глубокие корни”, конечно, не что иное, как произвол и бесправное положение обывателей, которые ”боятся” не давать взяток и жаловаться. Таковы ”исконно русские начала” по течению матери наших рек...

Переходим к другим областям. В ”Сыне Отечества” мы находим заметку: ”Опять злоупотребление в морском ведомстве”. ”Опять” здесь явилось потому, что до этого не мало места было уделено слухам о десятипроцентных ”благодарностях” при заказах кораблей и разных других предметов. В цитируемой заметке нет ничего грандиозного: дело самое обыкновенное. В столярной Галерного острова из казенного материала готовится мебель для частных лиц. Это обнаружили неблагонамеренные рабочие, и благонамеренное начальство уволило одного мастера, снабдив его, однако, аттестатом о беспорочной службе... Почему так? — газета не разъясняет. Может быть, стало жалко столярного ”стрелочника”, искупившего грехи галерно-островские?..

Из столярной мастерской, где за счет казны делали частную мебель — не без ”благодарности”, конечно, по отношению к ”дремонному оку” надзора, — перейдем по соседству в С.-Петербургский порт. Здесь, по сведению ”Руси”, ”ни для кого из чинов администрации не секрет, что в распределении расценок у нас царит произвол, взяточничество и лицепрятание”.

Всем известно, что при г. Лелянове, ставленнике Плеве, петербургская городская управа обюрократилась до сильной степени, и привело это, наконец, к скандальному провалу моста. Но, конечно, не только мосты были подточены бюрократическим духом. По словам ”Руси”, недавно обнаружилось, между прочим, что сукно, купленное на 2 000 р. для пожарных, нику-

да не годно. "Сшитые из этого сукна мундиры немедленно расползаются по швам". Газета на делает прямых указаний на взятки, и мы ограничимся лишь сентенцией, что подобные "ошибки" все-таки не бывают при добросовестном отношении к делу.

Из "Нового Времени": "Биржевые комитеты и торговые фирмы возбудили перед министерством путей сообщения ходатайство о более строгом надзоре за действиями станционных железнодорожных агентов". Одним товароотправителям дают вагоны, другим не дают. Происходит это от "неправильностей и даже злоупотреблений". Не трудно понять, о каких "злоупотреблениях" здесь идет речь: для "умных" вагоны находятся. Во время японской войны не мало писалось, что при "расходе" рублей в 400--600 на вагон, этот вагон летел прямолинейно на Дальний Восток с товарами для тыла армии, а "не смазанные" вагоны по месяцам ждали своей очереди. Скотопромышленники рассказывают целые повести о том, что надо делать, чтобы вагоны со скотом прицеплялись, а не отцеплялись.

Просматривая свои вырезки, я замечаю, что очень, сравнительно, малое их число касается нашей полиции. Газеты, по большей части, придерживаются в этой области правила — *aut bene, aut nihil*, но это вовсе не значит, что наша полиция мертва. И так, удовольствуемся тем, что есть.

После полицмейстера Шафрова, брантмейстера Осипова и тому подобных героев трудно найти что-нибудь удивительное, и факты, мною собранные, вероятно, покажутся мелкими. Но надо помнить, что мелкие факты, имеющие общий характер, еще более типичны и значительны, чем исключительные, хотя и крупные.

"Известно, — говорит "Новое Время", — что в десятские и сотские уважающие себя крестьяне не идут потому, что эти "сельские власти" не только находятся на побегушках у исправников, станowych и урядников, но выполняют у перечисленных чинов роль домашней прислуги, на манер денщиков". Далее описывается, как некоторые становые взимают с крестьян мзду, и за это ослабляют "натуральную повинность". В Гдовском уезде, например, крестьяне шести волостей платят становому по 3--4 коп. "лакейского сбора". Если не берутся освободительные взятки, то вытребываются

сотские и десятские. По словам "Света", положение у этих несчастных при квартире станового прямо ужасное: "их всегда дежурят несколько человек, пять или шесть... особого помещения им нет, и они должны ютиться под навесом на дворе... Зимой их положение особенно тяжело". Но понятно, чем больше становой мучает сотских и десятских, тем скорее успеет вымогательство "лакейского сбора".

В "Казанском Телеграфе" эта кабала освещена очень подробно. "Становые по всему северо-востоку России упрочили правило — даром пользоваться десятскими, как домовою прислугой". Их заставляют чистить лошадей, конюшню и двор, пилить дрова, возить на себе воду для сада, кормить кур и свиней, таскать на реку белье, а часто и полоскать его. Становые не кормят своих "крепостных": они получают от сельских обществ по 15 коп. в день. Таким образом, мы видим, что во всей России от Финляндии до Урала полиция либо сдирает "лакейский сбор", либо эксплуатирует постоянно до шести мужиков, с которыми обращается, как с хлеwnым скотом. И это решительно всем известно. Но почему крестьяне не жалуются? Почему они платят эти взятки деньгами и натурой? А потому, что "доводить до сведения" общеизвестные вещи глупо, и самовольное "уклонение" называется "сопротивлением властям". В № 10423 "Нов. Вр." напечатано, что в уральском Александровском заводе при квартире станового всегда дежурят трое десятских, которые "чистят самовары, носят воду, водятся с ребятами, ходят за коровой, убирают навоз и снег" и т.д. И все это даром. "К сожалению, — говорит газета, — что описывается на Урале, происходит и в Сибири, и на Волге, одним словом, *езде в России*". Сплошное взяточничество...

Остроумно говорит о взяточничестве "Виленский Вестник". "Покупка начальства — историческая черта русского, смиренного человека... Принято думать, что эту черту воспитали в нас татары. Ах, эти татары!.. Это тоже, что теперь "жиды". Чуть что не хорошо у нас, все на татар взваливаем".

Невольно заставляет улыбнуться "Le Matin". В одном из последних номеров этой газеты рассказывается, что бакинские нефтепромышленники были до сих пор вынуждены откупаться взятками не только от обыкно-

венных русских мздоимцев, но и от местных разбойников. К этому газета прибавляет: "Les inconvenients de cette singulière assurance" — неудобства этой странной страховки. Действительно "неудобно", если кроме обыкновенных взяточников приходится давать "приемлемые" и вольным разбойникам.

А еще "Новое Время" говорит, что "Le Matin" недоброжелательно относится к России... Чего уж мягче: даже то, что имеет место в Баку, снисходительная газета называет только неудобством"... Впрочем, нельзя сильно винить "Le Matin". Много веков с высоты своих кресел смотрит наш официальный мир на нашу действительность и находит ее даже очень удобной.



А. ПЕШЕХОНОВЪ¹

Бакинская трагедия и борьба с крамолой²

”Бессвязные толпы” появились на улице... Произошло это сразу во многих местах и страх перед этой темной силой обвеял всю Россию. Бакинская трагедия с ее кровавыми отголосками в других местах Кавказского края, по своим леденящим сердце ужасам, представляет в данном случае нечто исключительное. Но она бросила свой отблеск и на те ”избиения младенцев”, которые одновременно или вслед за тем произошли в Курске, Пскове и других не только градах, но и весях России. На общественную психику было произведено сильное давление, с последствиями которого, независимо даже от возможности повторения возмущающих душу событий, несомненно, придется еще считаться. Необходимо поэтому теперь же уяснить себе и истинные размеры, и сокровенные пружины этой опасности.

При первых известиях о бакинских зверствах могло казаться, что все дело в племенной и религиозной вражде между двумя народностями. По крайней мере, в этом смысле в начале объясняли происшедшие события наши, — как известно, почти официальные — телеграфные агентства и первые официальные сообщения, появившиеся на этот счет в газетах. Такое объяснение встретило, однако резкий и единодушный протест со стороны местного бакинского общества. Уже 16 февраля ”Российское Агентство” вынуждено было напечатать протестующую против его сообщений теле-

¹ Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933) — член редакции ”Русского богатства” с 1904 года. В мае—августе 1917 года — министр продовольствия Временного правительства. В 1922 году выслан из СССР.

² ”Русское богатство”, 1905, № 3.

грамму двух местных газет, которые указывали на отсутствие национальной вражды и настаивали на том, что избиения были "организованы шайкой подонков". Телеграмма эта, хотя и отправленная не из самого Баку, а из Черного города, была, очевидно, все-таки где-то задержана и появилась с опозданием. Телеграфные сношения по этому вопросу вообще давались с затруднениями. Вскоре сделалось также известным, что для местной печати по отношению к огласке фактов, касающихся погрома, установлена тройная цензура: общая, губернаторская и военная. К услугам столичной печати оставалась только почта, которая и не замедлила, действительно, доставить целый ряд крайне важных известий и документов. Я сделаю из последних лишь несколько выдержек, необходимых в целях дальнейшего изложения.

Съезд нефтепромышленников в телеграмме от 13 февраля на имя министра земледелия указывает, что "массовые убийства беззащитных жителей на улицах и в домах города, сопровождавшиеся грабежами и поджогами", были "допущены администрацией" и что "войска и полиция относились к убийцам, грабителям и поджигателям совершенно безучастно". Не менее решительно высказываются на этот счет управляющие и инженеры Биби-эйбатских промыслов и заводов в письме, напечатанном в "Руси" 22 февраля.

"Четырехдневное побоище на бакинских улицах, возникшее по случайному поводу, разрослось — говорят они — до размеров ужасающей катастрофы, несомненно, благодаря внешнему влиянию. Ответственность за массовые убийства не только взрослого мужского населения, но и женщин и детей обеих наций падает исключительно на бездействие властей, которые не приняли решительно никаких мер к тому, чтобы прекратить побоище... Непонятное бездействие властей естественно поддерживало в умах населения все более крепнувшее убеждение, что власти умышленно предоставляют враждующим сторонам вырезывать друг друга".

Бакинская адвокатура, собравшись 14 февраля для совместного обсуждения ужасных событий, единогласно пришла к заключению,

"что кровавая бойня возникла не на почве национальной и религиозной розни между армянами и татарами и не на почве экономического антагонизма, но она явилась единственным последствием явно-го бездействия гражданских и военных властей, на глазах которых в течение четырех дней беспрепятственно совершались убийства, поджоги и сожжения целых семейств".

Наконец, собрание "более 2000 лиц разных национальностей, сословий и общественного положения", ссылаясь на "факты, которые могут быть засвидетельствованы показаниями многих очевидцев и подлинность которых не подлежит сомнению", установило, "что полиция не только не принимала мер к подавлению беспорядков, не только не оказывала препятствия громилам и убийцам, но или бездействовала, или, в лице отдельных своих представителей, подстрекала и поощряла их и даже сама принимала участие в грабежах и убийствах". Что касается причины разыгравшейся трагедии, то

"собранием было констатировано, что местная администрация натравляла местное мусульманское население на армян, называя последних врагами царя, приписывая им желание отделиться от России, иметь "своего царя" и вырезать мусульман. Эта пропаганда травли имела место задолго до резни, но особенно усилилась в последнее перед нею время, что, по всем признакам, находится в связи со слухами о возможном отклике бакинского населения на кровавые события, бывшие в Петербурге 9 января".

Сказавшееся в этих постановлениях общественное возмущение против местной администрации было настолько сильно и единодушно, что произвело впечатление и в правящих сферах. По высочайшему повелению уже назначена сенаторская ревизия, которой и предстоит, между прочим, разобраться, какую роль в бакинских кровавых событиях сыграла национальная вражда и не послужила ли она лишь средством для достижения каких-либо иных целей.

В настоящее же время необходимо отметить, что как только столичная печать начала оглашать факты, относящиеся к бакинскому погрому, агентские сообщения о нем изменили свой характер. Ссылки на национальную рознь отошли в них на задний план и в объяснения происшедших событий стали выдвигаться несколько иные причины.

"По сведениям "Кавказа", — читаем мы в телеграмме Петербургского агентства из Тифлиса от 23 февраля, — на совещании бакинского генерал-губернатора с участием представителей заинтересованных ведомств и населения констатировано, что недавнее столкновение армян и мусульман вызвано преступною деятельностью армянского революционного комитета... После объявления Баку на военном положении арестовано несколько важных преступников, в том числе член международного революционного комитета и две женщины, у которых найдена кипа прокламаций... Массы русских рабочих бегут с

бакинских промыслов, едва ли не под влиянием армянских террористов, которые хотят заменить русских армянами беженцами из Турции”.

Выходило так, что как будто армяне устроили бойню, чтобы терроризировать русских рабочих. Но с таким объяснением слишком уж дисгармонизировали официальные данные, согласно которым в числе убитых оказалось: армян (не считая сожженных, число которых не выяснено) — 77%, мусульман — 12%, русских 3%, других и невыясненных национальностей — 8%. Из последовавшего затем опровержения выяснилось, что отчет газеты “Кавказ” о генерал-губернаторском совещании “не соответствует тому, что в действительности на нем высказано, восстановить же эту действительность не позволяют местные цензурные условия”. Но и этот несоответствовавший действительности отчет был еще искажен в передаче Агентства. Что касается ссылки последнего на “беженцев”, в интересах которых будто бы была устроена резня, то их оказалось в Баку не более 2—3 десятков.

Заемствованное из неизвестного источника, это объяснение — читаем мы в том же опровержении — “может вызвать у всякого живущего в Баку, к какой бы национальности он ни принадлежал, лишь крайнее изумление пред тем неуважением, которое корреспондент Агентства питает к истине и печатному слову”.

Несмотря, однако, на это, спустя несколько дней “Новое Время”, в телеграмме уже собственного корреспондента из Баку, дало то же освещение происшедшим событиям:

“Прискорбные события с 6 по 9 февраля, — читаем мы в этой газете, — несомненно вызваны убийствами, начавшимися благодаря подстрекательству агентов армянского революционного комитета. Взятые под стражу 39 анархистов, среди них Вольский, прибывший из Женевы, Прокофьева, невеста Сезонова, убийцы В.К. Плева, и другие; в статистическом бюро бакинской городской управы задержана библиотека местного революционного комитета и десять человек, прибывших на сходку. В дни погрома революционной комитет заседал в зале общественного собрания”.

Разобраться в этом сообщении, в котором перемешаны армянские и русские революционеры и международные анархисты, конечно, невозможно. Из сопоставленных нами показаний той и другой стороны выясняется, однако, тот несомненный факт, что, если не

сама "крамола", то борьба с нею сыграла видную роль в бакинской трагедии. Внимание местной администрации настолько сильно было фиксировано на этом предмете, что даже после учреждения генерал-губернаторства главные усилия оказались направленными на розыск русских и армянских революционеров...

Обстоятельство это представляется в данном случае тем более характерным, что "избиения" или угрозы ими в других местах носили явный характер борьбы с "крамолою". Этим, конечно, объясняется и та роль, какую играла в этих избиениях полиция или, по крайней мере, какую приписывало и приписывает ей общественное мнение. Избиения получили "патриотическую" окраску, и полиция оказалась в двусмысленном положении. Защищать избиваемых — не значит ли это помогать "крамоле"? Вызвать "патриотическое" воодушевление — не значит ли это, наоборот, проявить усердное и похвальное рвение в борьбе с "внутренним врагом"? В результате — повсеместное почти, по крайней мере на первых порах, "бездействие власти", а во многих местах и несомненное сотрудничество низших чинов полиции с "толкучкой", "мясниками", "краснорядцами" и "подонками". Кое-где дело доходило даже до переряживания пожарных и городских в "народ", до найма на такой случай поденщиков. "Обещали по рублю, а дали только по 40 коп.", — жаловались в Пскове. На низших же ступенях администрации — и маскарада не было. В селах открыто формировались "дружины для борьбы с крамолою".

Ничего удивительного и неожиданного во всем этом, конечно, нет. Кулачная расправа, как известно, до сих пор представляет *ultima ratio* нашего полицейского участка, к ней прибегают для того, чтобы водворить тишину на улице, ею же пользуются и для того, что добиться "сознания" в застенке. Кулаком вытрезвляют пьяных, кулаком же "учат" непокорных и "отбивают охоту" у строптивых. Воспитать в себе уважение к человеческой личности и подняться до сознания, что ее дело охранять обывателя, а не ломать ему ребра — нашей полиции было негде. Такой полицейской "школы" Россия еще не видела. Втянутая в политическую борьбу в качестве одной из действующих сторон, полиция и в этой деликатной сфере пользуется тем же

единственно доступным ей средством. Между жандармской и наружной полицией наблюдается в этом случае, как известно, громадная разница. Первая — это воплощенная, можно сказать, предупредительность и деликатность, вторая — знает только стремительность и натиск. До сих пор со свойствами полицейского участка были знакомы лишь те обыватели, которые имели касательство к нему по пьяному или воровскому делу. Недоимщики и раскольники также хорошо знали станковую квартиру. Что касается чистой публики, то полиция ее только поздравляла с праздниками. Политическая жизнь страны протекала в колбах и ретортах, для наблюдения за которыми имелись специальные, в высшей степени деликатные надзиратели, нередко избегавшие даже носить какую-либо форму. В последние годы эта жизнь забила кипучим ключом и вырвалась на улицу. Тут мы воочию увидели, что такое представляют из себя городовые и дворники. Движение росло, в городских и дворниках уже почувствовался недостаток. Под рукой имеются "бессвязные толпы". Охотники поразмять кости всегда найдутся, лишь была бы гарантирована безнаказанность.

Но "бессвязным толпам" нужна указка... В самом деле: что такое крамола? Про "сицилистов", конечно, многие слышали. Но как узнаешь? Читатели, может быть, помнят помещенный у нас в январской книге очерк А.Б. Петрищева: "Брандмейстер Осипов". В нем приводится интересный на этот счет факт. Отставной подполковник Абрамович, не шутя, стал подозревать, что брандмейстер и полицмейстер с окружающими их сыщиками и, в то же время поджигателями — "не что иное, как шайка социалистов".

— Отправляю заказным, — между прочим, писал Абрамович свой незаконной жене Елене Трояновской, — а то перехватят письмо, если они действительно социалисты".

Если отставному подполковнику русской службы так трудно разобраться в этом вопросе, то краснорядцу — и подавно. Впрочем, не только краснорядцу... Газеты недавно сообщили факт, как урядник, призванный в качестве эксперта, принял вышедших на прогулку учеников городского училища за вооруженных крамольников. На усмирение была даже двинута целая рота...

У "искоренения крамолы" имеются, однако, свои теоретики и свои популяризаторы. Они-то могли, казалось бы, и точные признаки установить, и в массах их популяризировать. Но и здесь мы не сразу найдем нужные признаки. На первый раз может показаться, что на этот счет царит полная смута. Взять хотя бы г. Суворина-старшего. Уж на что, казалось бы, в таких вещах опытный человек, но и он, по первому взгляду, рассуждает не лучше отставного подполковника Абрамовича.

"Я имею возможность читать, — похвалялся недавно г. Суворин, — заграничные русские издания, читаю прокламации... Я читаю усердно. Я искренне желаю знать, что думает то поколение, среди которого я живу. Едва ли есть такая книга, изданная за границей по-русски, которую я бы не прочитал или не пересмотрел". Многие читатели, может быть, позавидовали этой столь нужной в наше время осведомленности. В еще большем числе "новременские" почитатели восчувствовали, конечно, безграничное доверие к своему вдохновенному руководителю. "О, он знает"... конечно, говорили они. Да, он знает... Недаром ведь тот же самый г. Суворин "главного воеводу" Лжедмитрия объявил "социал-демократом". Недаром то же самое "Новое Время" заявило, что

"дурацкие прокламации "Бей студентов!" не мужицкие произведения, а все той же социал-демократической революционной партии, которая мешками рассылает по России прокламации, с целью смут во что бы то ни стало, хотя бы путем новой пугачевщины".

Все равно, как в армянском погроме... "Скубенты" сами устроили избиения для того, очевидно, чтобы терроризировать "новременцев". Не думайте, однако, что это подполковницкая наивность. Нет! По части инсинуаций "Новое Время", можно сказать, собаку съело. Оно знает, что его читателей двинуть на гимназистов затруднительно. Их можно, однако, припугнуть самозванцами и пугачевщиной.

Понятие "крамолы" в последнее время все более и более стало, однако, определяться. Не только про себя, но и вслух целый ряд газет, ничуть не смущаясь, возглашает, что крамола, — это русская интеллигенция. "Гражданин" с восторгом передает такой якобы факт:

Крестьяне одного села пришли сходом к священнику и попросили его написать для них адрес к Царю. На вопрос священника, о чем писать адрес, крестьяне пояснили, что они желают сказать Царю, что, услышав, что господа, по названию *теллигенты*, хотят ограничить Его власть и забрать ее себе, заявляют Ему, что они Его в обиду не дадут никому и готовы идти на Москву и в Петербург, чтобы сокрушить его врагов.

По словам того же "Гражданина", в другом селе крестьяне "для ассоциации интеллигентов" уже "поставили нечто страшное".

Другого определения для крамолы в наше время, конечно, не отыщешь. Для того, чтобы "искоренить крамолу", нужно уничтожить всю соль земли, всю творческую мысль страны, всех лучших сынов родины. Не только охранители, но и "прогрессивный центр", усиленный в последнее время новой газетой "Слово", перед этим, конечно, не задумались бы. Задача предстоит, однако, трудная и едва ли выполнимая.

Для "бессвязных толп" нужны внешние признаки, хотя бы то были еврейские пейсы или гимназические курточки. Но у той интеллигенции, до которой добираются "Московские Ведомости", нет мундиров и внешними признаками ее не укажешь. Даже мелом те дома, в которых она обитает, не отметишь. Пришлось бы ведь указывать и рабочие казармы, и крестьянские хаты.

В будущем, конечно, возможны еще погромы и избиения. Возможны новые леденящие сердце трагедии, возможны новые, хотя и возмутительные, но ничтожные с государственной точки зрения фарсы. Вызвать движение крестьян против "теллигентов", конечно, не трудно. Но кто же поручится, что в поисках их они пойдут "на Москву и в Петербург", а не направятся в ближайшую усадьбу?

Искоренить интеллигенцию невозможно.



В. ПОДАРСКИЙ¹

Наши газеты и журналы²

Фактически у нас уже существует полусвобода печати, существует, хотя бы в том смысле, что теперь вы можете найти в прессе слова, на которые администрация накладывала раньше строжайшее вето: "конституция", "народное представительство", "неприкосновенность личности и жилища" и т.п. Правда, нельзя сказать, чтобы вы могли беспрепятственно развивать свои мысли по поводу этих понятий. Но уже то обстоятельство, что упомянутые слова начинают входить в обиход периодической печати, имеет крупное историческое значение.

Остановимся на некоторых статьях "Московских Ведомостей", органа, который интересен в том отношении, что выражает мнения крайней правой наших "охранителей" и потому дает нам хорошее понятие о том, чем стала бы Россия, если бы историческому факту угодно было отдать великую страну на поток и разграбление фирме Грингмута и К^о. Передо мною лежит с полторы дюжины номеров "Московских Ведомостей", за первую половину апреля, и в них есть, по крайней мере, десяток статей, характеризующих, как нельзя лучше, мировоззрение этой газеты сыска по преимуществу. Беру наугад один из вопросов, занимающих в настоящее время общественное мнение страны, вопрос о "беспорядках". Действительно, на всем пространстве Империи, среди разных классов, слоев и групп населения, обнаруживается сильное недовольство современным межумочным положением вещей, которое не представляет собой вполне чистой реакции в то же время далеко не удовлетворяет нормальным тре-

¹ В. Подарский — псевдоним одного из сотрудников журнала. Подлинное имя автора пока выяснить нам не удалось.

² "Русское богатство", 1905, № 5.

бованиям общественного развития. Волнуются рабочие, волнуются студенты. Иные подозрительные элементы в трогательном союзе с местными Держимордами пытаются "высаживать днище" у интеллигенции. Адвокаты, инженеры, педагоги, земцы, купцы, промышленники, вплоть до лиц духовного звания, заявляют о том, что так дальше жить нельзя, что нужно вывести страну из состояния страшного недомогания, в котором она находится. А там, в деревнях, как в самой России, так и на окраинах, наголодавшееся крестьянство, вертясь на своем нищенском наделе и изнемогая под бременем налогов, фатально тянется к земле и сталкивается с привилегированным владением. Как видите, повсюду накопилось много горючих материалов. Повсюду нас обступает целая чаща вопросов, настоятельно ищущих разрешения. И мыслящие русские люди, к каким бы направлениям ни принадлежали, задумываются над устранением препятствий, лежащих на пути к установлению нормальной жизни в стране. Лишь одни руководители "Московских Ведомостей" тянут свою старинную песню, ту песню, которую, как им уже давно было сказано, они переняли у волка. Подавление силой общественных стремлений — вот единственная политика, рекомендуемая центральной власти г. Грингмутом и его приспешниками. Эта программа проста до наивности: если перед вами человек корчится от боли и издает стоны, вертясь с боку на бок и не находя себе, как говорится, места, то заткните ему рот и наденьте на него горячую рубашку. Пациент умолкнет и принужден будет лежать смирно. Его болезнь не проявляется ни в чем внешнем и, стало быть, радикально излечена — не так ли? Лишь когда субъект, подвергшийся этому способу лечения, предлагаемому эскулапами из "Московских Ведомостей", успокоится — успокоится, может быть, навсегда, — тогда можно будет, согласно мнению этих ученых господ, спросить больного, точно ли он страдал и не надо ли ему было чего. Уже Маколей определил точку зрения, на которой стоят люди направления "Московских Ведомостей", сказав о реакционных правительствах: "когда народ требует реформ и волнуется, они отказываются выслушать его под тем предлогом, что для проведения новых мер нужно общественное спокойствие;

а когда народ молчит и терпеливо ждет реформ, они опять-таки ничего не делают для него под тем предлогом, что он спокоен и, стало быть, не желает ничего лучшего". В настоящее время "Московские Ведомости" полагают, что реформ ни в каком случае не надо, ибо в стране идут "беспорядки".

В № 94 почтенной газеты передовица как раз трактует о "Мерах против беспорядков". Оказывается, что г. Грингмут получил "целый ряд писем, касающихся этого предмета". Но остался недоволен большинством их, ибо "авторы" их не лучше, мол, понимают практические требования минуты, чем и "наши либералы, начитавшиеся западно-европейских книжек и надоевшие всем своими пошлыми криками о том, что только всевозможные "свободы" способны вернуть России то спокойствие, в котором она так нуждается". Исключение сделано, впрочем, газетой для одного письма. Сделано в виду особых достоинств ее автора. Им является "один из видных представителей русской армии, знающий хорошо не только солдата, но и потребности населения России, и выступающий с предложением, способным действительно привести к желаемой цели".

"Видный представитель русской армии", письмо которого г. Грингмут печатает в том самом номере, что и передовицу, советуем завести по всей России "временно" генерал-губернаторства с обширными полномочиями, простирающимися как на военные, так и на гражданские дела. В плане автора письма предлагается, таким образом, с одной стороны, "децентрализация" власти, ибо генерал-губернаторств предлагается несколько, с другой стороны, усиления ее в пределах каждого деления, ибо лицо, обладающее такими полномочиями, явится настоящим диктатором. Планом военного человека мы не намерены, впрочем, много заниматься, ограничиваясь лишь замечанием, что от "видного представителя русской армии" можно было бы скорее ожидать плана кампании по его специальности, — ну, хотя бы для военных действий на Крайнем Востоке, где наши дела, как известно, идут очень плохо и на суше, и на море, — чем плана гражданской войны, или, точнее выражаясь, плана подхода русского бюрократического строя против русского же народа.

Но не мешает несколько более остановиться на передовице, представляющей схолию или глоссу, — как

любили выражаться древние комментаторы, — к стратегическим соображениям военного человека. Автор передовицы находит, что "видный представитель русской армии" пошел еще недостаточно далеко по пути мер, имеющих в виду сокрушение нации. "Московские Ведомости" полагают, что все отдельные генерал-губернаторства должны быть объединены учреждением еще особой центральной власти, которая носила бы характер настоящей диктатуры. Итак, вот ключ к решению всех трудностей момента. Подавляй и управляй! Понятно, там, где пройдет нога этого представителя сильной власти, как ее понимают "Московские Ведомости", этого диктатора, и трава не должна расти: свежие побегы новой жизни, которые только что стали пробиваться из-под начавшей оттаивать почвы, должны быть безжалостно растоптаны людьми, не способными остановиться ни перед "западно-европейскими книжками", ни перед "пошлыми криками о свободах". А, ты устраиваешь стачки, рабочий! Ты организуешь забастовки, студент! Ты болтаешь о законности, адвокат! Ты желаешь свободы печати, писатель! Ты рвешься к земле, мужик! Вы все, люди оппозиции, вы желаете строя, при котором потребности народа могли бы выражаться при помощи ваших представителей, а не составлять предмета бесчисленных "входящих" и "исходящих", над которыми работает, скрипя, лес чиновничьих перьев! Вот уж, погодите: все эти страшные "беспорядки" и все они должны быть безжалостно искоренены тем доблестным диктатором, тем Цинциннатом охранительства, необходимость которого провозгласит сенатус-консулт эпигонов Каткова и которого изберет на этот важный пост доблестный муж Consul Gringmuthus.

Недаром орган г. Грингмута и К^о все время и спит, и видит врагов отечества, и все время пропагандирует военные законы, кары, виселицы и т.п. Вот вам статья "Временные меры и постоянные законы", изображающая яркими красками современную "смуту" в России и предлагающая лечить ее драконовскими мерами. Смута обрисована очень чувствительно, и при чтении нижеследующих строк читателя даже страх пробирает: "Попраны законы не только божеский, но

и человеческий. Воцарился такой хаос, в вихре которого слышатся одни дерзкие и наглые голоса революционных банд, водворившихся и в различных ученых и иных обществах. Прокламации безбоязненно не только печатаются, но и рассылаются (не за казенную ли еще печатью)?.. Да, что же это такое?..”

Болезнь описана хорошо, но не менее удачно и энергично охарактеризовано и лечение: ”Необходимо положить этому конец, — но не в виде уступок, не в виде приступа к выработке, под насилием, каких-либо постоянных законов, — а принятием мер временных, но мер непременно энергичных, решительных; потребуется сила, потребуются жертвы, — что же делать? Этих жертв будет во всяком случае меньше, чем если будет продолжаться смута. Провозгласите военное положение, введите военные законы, но положите конец бунту, смуте, заставьте исполнять закон, и нарушителей его карайте. Попустительство же полного пренебрежения законов только усиливает смуту и опьяняя бесноватых, вводит даже здравые и трезвые элементы общества в сомнение: да, полно, есть ли на самом деле в России власть, действуют ли в ней какие-либо законы?”

Наши охранители любят громыхать негодующим красноречием в сторону ”революционеров”, ”варваров”, ”разрушителей культуры”, которые якобы обуреваются кровавыми побуждениями и которые ставят человеческую жизнь ни в что. Но присмотритесь к психологии самих охранителей. Прямо — Мараты да и только! ”Потребуется сила, потребуются жертвы, — что же делать! Этих жертв будет во всяком случае меньше, чем, если будет продолжаться смута”. Каков размер энергии подавления, какова амплитуда зажима! Ведь и Марат требовал в известный момент французской революции триста тысяч голов изменников отечества, чтобы патриоты не были после вынуждены гильотировать миллион! Г. Грингмут представляет собою Марата навыворот, ибо столп ”Московских Ведомостей” проповедует насилие, требует жертв, алчет крови, имея в виду применить эту тактику по отношению ко всей современной ”смуте”, т.е. ко всей мыслящей России и активным элементам трудящихся масс, ради интересов бюрократии и самых реакционных слоев привилегированного владения...

Листая старые страницы

Рецензии, взятые на выбор

Библиографический раздел был одним из наиболее устойчивых отделов в "Русском богатстве". Рецензии, помещаемые в каждом номере журнала, были острыми, злободневными и поразительно точными. Остается лишь пожалеть о том, что эти рецензии, как правило, были анонимными, надо полагать, их писали штатные сотрудники редакции.

Предлагаем вашему вниманию несколько коротких рецензий, взятых на выбор из номеров журнала за 1916 год.





Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ДНЕВНИК Л.Н. ТОЛСТОГО. Под ред. В.Г. Черткова. Т 1.
1895—1899. Москва. 1916. Ц. 1 р.

В предисловии редактор сообщает об объеме и тексте подлежащего опубликованию дневника. Так как в руках В.Г. Черткова находится не весь оригинал, часть имеется только в копиях, а часть, хранящаяся в Московском Историческом музее (годы 1846—1863 и 1888—1900), пока недоступна для издателей, издание рассчитано на четыре тома и должно заключать дневник с 1895 года до конца (1910).

Конечно, нет нужды распространяться о значении дневника. Страничка любого художественного произведения Толстого была бы неизмеримо ценнее целого тома его дневника, если бы здесь не было некоторых обстоятельств, осложняющих эту простую истину. Во-первых, и художественные страницы Толстого обогащаются содержанием и смыслом от его дневника; во-вторых, и сам он, как целое, как личность, стал для нас художественным образом, а для углубления в этот образ, для его создания и законченности драгоценно каждое слово дневника. В основе дневник и художественные произведения Толстого даже как бы несоизмеримы: там литература, здесь подлинная жизнь, там искусство, здесь пределы безыскусственности, там для других, здесь для себя. Но противоположение это падает, раз мы вошли в поток непобедимого и ни чем незаменимого интереса к самой личности писателя, раз и его образы захватывают нас постольку, поскольку они — частицы его души, раз и Левин, и Нехлюдов, и Познышев важны для нас не только сами по себе, но и как портреты Льва Николаевича Толстого, в высшей степени односторонние, но и в высшей степени выразительные. В этом ощущении дневник — при всей от-

носительной бедности его записей — захватывает: точно на мгновение разрывается непроницаемая оболочка, скрывающая от нас затаеннейшие глубины чужой — и великой — души, и в эти просветы мы видим ее интимнейшую жизнь, творческую и будничную, человеческую и сверхчеловеческую.

При всем этом надо, однако, иметь в виду, что характера полной интимности дневник не имеет, уже по некоторым внешним обстоятельствам. Прежде всего — он не был действительной тайной для других. "Вообще — записывает Толстой в октябре 1897 года — не знаю, отчего нет у меня того религиозного чувства, которое было, когда прежде писал дневник ни для кого. То, что его читали и могут читать, губит это чувство. А чувство было драгоценное и помогало мне в жизни. Начну сначала с нынешнего, 14-го, числа писать опять по-прежнему, — так, чтобы никто не читал при моей жизни". Но, конечно, намерения и надежды эти оказались тщетными — и дневник в дальнейшем писался также с оглядкой. Нельзя также считать его вполне оригиналом: в известной части он уже не черновик, а беловая, так как первые записи Лев Николаевич заносил в записную книжечку (иногда в настолько неясных намеках, что и сам потом не мог разобрать их смысла), а оттуда уже переносил их в дневник. Но, конечно, это было не механическое перенесение: работа мысли продолжалась, и свидетелями процесса этой работы делает нас подчас дневник.

И не только работы мысли, но и работы чувства, работы совести. Это самое ценное в Дневнике Толстого и самое удивительное и в то же время самое естественное впечатление, производимое им: ни секунды покоя, вечное движение, вечное беспокойство, вечный счет с собой. Не трудно выхватить из Дневника с виду скучные, мертвые, рационалистические рассуждения, элементарные противоречия, неправильные указания на факты. Толстой утверждает: "Какое бы облегчение почувствовали все, запертые в концерте для слушания Бетховена последних сочинений, если бы им заиграли трепака, чардаш или тому подобное". Он не видит иной основы для морали, кроме теизма: "Jean Grave", "L'individu et la Société", говорит, что революция только тогда будет плодотворна, когда l'individu будет воз-

держан, бескорыстен, добр, готов к помощи ближнему, не будет тщеславен, не будет осуждать других, будет иметь сознание своего достоинства, т.е. будет иметь все достоинства христианина. Но как же он приобретет эти добродетели, зная, что он только случайное сцепление атомов? Все добродетели эти возможны, естественны, даже невозможно отсутствие их при христианском мировоззрении, — том, что мы сыны Бога, посланные делать Его волю; но с материалистическим мировоззрением добродетели эти несовместимы". Таких — и еще менее основательных — утверждений не мало, но под ними и за ними — какое горение, какое тяготение к истине, какая жажда воплотить в себе правду жизни. Что можно сказать против той или иной неправильной мысли этого человека, когда он сам сплошь и рядом прерывает течение своих мыслей, чтобы сознаться: "запутался, не могу яснее выразить" или еще энергичнее: "вот так чепуха". В конце концов как мелки мы со своей правотой пред величием ошибок этого человека, который знает одно: "делай, там видно будет, коли не годишься уже на работу, сменят, пошлют нового, а тебя пошлют на другую. *Только бы все повышаться в работе*". В высшие области человеческого бытия, человеческой природы переносит Дневник Толстого. Именно потому, что здесь он весь со своими колебаниями, со своими слабостями и с величием своей громадной натуры, углубление в его Дневник есть подлинное "касание мирам иным".

ЮРИЙ СЛЕЗКИН. ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ. Рассказы. Кн-во бывш. М.В. Попова. Петроград. Стр. 179. Ц. 1 р. 50 к.

В книжке г. Слезкина наберется несколько десятков драм и трагедий, столько же любовных романов, столько же философских поучений и т.д., и т.д. Однако отличительное свойство всего этого разнообразия и богатства — одно: на любой странице, на любом слове без малейшего сожаления можно со всем этим расстаться и никогда более к прерванному не вернуться. Но, с другой стороны можно и вернуться: сойти с вагона (это вагонная литература) на перрон, съесть пирожок и опять отдаться книжке. Одно лишь представляется маловероятным: возможность два раза прочесть какой-либо рассказ из "Глупого сердца" г. Слезкина.

Г. Слезкин обычно, пишет явно подражая Тургеневу, но подражает он не просто и открыто, а все больше прикидывается: любителем любовных историй в Тургеневском вкусе, старинного дворянского уклада жизни, старинных нравов. Но как все это — чисто внешнее, надуманное, то и результаты получаются крайне небедительные. Посмотрите, как г. Слезкин изображает старину: "Дом был очень велик и сколько бы гостей ни приезжало к старухе, всем находилось место, а во многие комнаты даже никто не заходил. Убранство некоторых из них осталось прежнее, во вкусе восемнадцатого столетия: стены были расписаны по штукатурке или увешаны сверху до низу огромными темными картинами в золоченых рамах, среди которых можно было найти весьма ценные по достоинству живописи", — как слепо и серо звучит эта "словесность" без малейшего намека на живой конкретный штрих, идущий от глаза наблюдателя-художника, влюбленного в "натуру", а не от мемуарного штампа. И ясно видишь, что, кроме чернил, ничто автором не потрачено на это описание; вполне естественно, что и читатель потратит на "восприятие" этих картинок — несколько минут времени — и ничего более. А когда автор, ни мало не смущаясь, не чувствуя вздутости чувства, им руководящего, пишет: "история этой несчастной женщины несложна и коротка, но каждый раз я стыну от тоски и боли, когда вспоминаю о ней", — тогда невольно изумляешься размерам авторской безвкусицы. Впрочем, — быть может, не столь уж она искренна, и, так сказать, безотносительна: все дело в том, какого читателя имеет в виду автор (а он всегда его видит пред собою, всегда для него старается). Быть может, как раз такого именно читателя, который с рассеянной улыбкой минутного любопытства и посматривая в окно вагона, любит для пищеварения читать истории, о каких принято писать, что без тоски и боли, от которых автор якобы стынет, их и вспомнить невозможно. Г. Слезкин нашел и, вероятно, найдет своего читателя, но это тот худший читатель без вдохновения, которого всякий подлинный писатель-художник должен бояться, как огня.

ГР. АЛЕКСЕЙ Н. ТОЛСТОЙ. Искры. Кн-во писателей в Москве. Стр. 186. Ц. 1 р. 50 к.

Один за другим быстро выходят в свет новые сборники рассказов плодовитого беллетриста, и вот пред читателем уже девятый том собрания его сочинений. Конечно, он не может не походить на предыдущие: в даровании гр. Ал. Н. Толстого не мало склонности к причудливым положениям, но само по себе оно вовсе не сложно и не настолько разнообразно, чтобы разделенные известным промежутком времени его произведения сильно друг от друга отличались. Однако в настоящем томе есть кой-какие особенности, на которых небезынтересно несколько подробнее остановиться.

Сам автор также отличает, по-видимому, этот томик, выделяя и объединяя его содержание в следующих вступительных строках: "Два духа, затосковавшие по любви, отыскивают друг друга в бездне времени и, соединясь, загораются жизнетворным огнем, лишь искры которого — листы этой книги — долетают до нашего сознания". Название сборника также "Искры", чем еще определеннее подчеркивается это авторское указание на сущность собранных в книжке рассказов.

Давно уже замечено, однако, что читатель не всегда склонен следовать подобного рода авторским указаниям, и в данном случае, быть может, по причинам временным, но достаточно серьезным, невольно заинтересовывают не столько искры "животворного огня", т.е. любви вообще, сколько два оттенка этих искр, посылающих свет со страниц книги гр. Толстого; заинтересовывает некоторое отличие искр одного и другого рода. Ибо хотя действительно во всех рассказах эти искры любви сверкают, но, как известно, даже звезда от звезды разнится, а уж искра от искры и подавно, и как звезды бывают мирные, мягкие, голубые и красные, зловещие, боевые, так равно и беллетристические искры. А кроме того, о любви пишет гр. Ал. Толстой не первый рассказ и не первую книжку — причудливые романы насквозь насыщают страницы его произведений — и ради новизны темы позволительно от безотносительного анализа любви, изображенной в его новой книжке, обратиться к внутреннему, так сказать, сравнению разных родов описанной им любви.

Сравнение возможно по многим признакам, хотя бы вот и по указанному выше: любовь в рассказах мирных и военных. И сравнение это дает странные, неожиданные результаты: в то время, как искры любви обычной, мирной — в современном значении слова — действительно сверкают на страницах обычных рассказов прежнего типа (каковы "Рожь", "Невеста" и даже сумбурный, но живой рассказ "Искры") — искры любви в рассказах военного содержания оказываются с художественной стороны самыми заправскими дешевыми фальшфейерами, с треском, чадом и обычным при бенгальском освещении извращением освещаемых предметов.

Замечательно, что это сказывается и в мелком, и в крупном. В мелком — в живой убедительности частности и мелких деталей в одном, натянутости, тусклости и смешных противоречиях в другом случае. В крупном: автор утрачивает в своих военных рассказах ту свою отличительную черту, которая столь характерна для его творчества в целом и также для перечисленных выше "мирных" рассказов, напечатанных в том же IX томе.

Эта черта — причудливость и необузданность авторского воображения. "Герои мои — замечает он в рассказе "Искры" — сами захотели в обыденном и житейском найти чудесное и милое", и в общем это сказано метко. Герои гр. Ал. Толстого — и самые удачные в художественном отношении — обыкновенно ведут автономное от авторской воли существование, и никогда нельзя ни предвидеть, ни предугадать, что тот или иной персонаж скажет или сделает на следующей странице. Конечно, это свойство сплошь да рядом уводит героев гр. Толстого далеко за границы правдоподобия, но уводит зато и от банальности; а притом и самое-то это неправдоподобие часто прощаешь автору, ибо оно все-таки занимательно, что обуславливается, разумеется, тем, что для его воображения все эти гиперболы были реальны, что он сам в них верит, заражая и читателя своею верой. И интересные, живые "Искры" (рассказ, а не книжка), чудесная "Рожь", полная юмора "Невеста" помимом всего прочего заключают в себе эту прелесть убедительной внезапности, прелесть подлинной, жизненной, а не книжной новизны, которой

нам не познать без помощи художника с его интуитивным воображением.

С внешней стороны — причуд и гипербол воображения в военных рассказах гр. Ал. Толстого как будто еще больше, чем в мирных, но от них веет такой холодной и преднамеренной надуманностью, что только удивляешься, как художник сам этого не почувствовал. И в результате с первых же страниц не только предчувствуешь финал, но даже более или менее угадываешь, каким путем автор приведет к нему своих героев. Конечно, в рассказе "Под водой" герой преодолевает на своей подводной лодке "Кэт" такие преграды и опасности, какие десяти Жюль Вернам не снились, конечно, его положение будет абсолютно безвыходно, большая часть его команды погибнет, продовольствия останется на несколько часов, а то даже и всего на одну минуту; кислород в резервуарах иссякнет, перископ будет сбит, и т.д. и т.д. — все, что сопровождает искони подвиги необыкновенных героев, — а затем будет сделано невероятное усилие и произойдет чудо: усилие увенчается успехом, герой будет спасен и выскажет по сему случаю подобающую сентенцию; а так как заданье у автора определенное: надобно найти искру "животворного огня", то сентенция эта будет выражена героем в письме к Татьяне Александровне и гласить будет так: "лишь те блаженны, кто вернется на землю для любви".

Читатель видит, до чего все это беспросветно банально. Рассказ просто скучно читать, и если оставить в стороне его философию и отнести к нему просто, как к материалу для развлечения чтением, то не получишь и этого: нет даже и обычной у автора занимательности. Все приключения его героев и подводной лодки — либо газетная корреспонденция, либо натянутая выдумка, прежде всего беспомощная, так сказать, технически. Мы и сейчас без скуки можем перечисть приключения капитана Немо у Жюль Верна, потому что там художник фантазирует уверенно, ярко, как полновластный хозяин над своим техническим, географическим и вообще специальным материалом. Но кого же увлечет гр. Ал. Толстой своими техническими описаниями? Вот образчики последних: "Силой взрыва и воды "Кэт" далеко отшвырнуло от тонущего корабля и затянуло на большую глубину. Обшивка дала трещины; стекло также сквозь сальники разбитого перископа. На глубине она пробыла недолго: освобожденная от тяжести двух мин, медленно всплыла, немного не дошла до поверхности, остановилась, и незаметно, по мере того, как наливалась в нее сквозь поранения вода, начала тонуть". Достаточно гимназических познаний из

физики, чтобы с улыбкой отнестись к этому качанию треснувшей подводной лодки вниз, вверх, потом вниз! Обшивка дала трещины, но подводная лодка знать ничего не желает и с большой глубины идет себе вверх, потому что... освобождена от тяжести двух мин! Или: "У "Кэт" были минные аппараты и скорострельная пушечка — вооружение скорее для атаки. Но не на них, а на особые иллюминаторы, которые, уничтожая отчасти преломление воды, позволяли различать на глубине опасные предметы, и надеялся главным образом Андрей Николаевич". Иллюминаторы, действительно, особые, ибо, как известно, царствующие на дне морском потемки нимало не зависят от "преломления воды", как выражается автор. А кроме того: ведь это не только не объяснение, не только не черта что-либо, хотя бы и фантастически, изображающая: это просто тусклая отписка незнания, ибо нет ничего легче, как сказать: "особые иллюминаторы" и этим ограничиться.

В рассказе "Буря" нет фланирующей под водой треснувшей субмарины, нет "особых иллюминаторов", но их с успехом (в смысле художественном) заменяет общий тон рассказа. Здесь есть аристократические "благотворительные тетушки, убежденные в том, что немцы (дело происходит в самом начале войны), придя, например, и увидя, какие они добрые и светские, немедленно поймут свое место и бросят грубить и воевать". Здесь есть добровольно сдавшийся в плен немецкий солдат, заявляющий: "Будьте очень осторожны сегодня ночью: наши солдаты злы, зачем вы продолжаете сопротивляться. Я также был очень зол, но, как видите, изменил долгу, потому что слишком хотел кушать". Читатель уже подготовлен этими примерами отношения автора к явлениям войны и невольно ждет очередного умиления. Ждет и дождется, — как в частном, так и в целом. Вот перевязочный пункт: "Доктор, в одном белом халате, работал на холоду. От радостного, как у всех сейчас (ну, конечно), и жуткого возбуждения, он резко вдруг крикнул мне: "Что вы глазами хлопаете, потрудитесь заняться, вон у человека рука болтается!" — по-видимому, у этого последнего возбуждение было тоже радостное (ведь "у всех")...

Чего-то еще недостает? Да, шаблон не заполнен, нет еще с одной стороны великодушия, с другой вероломства и коварства. Но минуту терпения, еще стралица, еще и... "Увязая в снегу, Василий Васильевич подбежал к раненому, и, говоря почему-то по-французски — "Потерпите еще немного, сейчас будут санитары", — засунул руки ему подмышки, силясь приподнять. Голова раненого запрокинулась. Потухшими, не-

навидящими глазами он уперся в глаза Василия Васильевича, высвободил из снега кулак, в котором был зажат револьвер, и выстрелил в упор два раза”.

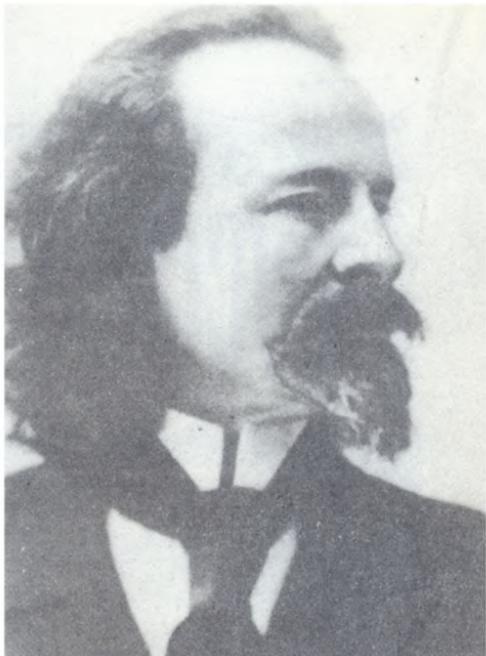
Подобное коварство не может, разумеется, остаться безнаказанным, такое великодушное должно быть всемерно поощряемо и награждаемо. Так именно и поступает автор: стрелявший гибнет под ударами штыков разъяренных солдат, а Василий Васильевич не только не гибнет, но, напротив, только ранен и этим приобретает любовь жены, каковая и есть тут же работающая Елена, на которую прикрикнул радостно возбужденный доктор, прежде не отвечавшая взаимностью на горячую любовь мужа. Теперь — другое дело, коль скоро муж столь пострадал от коварства: “Елена быстро припала, обхватила его голову, прижалась щекой к лицу и проговорила нежно и опасно: — Родной, единственный, любимый... Всегда буду тебе служить... — Василий Васильевич все вспомнил и все понял, и закрыл глаза. Он чувствовал за веками хрустальное небо, белые ветви и родное, человеческое, любимое лицо”. — Вот теперь шаблон выполнен, и рассказ, действительно, на этом и кончается.

И невольно приходит на память окончание другого, в этой же книжке напечатанного, любопытного и живого рассказа “Дым”, где изображен известный беллетрист, упрощающий (вплоть до полного уничтожения) написанный им замысловатый, надуманный рассказ, кажущийся ему фальшивым при сопоставлении с простыми, но красноречивыми житейскими фактами: “Под утро Ивану Сергеевичу снилось, что будто сидит он у стола и пишет, а из головы его валит клубами черный, густой дым”.

Можно ли поступить опрометчивее: напечатать под одной обложкой рассказ с таким окончанием и “Бурю” с Еленой, Василием Васильевичем, хрустальным небом и фальшью газетного умиления... Ведь это самоубийство!



Николай Михайловский



Константин Бальмонт

Михаил Арцыбашев



Редакторы и авторы журнала "Русское богатство" (1876—1918)



Пантелеймон Романов



Владимир Короленко

А.П. Чехов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.Н. Потапенко, 1896 г.





Редакция "Русского богатства", 1902 г. В первом ряду за столом сидят: П.И. Вейнберг, Н.Ф. Анненский, Н.К. Михайловский, С.Я. Елпатьевский, А.В. Пешехонов. Фотография публикуется впервые. Может быть, специалисты по истории русской журналистики помогут редакции идентифицировать остальных сотрудников журнала





Дискуссии на природе. Авторы и корреспонденты "Русского богатства":
И. Горький, А. Федоров, И. Бунин, А. Чехов, С. Елпатьевский, А. Куприн



Дѣло „Русскаго Богатства“

(Изъ матеріаловъ архива бывшаго Департамента полиціи).

Въ огромной массѣ бумагъ, хранившихся въ архивѣ покойнаго Департамента полиціи и переданныхъ послѣ февральской революціи въ Академію наукъ, есть значительное количество дѣлъ, посвященныхъ различнымъ событіямъ изъ жизни русской литературы и журналистики. Среди этихъ дѣлъ есть и дѣла почти о всѣхъ периодическихъ изданіяхъ, отличавшихся оппозиціоннымъ направлениемъ, — отъ „толстых“ журналовъ, — „Жизни“, „Научн. Обзорія“, до ежедневныхъ газетъ: — амфитеатровской „Россіи“, тифлискаго „Новаго Обзорія“ и т. д. Трудно переоцѣнить интересъ этихъ дѣлъ: они знакомятъ насъ съ доселѣ намъ совершенно невѣдомою стороною исторіи журналистики, — съ тѣмъ, что думали о послѣдней руководители нашей внутренней политики, съ тѣми мѣрами борьбы противъ нея, которыя эти руководители вырабатывали въ укромныхъ кабинетахъ Департамента.

Среди этихъ дѣлъ намъ удалось найти и дѣло „Русскаго Богатства“.

Сравнительно небольшое по объему (16 документовъ на 37 листахъ), это дѣло, по всей вѣроятности, не было единственнымъ, заведеннымъ о журналѣ въ департаментскихъ тайникахъ. Начатое 27 сент. 1897 г. и законченное 13 января 1900 г., оно охватываетъ лишь очень небольшой періодъ изъ жизни журнала, и у насъ нѣтъ никакихъ основаній, думать что ни раньше, ни тѣмъ болѣе поздне. Департ. полиціи не удоставалъ послѣдній своимъ высокимъ вниманіемъ. Больше, чѣмъ вѣроятно, что въ архивѣ Департамента полиціи есть и другія дѣла о журналѣ, но разыскать ихъ тамъ, къ сожалѣнію, не представляется возможнымъ въ виду хаотическаго состоянія, въ которомъ въ данное время находится этотъ архивъ: дѣла лежатъ въ огромныхъ кучахъ по годамъ, безъ всякой системы, и тому, кто захочетъ найти какое либо дѣло, даже если онъ знаетъ годъ, когда оно начато, придется перекидать не одну сотню папокъ, прежде чѣмъ найдетъ нужную; искать же дѣло, не зная года его начала, — вещь явно безнадежная.

В 1918 г. (N 1—3) редакция „Русскаго богатства“ поместила на своихъ страницахъ отрывки изъ матеріаловъ дела „Русскаго богатства“, найденнаго после Февральской революціи в архиве Департамента полиціи

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ — МАРТЬ № 1 2 3.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ

№ 1—2—3.

ПЕТРОГРАДЪ

Обложка журнала "Русское богатство", 1918 г., N 1—3

Русскія Записки (РУССКОЕ БОГАТСТВО).

1917 г.

В 2—3. ФЕВРАЛЬ МАРТЬ

в редакц. в конт. ПИР. Басевога ул. 9 Тел. 26 53

С 1914 по 1917 г. журнал выходил под названием "Русские записки"

Ноты 10 коп. экз.
Изданіе С. Я. ЯКБОРЪ.

Москва, Садовая, 16—8.
Триумф. Котельногъ. Безплатно.

Ноты 10 коп. экз.
Изданіе С. Я. ЯКБОРЪ.



Поставщикъ Двора Его Величества

К. М. ШРЕДЕРЪ

основ. въ 1818 г.

Рояли и Піанино.

СПБ. Невскій 82.

Иосифъ Гофманъ пишетъ:

Рояли Шредера... по своимъ качествамъ не только **первыя въ Россіи**, но могутъ быть достойно приравнены въ лучшія и въ Европѣ, Германи, Австріи, Франціи и Америкѣ.

Премъ-курантъ № 7 безплатно.



Вот что такое рынок! Реклама поставщика роялей и пианино К. Шредера помещалась во многих изданиях



Жирная Пудра

дѣлаетъ кожу мягкой и нежною
и придаетъ ей цвѣтъ юности.

НАСТОЯЩАЯ жирная пудра

ТОЛЬКО съ маркою 

Коробка **30** коп.

Продается вездѣ.

Ферд. Мюльзексъ.

Поставщикъ многихъ Вы-
сочайшихъ Дворовъ.

Основ. 1792

Кельн на Рейнъ Отдѣленіе въ Ригѣ.



ИНСТИТУТЪ УЧЕБНЫХЪ ПОСОБІЙ И ДѢТСКИХЪ ЗАНЯТІЙ.

„RESTA LOZZI“.

С. Петербургъ, Кананскій уз., д. 14-10

НОВѢЙШАЯ УЧЕБНАЯ ПОСОБІЯ И ФРЕБЕЛЕВСКІЯ ЗАНЯТІЯ.

Полный катал. учебн. пособій 30 коп., въ провинцію — 40 коп. (можно марками).

ИЗЪ НОВѢЙШИХЪ ДѢТСКИХЪ ЗАНЯТІЙ ПРЕДЛАГАЕМЪ

- Бумажное искусство (въ разноцв. бумагахъ) составляются прекр. картины, лентки и т. д. съ бум., 3 разн. игры въ короб. съ иллюстр. 2 р.
- Подарный наборъ въ коробкѣ 2 р.
- Вырѣзываніе буквъ 3 серіи по 50 к.
- Буквы съ гласными: наборъ въ 60 к.
- 1 р., 70 к., 2 р., 90 к., 3 р.
- Цѣлый городъ изъ спичечн. коробокъ 1 р., 80 к.
- Веселая азбука въ дѣтской (школѣ) картинн. 2 р.
- Азбука-лото — 1 р., 20 к.
- Алфавитъ. Безъ перьевъ азбука — 50 к.
- Алфавитъ. Буквы въ картинкахъ 40 к., 1 р., 10 к.
- Плетеніе склянокъ — 40 к., 1 р., 1 р., 50 к.
- Механич. животныя въ закрѣп. по 20 к.

Книгоиздательство
и книжный складъ

„НАУКА“

Москва, В. Никит-
ская, 10, Оливъ
Университета.

Новыя книги **И РУБАКЕНЪ**. Фрэнкъ книга. Справочное пособие для самообразованія и для систематизаціи библиотекъ. 2 об. изд. 1, 1, 3 р. **В. УЛЬЯНОВЪ** Указатель журнальной литературы. Вып. 1. 1905—1910 гг. 90 к. **В. ДЕРЖ** Исторія профес. движенія рабочей печати. Дѣла въ Москвѣ. Изъ инт. рабоч. дѣл въ Россіи. 1 р. 25 к. **С. ФРЕЙДЪ** У аналитика. 50 к. **П. Додуа** Психотерапія. 50 к. **В. ДИНА** Практич. руковод. къ опредѣл. дѣлр., водимъ къ Евр. Россіи. Съ пред. проф. **Ж. Меллозира**. 35 к. **Систематич. каталогъ книгъ** выш. изъ 1910 г. на рус. языкѣ. Съ указ. редакцій. Классич. по методич. системѣ. 25 к.

Составленіе редакціи

библіотекъ

Бесплатныя высылки справочн. каталога характера и высылка выписокъ

образованія и самообразованія.

“Русское богатство” рекламировало самые разнообразные товары отечественного и зарубежного производства. От гвоздей, мебели и жирной пудры до детских игр и изданий библиотеки самообразования

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ



ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ЯКОВА ПЕТРОВИЧА

РОЗМЫСЛОВА

САДОВАЯ 38

ОБШИРНЫЕ СКЛАДЫ

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ

ТРЕБУЙТЕ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ВЫСЫЛАЮ БЕЗПЛАТНО



ЗАКАЗЫ ВЪ ПРОВИНЦІЮ
ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО



Как необычны для нашего глаза эти просто сказочные слова: "Цены фабричные", "заказы в провинцию высылаются немедленно", "прейскурант высылается бесплатно", "обширные склады музыкальных инструментов"

“РУССКОЕ БОГАТСТВО”

ЖУРНАЛЪ

ТОРГОВЛИ, ЗЕМЛЕДѢЛІЯ и ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ.

Ред. и изд. В. М. Соловьевъ

№ 21.

Содержание

ШЕННУРСКИЙ УБѢДЪ

съ географическимъ, статистическимъ, сельскохозяйственнымъ, промышленнымъ и торговымъ описаниемъ.

Печать А. Д. Гемини

Шеннурская губерния, расположенная в северной части Финляндии, занимает обширную территорию. В ней преобладают сельское хозяйство и торговля. Описание включает сведения о населении, промышленности и торговле.

Шеннурская губерния отличается своим климатом и плодородными почвами. Основные занятия населения — земледелие и скотоводство. Торговля играет важную роль в экономике региона.



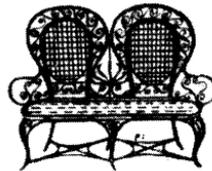
Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Важнейшим занятием населения Шеннурской губернии является земледелие. Основные культуры — зерновые и овощи. Скотоводство также имеет большое значение. Торговля развивается благодаря наличию портов и транспортных путей.

В Шеннурской губернии преобладают различные виды сельского хозяйства. Земледелие занимает основную часть территории. Скотоводство также развито. Торговля играет важную роль в экономике региона.

ОБРАЗЦЫ ПЛЕТЕННЫХ ИЗДЕЛІЙ

Изделие	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Угловая таблица	1000	2000	3000	4000	5000
Прямая таблица	1500	3000	4500	6000	7500
Полукруглая таблица	2000	4000	6000	8000	10000
Круглая таблица	2500	5000	7500	10000	12500
Квадратная таблица	3000	6000	9000	12000	15000

Обложка журнала "Русское богатство", 1876 г., N 21. Для удобства подписчиков давались рисунки образцов необходимой мебели, которую можно было затем заказать

ДѢТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА
 (НИЗШЕ МАРКА - ПОДАРИТЕ ГА ПРИ ДЕТ.)
 Альпина
 С П Б ГОРОДОВАЯ 33
 (ВЪ ПУШКИНѢ - ДВѢРКА ВЪ ПРАВО)

ЛѢЧЕБНИЦА Д-РА МЕД. Н. П. ПОСТОВСКАГО
ДЛЯ НЕРВНО-И ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХЪ.
 Плате въ мѣсяць отъ 60-ти руб. до 200 рублей Москва, Трехгорная застава дача
 Гл. тов. Телефонъ лѣчебницы 99-82, д-ра Постовскаго 241 60.

В начале века детскую молочную муку производили даже душевнобольные

**СТОЛОВАЯ
ВОДА**



КАЛИНКИНЪ

КОЕМО СУЩЕСТВІЕ ПОДЛИКИ ПРИМЪСЕЙ

**МЫЛО
НЕСТОР**

НЕВСКАГО
СТЕРИЛИЗОВАНАГО ТОВАРИЩЕСТВА

Продавецъ мыла № 10044 находится въ магазинѣ обращенный въ Дворъ Товарищескаго МОНИИ, въ Лубянка, въ Стран. Общ. Россіи.

КОЕМО СУЩЕСТВІЕ ВРЕДНЫХЪ ПРИМЪСЕЙ

ВЪСЬ ОТВЪРА **ГЕДЕКЕ И КЪ** ПРИБИТЪ

ВЪСЬ ПРИБИТЪ ОТВЪРАТЬ ПОСЛѢ
ДЪЛКИ И ВОЛНИИ ПОДРАЖАНІИ И
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩІЕ СЪ
ОХРАН. КЛѢЯМОЮ СЪ ТАМОН. ПЛОСКО-
ВОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ВЪСЬ
СВѢЧИ

АНУЗОЛЬ

ГЕДЕКЕ И КЪ.

РЕМОН. ДЛЯ БЫСТРАГО, УДОБНАГО
И БЕЗБОЛѢЗНЕННАГО ИЗЛѢЧЕНІИ

ГЕМОРРОЯ

Это испытанное, благотворно-дѣ-
ствующее средство признано вра-
чами за лучшее. Цена 8 р. 75 к.

Продажа въ аптекахъ и

лучш. аптекар. магазинахъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ РОССІИ

проф. **З. ЮРГЕНСЪ.**

Волгоградъ, **МОСКВА.**

Одно изъ лучшихъ наслаждений

послѣ чтенія

это — слушать красивую и пріятную музыку

при помощи

„Патефоны“

игральныя бѣлыя
чёрныя и серыя
дискоты, такъ же
какъ такъ же музыка
универсальныя
рамы и т. д.



Всѣ принадлежности, безъ различія количества, въ одной цѣнѣ.

АКЦ. О-во Бр. ПАТЕ.

Москва, Гурьевск. 34.

Одесса, С. Пестреловск. Невск. 84.

Рязань, М. Д. Б. Сахаровск. 42.

Варшава, Березинск. 5.

Полтава, Д. Парасковинск. 19.

Требуются безплатно каталоги.

Листая старые страницы

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В каждом номере старого "Русского богатства" наряду с разного рода объявлениями помещались отчеты конторы редакции о производимых расходах на благотворительные цели. Деньги жертвовались на помощь голодающим, сиротам, инвалидам, беспомощным старикам. "Русское богатство" попечительствовало над народными школами, предоставляло стипендии детям крестьян и рабочих. Редакция нового "Русского богатства" намерена продолжать эту традицию, которая была забыта на долгие десятилетия.



ОТЧЕТЬ¹

Конторы редакции журнала "Русское Богатство"

На устройство школы имени Гл. И. Успенскаго въ д. Сябринцахъ, Новгородской губ., поступило:
От И.Ф. Наживина — 22 р. 75 к., Ирины Лазаревской — 3 р.

Итого 25 р. 75 к.

А всего съ прежде поступившими 1202 р.

На устройство стипендіи имени Влад. Гал. Короленко:
Отъ Ирины Лазаревской — 3 р.

Итого 3 р. - к.

А всего съ прежде поступившими 19 р.

Въ пользу еврейскихъ семействъ, пострадавшихъ отъ погрома въ Кишиневѣ:
Отъ Ирины Лазаревской — 3 р.

Итого 3 р. - к.

А всего съ прежде поступившими 237 р.

Въ пользу пострадавшихъ евреевъ г. Гомеля:
Отъ И.Ф. Наживина — 25 р.

Итого 25 р. - к.

Означенная сумма 25 р. передана для отправки по назначенію в редакцію газеты "Восходъ".

¹ "Русское богатство", 1905, N 11-12.

НОВОЕ "РУССКОЕ БОГАТСТВО" -- НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

С 15 июля учреждается благотворительный фонд "Русского богатства".

Цели благотворительного фонда: оказание материальной помощи престарелым писателям -- ветеранам второй мировой войны, увековечивание памяти писателей, литературное наследие которых будет опубликовано на страницах нашего журнала. Устав благотворительного фонда "Русское богатство" мы поместим в специальном приложении к журналу.

В благотворительной работе может принять участие каждый наш читатель, а также любая организация -- как частная, так и общественная, государственная, кооперативная. Для этого надо проделать обычную операцию -- выслать деньги в адрес редакции или перечислить их на наш расчетный счет, сообщив при этом -- куда вы хотели бы направить эти средства.

Очень важно сохранить традиции старого "Русского богатства" в этой работе творения блага и добра. Нам остается лишь следовать примеру наших прадедов. Уроки благородства должны быть продолжены.

Имена дарителей будут регулярно публиковаться на наших страницах.

Координатором благотворительного фонда утвержден Олег Исаакович Каширин.

Адрес редакции: г. Москва, 129010, Астраханский пер., д. 5, кв. 86.

Расчетный счет N 345005 в Коммерческом банке "Авиабанк", корр. сч. N 161820 в ЦОУ ГБ СССР, МФО 299112.

Контактный тел. N 271-15-18.

Бумага, которую мы покупаем

Еще раз извиняемся перед читателями за то, что номер "Русского богатства" так дорого стоит. Но это гарантированный порог нашей безубыточности. Бумагу для номера в количестве более 50 тонн нам пришлось приобретать по коммерческой цене -- 6 000 руб. за одну тонну.

Листая старые страницы

* * *

Заканчивается первый номер нашего журнала, а вместе с тем и наши попутные записки. Перед автором их неизбежно встает вопрос -- как подписываться?

Давно известно, что новое -- это хорошо забытое старое. У журнала "Русское богатство" уже были учредители. "Редактор-издатель" -- именно так подписывались Ник. Михайловский, Вл. Короленко и некоторые другие литераторы, которые на протяжении 42 лет -- каждый в свое время -- возглавляли этот журнал.

Редактор-издатель А.П. Злобин



ПРАВЛЕНИЕ
редакции "РУССКОГО БОГАТСТВА"

Председатель правления — **А.П. Злобин**

Члены правления:

И.Г. Бадалбейли, В.Г. Ге, И.И. Дуэль (сопредседатель), **С.Р. Карасев, В.А. Касаткин, О.И. Каширин** (ответственный секретарь), **Г.Г. Кошелев** (главный художник), **Е.А. Мартыненко, Е.В. Русанова** (зав. редакцией), **В.И. Русанов** (сопредседатель), **С.С. Рябенский, В.Р. Ситников, М.И. Францкевич.**

Редактор *Л.Г. Бальян*

Художественный редактор *Е.М. Сапожников*

Технический редактор *Н.Н. Аксенова*

Корректор. *Н.С. Сафронова*

Компьютерный набор *З.М. Лукьянчикова*

Ю.И. Ионова, Т.И. Сандрацкая

Подписано в печать 10.07.91. Формат 60×88¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отг. 22, 79. Уч.-изд. л. 19,0. Тираж 30 000 экз.
Изд. № 43. Заказ 1366. Цена 7 р. 50 к.

Адрес редакции: 129010. Москва, Астраханский пер., 5—86.

Стройиздат. 101442 Москва, Каляевская 23а

Московская типография № 4 Государственной ассоциации предприятий, организаций и объединений полиграфической промышленности «АСПОЛ».

129041, Москва, Б. Переяславская ул., 46.

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

— журнал одного автора —

1 9 9 1 год

№ 4

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

/1907—1982/

мемориальный номер, посвященный памяти великого русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова, составлен из новых материалов, ранее не публиковавшихся; также не публиковались ранее и фотодокументы, которыми иллюстрирован номер журнала.

История рода Шаламовых

Новые колымские рассказы

Протоколы допроса

Приговор № 57 — копия

Стихи

Письма

Воспоминания о пережитом /50—60 годы/

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

— журнал одного автора —

1 9 9 1 год

№ 3

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

В специально собранном для журнала номере один из самых читаемых авторов демонстрирует жанровое богатство своего творчества

КУПЛЮ ТЕБЕ БАБУ — Киносценарий

СКАЗКИ — для детей, для взрослых, для всех, для некоторых

ВОЙНУШКА и другие публицистические статьи, настолько острые, что их не решились печатать даже прогрессивные издания последних лет.

ПЬЕСЫ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРБУЗОВЕ

Цена — справедливая

КНИЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

Новая серия книг

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА

открывается художественным исследованием

СКАЗАНИЕ О РОДЕ ТРУБЕЦКИХ

- история одного из самых славных русских родов прослеживается на протяжении шести веков, начиная с князя Гедимины /14 век/ и кончая серединой XX века: потомки Трубецких рассказывают о своей жизни.

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА

- ближайшие выпуски

Повествование о генерале Ермолове

Записки барона Миниха

**Документальные свидетельства о жизни
Федора Раскольниковова**

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА СОБИРАЕТ
И ПРИОБРЕТАЕТ КАК ГОДОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА СТАРОГО
"РУССКОГО БОГАТСТВА"
-1876-1918 годы.

НАПОМИНАЕМ: НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
ЖУРНАЛ ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЕМ
"РУССКИЕ ЗАПИСКИ"
-1914-1917

ОБРАЩАТЬСЯ:

МОСКВА 129010
АСТРАХАНСКИЙ ПЕР.
Д. 5 КВ. 86
ТЕЛ. 271-15-18

**РЕКЛАМА В "РУССКОМ БОГАТСТВЕ"
- И ВАШЕ БОГАТСТВО !!!**

"РУССКОЕ БОГАТСТВО"
ПОМЕЩАЕТ НА СВОИХ СТРАНИЦАХ РЕКЛАМУ
СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
КООПЕРАТИВНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИРМ, БАНКОВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ПАРИЖСКІЯ МОДЫ



Цена 7 р. 50 к.